НЁМАН

10/2010
ОКТЯБРЬ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1945 года
Минск

СОДЕРЖАНИЕ

Редакционно-издательское учреждение
«Литература и Искусство»

Первый заместитель директора — главный редактор
Алесь БАДАК

К сведению авторов

Авторы несут ответственность за приводимые в материалах факты.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция только сообщает автору свое решение.
Материалы, отправленные по электронной почте, редакция не рассматривает.

Техническое редактирование и компьютерная верстка *С. И. Таргонской*
Стильредактор *Н. А. Пархимович*
Набор *Т. С. Чуйковой*

Подписано к печати 06.10.2010 г. Формат 70 × 108 $^{1}/_{16}$. Бумага газетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,60. Уч.-изд. л. 19,55. Тираж 3374. Заказ 2552.
Регистрационный № 11 от 22.08.09 г.

Адрес редакции: 220034, г. Минск, ул. Захарова, 19.
Телефоны: главного редактора — 284-85-25; заместителя главного редактора, отделов прозы, поэзии, публицистики, критики, зарубежной литературы — 284-80-91.
e-mail: neman-lim@mail.ru

Республиканское унитарное предприятие «Издательство «Белорусский Дом печати».
220013, Минск, пр. Независимости, 79. ЛП № 02330/0494179 от 03.04.2009 г.

Учредители — Министерство информации Республики Беларусь;
общественное объединение «Союз писателей Беларуси»;
редакционно-издательское учреждение «Литература и Искусство»

АЛЕСЬ КОЖЕДУБ

Ева

Повесть

1

В Минск я приехал в ночь на первое сентября.

Дорога с юга, где я бродяжничал все лето, достойно завершила мою черноморскую одиссею. В станице Дондуковской на бахче я наткнулся на машину с могилевскими номерами.

— Земеля?

— Бобруйский, — сразу признал во мне своего шофер.

— Попутчик не нужен?

— А як же!

Назавтра машина загрузилась арбузами, и мы поехали.

Как я скоро понял, арбузы были левые. Какие-то накладные на них были выписаны, однако шофер нервничал. А когда на въезде в Ростовскую область он отдал ментам десяток отборных полосатых, мои сомнения развеялись.

— Не заметут? — спросил я.

— Документы в порядке, — пожал он плечами. — Но ведь чуют, гады, где можно поживиться. Банковский счет когда-нибудь видел?

Он сунул мне в руки чистый корешок счета.

— Ну и что?

— Заполнить надо.

Я порылся в сопроводительных документах, прикинул, написал на корешке от фонаря номер счета Бобруйской райпотребкооперации.

Николай остановил машину.

— И все? — взял он двумя черными замасленными пальцами бумажку.

— Все.

— Дак, это… Поверят?

— Охота им проверять. Главное, чтоб цифры были, говорит мой батька бухгалтер.

Вот так мы ехали, питаясь арбузами с булками, а под Киевом у нас полетел диск сцепления. Николай полдня снимал коробку передач, полдня ставил ее на место, а нового диска на территории Украины не виделось даже в перспективе.

— Хана, — размазал он грязным рукавом по лицу пот, — дальше на второй передаче. Пойдешь ловить попутку?

Я, конечно, кореша не бросил, и до Бобуйска мы пилили со скоростью двадцать км в час. Мокрые от пота штаны и футболка, чугунная голова, глаза, уже не реагирующие на свет встречных фар. И Николай, вцепившийся в баранку.

— Сколько тебе за все это обломится? — спросил я перед Бобруйском.

— Рублей триста кинут, — сжал он зубы. — Пусть попробуют меньше…

Я ничего не сказал, торопливо попрощался с Николаем на вокзальной площади и прыгнул в пригородный поезд. Опаздывать на занятия мне не хотелось по многим причинам.

В Минске я сел в такси, примчался к дяде Васе, за пять минут принял душ, за три позавтракал — и в университет, крикнув тете Нине, что вещи заберу вечером. Каким бы классным ни было мое длинное лето на море, альма-матер роднее. Заскребло что-то внутри, защемило, в горле комок. Не знал я, что настолько сентиментален.

И вот через две ступеньки на четвертый этаж в сорок вторую аудиторию. Привет, привет, привет… Как лето? Отлично!

От окна машет рукой Ленка-комсорг, ржет, хлопая по плечу, Крокодил, Володя выхватывает из сумки фотоаппарат и щелкает. Судя по этим троим, в мире ничего не изменилось. И слава Богу.

Несколько минут я в центре внимания, жму руки, подставляю щеку для поцелуя, позирую Володе. Но ее нигде нет, и в животе появляется неприятный холодок.

— Ева возле актового зала, — шепчет мне в ухо Ленка.

Я недоуменно смотрю на нее.

Ленка обиженно хлопает глазами, морщит лоб, фыркает. Она ко мне со всей душой, а я идиот. Как обычно.

— Явится, — говорю я комсоргу.

И тут же является Ева. Светлые волосы подстрижены по-новому. Карие глаза, опушенные длинными ресницами, сияют ярче прежнего. Темные брови так же непозволительно густы. И ростом стала выше, к своим ста семидесяти еще добавила сантиметров пять.

— Каблуки, — шепчет Ленка.

Я, наверно, успел покраснеть и побледнеть, но, к счастью, на мне загар индейца. С таким загаром и Ева не страшна.

— Привет, — киваю я.

— Привет, — улыбается Ева.

Она всем улыбается, не только мне. И спешит к своим подругам Светлане и Нине. Эти девули с первого дня выделили друг дружку. Все высоки, все стройны, все минчанки. Большинство в нашей группе из разных городов и весей, но элита только они: Ева, Светлана, Нина. На первом месте всегда Ева.

Год назад мы отправлялись на свою первую картошку. Девчата с криком и писком полезли в грузовые машины с наращенными бортами, ребята помогали им, и я впервые прикоснулся к руке Евы.

— Тебя как зовут?

— Ева.

Она произнесла — Эва, на польский манер. В машину я ввалился последним. Ева подобрала длинную ногу, махнула рукой:

— Садись.

А у меня уже готова была фраза:

— Я хоть и не Адам, но внук Адама. Моя мама Лидия Адамовна.

Ева засмеялась, сверкнув крепкими зубами, и я понял, что рядом с ней мне всегда будет не по себе.

Тогда мы еще по-детски придавали значение оценкам, а у нас с Евой после вступительных экзаменов по девятнадцати баллов из двадцати.

— Умненькая? — спросил я.

— Ты должен быть умнее, — сразу расставила все по местам Ева.

И вот целый год позади, а у нас с Евой не разбери поймешь. Она не то чтобы равнодушна ко мне, но непостоянна.

— Ихняя сила в этом и есть, — подмигивал Володя.

Я злился.

— Какая сила?

— Ихняя.
— В чем выражается?
— Чтоб увернуться.
— А дальше?
— Пока не поймаешь.

Сам Володя поймал все сразу. На картошке он три дня присматривался, на четвертый остановился возле Светланы: эта.

— У нее жених, — предупредила его Ева.

Ева легко выдавала чужие секреты и не подпускала к своим.

— Какой такой жених?
— Парень у нее в армии.
— Он в армии, а я здесь.

И Володя принялся за дело. С утра до вечера снимал Светлану разными камерами и объективами. До утра сидел на крылечке дома, в котором жили красавицы. Подбрасывал в форточку цветы, сорванные в соседних палисадниках. На пятый день осады изобразил из себя Симеона-столпника. Возле хаты был столб на бетонной подпоре, при желании на него можно влезть.

— Помоги.

Я помог.

Володя потоптался на крохотном пятачке, обнял, как жену чужую, столб и затих. Я постоял внизу, подумал, отошел к забору и сел.

Скоро девушки выскочили из хаты, впереди Ева, за ней Нина, Светлана выглядывала из сеней.

— Вовочка, ты что там делаешь? — крикнула Ева.
— Стою.
— Зачем?
— Чтоб вышла.

Нина толкнула локтем Светлану и прыснула.

— Долго стоять будешь?
— До конца картошки.

Тут они вовсе развеселились и ушли в дом.

— Промашечка вышла, — сказал я.
— Никогда! — поменял опорную ногу Володя.

Светлана вышла в брюках, свитере, куртке, теплой шапочке. Спуститься со столба Володе оказалось сложнее, чем влезть. Я подставил вытянутую вверх руку, Володя оперся на нее ногой — и рухнул вниз всеми своими восьмьюдесятью килограммами.

— Ты живой?.. — подскочила к нему испуганная Светлана.

Володя, кряхтя, стал собирать рассыпавшиеся кассеты с фотопленкой. Я потихоньку побрел домой, радуясь, что у Володи все в порядке. Но у него так и должно быть. Вислоусый парубок из Прикарпатья, он был старше нас, опытнее, ну и способности никуда не денешь. Уж если Володя за что-нибудь брался — атас, парни. Он фотографировал, собирал коротковолновые приемники с наушниками, вязал крючком, тягал штангу в университетском спортзале.

К концу первого курса Володя переселился к Светлане, сильно потеснив ее родителей и младшую сестру-гимнастку. Но это всеми нами было воспринято как должное. Сама Светлана уже давно не понимала, как можно ходить, есть, спать, сидеть на лекциях и сдавать экзамены без Володи. Кажется, она и думать перестала самостоятельно. Таращила на подруг круглые глаза, тупо кивала головой, оглядывалась на Володю: «Что мне им сказать?»

Ева и Нина отдалились от Светланы, не сильно переживая. Кошечки, гуляющие сами по себе, они находили удовольствие в общении друг с друж-

кой. Окруженная поклонниками с физфака Ева — и немного отстраненная, медлительная Нина, при ближайшем рассмотрении обнаруживающая глубину суждений. А также, вероятно, и чувств, потому что воздыхателей у нее было всего двое. Оба старшекурсники и без пяти минут аспиранты, один переводчик с английского, второй журналист.

У меня с Евой не заладилось с первой картошки. То она фыркнет, то я, и оба с опасной склонностью укусить или царапнуть до крови. При этом весь курс дружно пророчил нам свадьбу, если не первую, то следующую, после Володи со Светланой. Больше остальных усердствовала Ленка-комсорг, буксиром таскала нас из угла в угол, заставляя объясняться. Ева снисходительно улыбалась, я злился.

Конечно, я догадывался, что мы с Евой из параллельных миров. Видим друг друга, осязаем, но слиться, как Володя и Света, не можем. Во-первых, ни один из нас не умел уступить. Точнее, не умел я, Ева не хотела. И ясно давала мне это понять. Ну а с меня вообще взятки гладки. Когда было научиться? Сразу после школы семнадцатилетним отроком в университет.

Необходима была пауза. И у меня хватило мозгов ее взять.

Но прежде надо сказать о Крокодиле, потому что не только подруг было трое, но и нас. Я, Володя и Крокодил, такова троица. Крокодил вырастил свою зубастую пасть в Донбассе, и он был во всех отношениях достойным шахтерским сыном. Рост под два метра, кулаки как кувалды, светло-серые глаза, удивляющиеся этому странному надводному миру. Крокодил вылез из-под воды, это становилось понятно всем, кто с ним сталкивался. И не только вылез, но дополз до филфака, распихал лапами окружающих и впал в спячку. То есть он ходил на занятия, ел, спал, читал книжки — и ждал, ждал добычу, игриво скачущую на берегу.

Крокодил занимался боксом, я вольной борьбой, это должно было нас сблизить. Но дружил Крокодил с Володей, меня же терпел, не больше. Конечно, донкихотствующему Володе нужен был Санчо Панса, кто спорит. Но Крокодил?!

И тем не менее так было. Первые полгода мы втроем снимали комнату. Крокодил спал, Володя неутомимо ткал паутину новой идеи, я качался на маятнике между отчаянием и надеждой. Ева была наяву и во сне, она притягивала и отталкивала. А главное, я не чувствовал под ногами опоры.

В декабре на первенстве города неожиданно для себя и соперников я стал серебряным призером. Это был тот самый случай, который судьба подбрасывает в критические моменты. С января мне выделили место в общежитии, и вообще я ощутил крепкую борцовскую руку, не только поддерживающую, но и направляющую. Отныне можно было за себя не думать, а значит, и не терзаться. Тренируйся, парень, выбивай из головы сомнения. В феврале одни соревнования, в марте другие, в мае самые ответственные. А тут и сессия накатила.

Володя, как я уже говорил, к этой сессии перебрался жить к Светлане, Крокодил вроде бы остался один. Но крокодилы на себе подобных мало обращают внимание, у них иные цели. Я издали наблюдал за Евой. Володя, обзаведшись адъютантом, полностью посвятил себя фотографии. К тому времени он бросил штангу и вязание крючком. Штанга ему была противопоказана из-за давления. Иной раз проснешься поутру, а у спящего рядом Володи из носа тянется полоска запекшейся крови, исчезающая за ухом. Неприятно. Он и сам понял, что штанга бывает неподъемна. Крючок же ему просто надоел. Ну, одну шапочку связал, ну, вторую, жилетку осилил. Скучно, братцы, петли они и есть петли, для роботов и самоубийц.

Володя стал изобретать проявитель, который был бы на несколько порядков лучше прежних.

Опять же, в портретной фотографии очень важна модель. Володя теперь часами наводил объективы на Еву, Нину, находил другие достойные объекты, иногда прямо на улице, и Света послушно подавала из сумки линзы и накладки. Володя священнодействовал, в этом у нее не было сомнений.

Девицы, надо сказать, позировали Володе охотно. С распущенными волосами, с гладко зачесанными, анфас, в профиль, сейчас бы лукавинку хорошо, там и голая нога мелькала, ненавязчиво. Нет, Володя был мастер, это чувствовалось.

Крокодил за год отрастил чахлые светлые усы, и когда на первенстве университета по боксу такой же молотобоец врезал ему по носу, кровь на усиках нарисовалась ярко. Но разве кровью испугаешь Крокодила? Ухмыльнулся, плюнул в перчатку и так вмазал в ответ — молотобойца-математика унесли.

К тому времени я уже давно жил предчувствием моря. Мои родители неожиданно переехали из камерного, исхоженного вдоль и поперек Новогрудка в Хадыженск, неведомый мне городок в предгорьях Кавказа. От него до Туапсе всего ничего, два часа поездом, и я рвался окунуться в зеленую прохладу гор, обдуваемых степью. А за горами ждало меня море, я это знал.

И море, конечно, не подвело. Начал я с пионерского лагеря в Дагомысе. Под этот лагерь досрочно сдал в мае сессию и уже в июне покрикивал на хорошеньких воспитанниц из первого отряда. Как молодого и неопытного, директриса воткнула меня воспитателем именно в первый отряд. Но я как-то с нервами справился. И к концу смены получил три признания в любви, два анонимных, одно очное. Отроковица Жанночка, за лето выросшая из детского сарафана, отвела меня в кусты фундука и сказала, что готова остаться в Дагомысе надолго. Родители уже сняли здесь квартиру, и она моя без остатка.

— Ты рад? — прижалась она ко мне.

— Родители, говоришь? — почесал я за ухом.

— Да они у меня валенки! — успокоила Жанночка. — На пляже будем загорать, и вообще…

Я обещал подумать. Конечно, на дальнейшую жизнь у меня были другие планы. Сначала к родителям, они уж извелись, бедные, ожидая сына. Затем в Белореченск, где жили Кучинские, наши многолетние друзья, с их помощью отец и перебрался в Хадыженск. В последние годы его совсем замучил псориаз, зудящие пятна расползлись по всему телу, и чтобы избавиться от них, надо было сменить климат. Из Белоречки Кучинские увезли меня на своей «Победе» в Джубгу, где они постоянно останавливались в палатке под склоном горы, заросшей цветущим дроком. Рядом ключ с хорошей водой, просторный пляж, камни, торчащие из воды. Эти камни заколдовали меня. С утра до вечера я нырял среди них, цепляясь за жесткие буро-зеленые водоросли. Кидались наутек крабики, ползали по песку бычки, зеленушки таращились из морской травы и выскальзывали уже из самых пальцев. Через пару дней я научился доставать метров с трех-четырех мелких рапанов. Вываренные, раковины получались не хуже тех, что продаются на базаре.

Отдыхающие здесь были, но немного. В километре лагерь студенческого строительного отряда, по кустам редкие палатки таких же, как Кучинские, полуместных — и бесконечный галечный берег. Вероятно, курортникам не нравились камни, запах истлевших водорослей, выжженные склоны гор. С утра до вечера я валялся у воды. В один из вечеров прилетел баклан, сел рядом со мной и что-то выронил из клюва. Я присмотрелся: ракушка рапана. Баклан заорал, подталкивая ракушку ко мне.

— Чего надо? — глянул я из-под локтя.

Баклан заорал громче. Я поднялся, взял в руки рапана. Изгрызенные края ракушки говорили, что баклан сражался с ней долго. С трудом я выковырял мясо и бросил баклану.

— Вываривать надо, — сказал я.

Баклан заглотнул мясо и улетел. А мне они казались глупыми птицами.

Я вернулся ненадолго в Хадыженск. Сходил в горы за кизилом, из которого мама сварила варенье. Заодно нарвал ажины, колючим кордоном опоясывавшей подножия гор. Два дня поработал на бахче, где станичные молодухи чуть не прибили студента арбузами. Баб много, студент один, и арбузы летят в машину, как ядра. Но ничего, спасся, — и вот я в Минске.

2

Сказать, что все долгое лето я думал о Еве, — это ничего не сказать.

Юные и уже не юные тела дев и див преследовали меня от Сочи до Белореченска. Пляжи, танцплощадки, пустынный берег, по которому неведомо куда бредет задумчивая девица; горная речка, пробивающая в камнях русло через самшитовую рощу, и в озерце под водопадом плещется русалка. Как молодой курцхаар, худо натасканный на дичь, я делал стойку почти на каждую из встреченных, но все без толку. Дичь упархивала от неверного движения, от сглатывания слюны, от дрожи вытянутого напряженного тела.

Конечно, в каждой улыбке, в каждом взмахе волос и летящем шаге длинных ног я видел Еву. Я плыл за девушками в горных речках Пшиш, Шепсуго, Белая, я нырял за ними с молов Дагомыса, я танцевал на турбазах под завораживающую мелодию армянского шлягера «О, Серук, Серук…», я целовался с Таней под окном дома, где в это время поднимали стаканы мой батька и Танин муж, физрук техникума. Но удовлетворения не было, потому что не было рядом Евы. К концу лета я уже твердо знал, что жить без нее не могу. Если и существовало на земле приворотное зелье, каким-то образом меня им опоили. Вероятно, оно было подмешано в вино, банки с которым стояли на табуретках у калиток по дороге к пляжу. Это было восхитительно. Ты идешь к пляжу в Дагомысе, Геленджике, Туапсе, Джубге, а в банках у калиток колышется темная маслянистая жидкость. Кладешь на табуретку двадцать копеек, выпиваешь стакан и шествуешь дальше. Да, в вине таился слабый привкус отравы, но я его не распознал.

Богатство плоти на юге ошеломляло. Я дурно спал ночами и думал о встрече с Евой. Втайне я радовался, что не столкнулся с ней на одном из пляжей побережья. Теоретически такое могло быть. Она улыбнулась бы мне из-за плеча очередного поклонника, и это был бы конец. Пока же оставалась возможность все уладить.

Прежде всего я позвонил в Киев Сане. Мой лучший друг учился в институте инженеров гражданской авиации. На все лето он оставался в Киеве, потому что был яхтсменом. А чем занят яхтсмен ранга Сани? Вылизыванием яхты. Об этом он писал глухо, но я догадывался, что дедовщина в их спорте похлеще армейской. Капитан Саниного четвертьтоника «Гелиос» по совместительству был заведующим кафедрой института, то есть доктором наук, чьим-то зятем и прочее. Саня с напарником латали паруса, чинили шкоты и фалы, укрепляли мачту, подкрашивали корпус, каждый час окатывали водой палубу. Капитан прибывал на судно в пятницу или субботу, — и обязательно с любительницей морских прогулок, иногда с двумя. «Без излишеств», — писал Саня. Но у капитана была законная жена, и это вносило дополнитель-

ный оттенок в яхтенную муштру. Когда капитанская жена появлялась на яхте ранним воскресным утром, Саня с напарником обязаны были скатиться в рубку до нее. Девицы в этом случае оказывались подружками раздолбаев матросов, и капитан устраивал им перед женой показательную выволочку. С похмела, писал Саня, у него получалось особенно хорошо.

Но в сентябре Саня оставался хозяином яхты. Капитан убывал с женой на заслуженный отдых, и Саня мог весь сентябрь без помех холить и лелеять яхту.

С трудом дозвонившись до яхтклуба, я сказал Сане, что приезжаю.

— С девицей? — уточнил он.

— А як же.

— Давай. Мы здесь тоже найдем.

Пятого числа наш курс уезжал на картошку. Мне картошка не светила, потому что официально я был отозван на тренировочные сборы. В октябре первенство республики среди вузов, и от его результатов зависела не только зарплата тренеров. Есть результат — есть общага, стипендия, свободное посещение занятий. Виктор Семеныч, тренер борцов-вольников, собрал нас уже второго числа.

— Разожрались, значить? — оглядел он питомцев. — Ну что ж, с завтрашнего числа начнем.

И он показал кулак.

Сам Семеныч боролся еще недавно. Выигрывал турнир за турниром, готовился к Европе — и вдруг прободная язва. Поговаривали, что Семеныч прикладывался к бутылке и до язвы, и после. Но пропасть ему не дали, засунули тренером в университет. Иногда Семеныч выползал на ковер — и у нас глаза на лоб лезли. Весом не больше шестидесяти пяти килограммов, он разрывал тяжей.

— Тебя в каком месте ковра положить? — ласково похлопывал по плечу какого-нибудь здоровяка Семеныч. — Здесь будет удобно?

На пару часов наш зал арендовали милиционеры, отрабатывали приемы рукопашного боя. Как-то мы с ними в зале пересеклись, и один из них, мужик за сто килограммов, похвастался, что мастер спорта по дзюдо.

— Парашют цеплять будешь? — спросил его Семеныч.

— Чего? — не понял бугай.

— Если выйдешь против меня — начнешь летать, — объяснил Семеныч. — А ежли с парашютом, падать не больно.

Мужик завелся, побагровел, попер на Семеныча, как танк. А тому только и надо, чтоб завелся. Летал «мастер» над ковром красиво. Пикировал вниз головой. Садился от подсечки на тяжелую задницу. Описывал широкую дугу в положении прогнувшись. Шмякался на лопатки после «кочерги», броска через спину с захватом одной руки. Милиционеры хохотали как припадочные, чувство солидарности у них отсутствовало напрочь.

Да, Семеныч показал класс. Мы стали прислушиваться к нему, присматриваться. Словарный запас у него был не богат, зато «мельницы» и «вертушки» он крутил, как в кино.

— Давай, выиграй балл, — кивал он мне под настроение.

В спаррингах с ним я и понял, что такое настоящий борец. Гибкое тело, жесткие захваты, резкие подсечки, изумительное мышечное чутье. Этому нельзя было научиться, этим наделяла природа.

Я пыхтел, Семеныч поощрительно хмыкал, и временами у меня что-то получалось.

— Запомни, — показывал на состоящего из одних мышц парня Семеныч, — раз здоровый, значит, дурной.

Я запоминал. И убеждался, что корявые афоризмы Семеныча не подводят. Устрашающего вида противник на самом деле оказывался простым как репа.

— Сам лег, — удивлялся я.

— Раз здоровый, значит, дурной, — кивал Семеныч.

Отчего-то мне показалось, что за неделю пропущенных тренировок Семеныч меня не убьет. Кого-то ведь на ковер выпускать надо, думал я.

— Как провела лето? — спросил я Еву, когда мы остались одни.

— Нормально, — тряхнула она своей шикарной гривой.

— На юге?

— Пару недель в Крыму, а так Москва, Питер… До сих пор снится.

— Кто?

— Эрмитаж, — вздохнула Ева.

Я недоверчиво глянул в распахнутые глаза. Они смеялись, изучая. Передо мной стояла настоящая Ева, неподдельная.

— В Киеве приходилось бывать? — спросил я.

— В Киеве? — сразу забыла об игре Ева. — Я хочу в Киев.

— Если через неделю сбежишь с картошки, махнем в Киев. У меня там друг с яхтой.

— Конечно, сбегу! — прильнула ко мне Ева, замурлыкала. — Витечка, ты прелесть! А какая яхта, настоящая? И мы на ней поплывем? Слушай, как подумаю про картошку, жить не хочется. Дождь, грязь, холодина, кормят ужасно… Ты чудо, Витечка!

И чмокнула меня в щеку. То, что меня не будет на картошке, ее как-то не взволновало. А может, она и не догадалась об этом.

— Деканата не боишься?

— Папка справку достанет, — махнула рукой Ева. — Он и так меня не отпускал. Сказал, здоровье надо беречь.

Я осторожно провел рукой по выгнутой спине, и Ева не отшатнулась, лишь выдохнула в ухо:

— Увидят…

Я вбирал теплый запах волос, пьянея. Но сейчас у меня в руках была другая Ева. И которая из двух Ев мне нужна, я уже знал.

— Звони десятого утром, — легонько оттолкнула меня Ева.

Я кивнул головой, не отводя взгляда от полураскрытых припухлых губ.

— В Киеве, все будет в Киеве, — шевельнулись они.

От Семеныча я получил талоны на питание и помчался менять их на деньги. Буфетчица брала себе всего трояк из тридцати рублей, Семеныч сам же и подсказал, как избавиться от талонов. Кое-какие деньги у меня были, но для студента каждый рубль подарок.

Саня обещал встретить нас в аэропорту.

Десятого Ева в самом деле оказалась дома.

— А я уж третий день отъедаюсь, — протянула она в трубку. — Что? Киев? Какой Киев?

У меня похолодело внутри.

И тут Ева расхохоталась:

— Я пошутила, Витечка! Когда едем?

— Сегодня.

— А билеты?

— Возьмем в аэропорту.

Я был уверен, что нас ждут два свободных места на ближайший рейс, и так оно и оказалось. Я даже успел позвонить Сане и сообщить номер рейса.

Только в самолете я разглядел девушку, сидевшую рядом со мной. Округлые щечки опали. Волосы собраны в пучок на затылке. Под глазами едва заметные тени. Такой она почему-то была милее.

— Ты похорошела на картошке.

— Тебя бы туда! — фыркнула Ева. — Никто даже ведро не поднесет.

— А как же Крокодил и Володя?

— Ребята на току работают, с нами одни деды.

Ева тяжело вздохнула.

— Устала?

— Не успела, вообще-то. На четвертый день закашляла — и домой.

Я всегда знал, что Ева не пропадет ни в этой жизни, ни в какой-нибудь иной. Но вот тот, кто рядом с ней…

Я потянулся всем телом и блаженно закрыл глаза. Да, человек может гибнуть с ощущением счастья. На меня вдруг вновь налетел шторм под Джубгой. С утра поднялась волна, но я все же поплыл к пенящимся камням. Я был глуп, оттого и плыл навстречу нависающим над камнями грохочущим волнам. Мне было весело. И вдруг волна взметнула меня и швырнула на бурые, похожие на оплавленное железо камни. От удара перехватило дыхание, вода с песком хлынула в рот. Меня вертело в камнях, я не имел опоры ни под ногой, ни под рукой; водоросли, за которые я цеплялся, легко отрывались. Огромная масса воды опять обрушилась на меня, расплющила, проволокла по зубьям камней — и подвесила полуживого между землей и небом. Как-то я сообразил, что надо плыть. Через полчаса борьбы вслепую с волнами — теперь они с радостным ревом оттаскивали меня от близкого берега — я упал на мокрую, воняющую водорослями гальку. Из носа, ушей и рта текла вода, исхлестанные глаза ничего не видели, легкие конвульсивно всасывали в себя воздух, сердце выпрыгивало из горла. Я был счастлив, что остался жив. На животе горела содранная кожа, саднили колени и локти, но я был счастлив…

— Киев, — толкнула меня Ева.

— Я что, спал?

— Еще как.

Я глянул в иллюминатор. Земля неслась совсем близко.

Друг Саня не подвел, встретил нас на машине.

— Олег, — представил он водителя, — в одной группе учимся.

— А гоняемся на разных лодках, — хохотнул чернявый Олег.

— Едем сразу в яхт-клуб, — сказал Саня, и я только пожал плечами.

Парни, конечно, обалдели от Евы, изо всех сил разыгрывали из себя морских волков.

— Как мы вас в последней гонке надрали? — косился на Еву Саня.

— Да ладно, ваша лохань и ходить-то сама не может, — огрызался Олег. — Мотор врубили, а говорите, под парусами шли.

— У них в команде пять здоровенных лбов, — объяснял Саня. — Садятся на корме и дуют в тряпки. А то начинают тарелками грести.

— Какими тарелками? — стреляла глазищами Ева, сейчас они у нее были вдвое больше, чем в самолете.

— Обыкновенными тарелками, посудой. На море штиль, тряпки висят. Ихний капитан командует: «Помыть посуду!» Они хватают тарелки и гребут, как веслами. Все самые большие тарелки в магазине скупили.

Ева хохочет, Олег показывает Сане кулак, и машина чуть не вылетает на встречную полосу.

— Ты же не в море, — говорит Саня, как бы невзначай кладя на спинку сиденья руку и прикасаясь к плечу Евы. — Это в море вам все равно, в какую сторону идти.

— Мы будем на разных яхтах плавать? — не замечает Саниной руки Ева.

— На моей пойдем, — надувается Саня. — Я его матросом взял, для веса.

— Как для веса?

— А чтоб яхту откренивал. В хороший ветер яхта ложится на бок, а с другой стороны свисает вот такой амбал, как Олежка. Во-первых, скорость увеличивается, во-вторых, лодка не переворачивается.

Мощная шея Олежки багровеет. С Саниным языком никто не справится, я это хорошо знаю. Три года на соседних партах сидели.

— Значит, нас будет четверо? — спрашиваю я.

— Вечером еще один матрос подъедет. С тремя подругами.

— А ты, выходит, капитан?

— Разрешили один раз за румпель подержаться, теперь год будет кочевряжиться… — бурчит Олежка.

Ева оглядывается на меня и чмокает губами, будто целует. Она в своей тарелке, я не очень. Олег мужик ничего, сразу видно. Ну и Саня именно тот, которого я знал. Ехидина, свет не видел. Как он ладит с экипажем?

— Море, — говорит Саня.

Справа от дороги за соснами показывается вода. Пресная вода для меня не море, я равнодушно скольжу по ней взглядом. А Ева ахает, восторгается.

— Большое? — интересуюсь я.

— Сто девяносто пять километров до устья Припяти, — выпячивает грудь Саня. — И глубина порядочная.

— Цветет, — киваю я на полосы зеленых водорослей.

— Воду пить можно, — обижается Саня.

Яхт-клуб я определил по лесу мачт над водой.

Несколько человек возились у перевернутых лодок, трое несли мачту, один сидел на причале, по уши обмотанный парусами, не понять, то ли шил, то ли клеил.

Саня провел нас на яхту, галантно подав руку Еве и рявкнув на Олега. Заметно было, что он торопился быстрее убраться из яхт-клуба.

— На острова? — спросили нас с соседней яхты, когда мы отходили от причала.

Саня буркнул что-то невразумительное.

Ева красиво стояла в кокпите, держась рукой за гик.

— Вот это нельзя, — нахмурился Саня. — Порывчик налетит, стукнет гиком по башке — потом вылавливай из воды. В прошлом году одного так и не откачали.

Но Еву не больно испугаешь порывчиком. Тем более, когда на нее пялится, пуская слюни, весь яхт-клуб.

— Володи-то нету, — говорю я. — Не получится фотография.

Ева дергает плечом и нехотя спускается в рубку. Ничего, яхт-клуб уже далеко.

Пока мы шли вдоль берега, Саня знакомил меня с фалами, шкотами, грот-парусом и стакселем, объяснял премудрости движения галсами. Яхта легко покачивалась на небольшой волне, послушно ложилась вправо и влево. Слепило солнце, ветерок срывал с гребней волн холодные брызги. Здесь было еще лето, на излете, но лето.

В условленном месте мы подошли к берегу, где уже улюлюкали матрос Вадим с тремя барышнями. Яхта отдала якорь метрах в пятнадцати от суши. Олег, Саня и Вадим перенесли девушек по воде на плечах. Я принимал их на яхте. Две ничего, легкие, а Санина заставила меня крякнуть.

— Марина, — улыбнулась она.

Белозубая, зеленоглазая, загорелая, волосы черные как смоль. Узкая талия и тяжелые бедра. Тяжелые не только в сравнении с остальными девушками, не говоря уж о Еве.

— Ее предки левантийские греки, — шепнул Саня.

Я понимающе кивнул.

Яхта взяла курс к островам, на которых, как я понимал, справилась уже не одна морская свадьба. А может, на этих островах никогда не кончался медовый месяц яхтсменов.

Ева в купальнике выбралась из рубки, села рядом со мной, далеко вытянув длинные ноги. Мужики как-то притихли, и ни одна из морских девиц не рискнула рядом с ней раздеться.

Я почувствовал на своем лице идиотскую ухмылку и сплюнул за борт.

— Класс! — потерлась щекой о мое плечо Ева. — Ты за меня не бойся, Витечка.

Странно, но и в самом деле я за нее не боялся.

Нос яхты мерно разрезал волну. Кричали, зависая над головами, чайки. Удаляющийся берег затягивало палевой дымкой.

Мы шли к островам.

3

На мель мы все-таки сели. Яхтсмены не переставая подначивали друг друга мелями, вспоминали их прошлогодние и позапрошлогодние, и мель просто обязана была возникнуть на нашем пути. Яхта шла вроде с малой скоростью, но ткнулась она килем в песок — я слетел с банки. Сверху шлепнулась Ева, крепко саданув меня коленом в бок. Вот и скажи теперь о девичьей воздушности.

— Жива? — потер я ребра.

— Нормально, — снова закинула ноги на рубку Ева.

Недаром классик написал: если высокую и тонкую женщину раздеть, на самом деле она окажется не такой уж тонкой. Это о Еве и ее твердых коленях.

— В воду! — заорал капитан Саня.

Команда без звука посыпалась за борт. «Как лягушки в канаву», — успел подумать я, прыгая следом.

Вода была осенняя. Мы раскачивали яхту, по сантиметру спихивая ее с мели. Девушки смотрели сверху и советовали.

— Сесть легко, — пыхтел рядом Олег. — Слезть трудно…

Я понял, в чем состоят особенности яхтенного спорта. Во-первых, в беспрекословном подчинении капитану. Во-вторых, в некоторой склонности к мазохизму. Чем труднее работа, тем больше удовлетворения на лице яхтсмена. На Олежку просто приятно было смотреть.

Яхта сошла с мели — и вновь безмятежность, полудрема, ласковое дуновение ветерка.

— Вадим! — пытается утвердить пошатнувшийся авторитет капитан. — Навести порядок на палубе!

Вадим зачерпывает ведром на веревке воду и окатывает палубу. Девицы визжат, команда довольно ухмыляется. Порядок превыше всего — тоже одна из заповедей яхтсменов.

Показываются острова, и Саня, удачно лавируя, подходит к самому большому из них. Яхта становится на якорь. Олег и Вадим, сцепив руки стульчиком, переправляют пассажирок на сушу. Я и Саня занимаемся доставкой на берег провизии, тоже не самое простое занятие. Лагерь из нагромождения тюков, узлов и сумок постепенно приобретает божеский вид. Устанавливаются две палатки, стол под тентом и раскладные стулья. Дымит костер.

Чахлые сосенки. Редкие лозняки, вздрагивающие под ветром. Перетекающий под пальцами песок, полностью подвластный игре воды и ветра — и остающийся самим собой. Что еще человеку надо для полного счастья?

Солнце укатывается за воду. Мы долго сидим в зябкой свежести ночи, разгоняемой сполохами костра. Я осторожно целую холодные от вина губы Евы. Она запрокидывает к звездному небу лицо, блестит белками глаз. Я пытаюсь что-нибудь в них разглядеть, но глаза Евы чернее ночи. А может, мои близко посаженные глаза не могут совместиться с широко расставленными и чуть раскосыми глазами Евы. Мы, как и остальные парочки, молчим. Шуршит у ног песок, плещет волна, тихо дышит у меня в руках Ева.

Земля вслед за солнцем скатывается в безвременье, и это, вероятно, лучший миг для ее обитателей.

Назавтра все слоняются по лагерю как сонные мухи. Ева бурчит, что мыть посуду она ни с кем не договаривалась, тут, мол, хуже, чем на картошке. По-моему, она так и не заговорила ни с одной из морских подруг. Те беспрекословно драят песком котелки и чайники, делают бутерброды и подносят своим усталым капитанам по стакану пивка.

Ева, надувшись, ковыляет к воде и кое-как умывается. Замечаю, как девушки перемигиваются, глядя ей вслед. Что ж, корова из чужого стада, ее и должны изгонять из сообщества. Хорошо, рогами не поддают.

Ловлю на себе пристальный взгляд Сани. Он смотрит то на меня, то на Олежку. Это худой знак. Кроме пакости, мой лучший друг ничего не придумает.

Саня предлагает сгонять пулю в футбол. Два белоруса, два украинца, международный матч. Я с облегчением вздыхаю. Народ взбадривается. Обозначаем консервными банками маленькие ворота и начинаем толочь песок. Девушки без особого интереса взирают на побоище. Играем босиком, но парни лягаются, будто вместо ног у них копыта. Саня стоит у своих ворот как скала. Я мельтешу у чужих ворот и довольно быстро забиваю пять штук. Победа.

При нашем радостном вопле Ева наконец отрывается от журнальчика:

— Когда мы едем домой?

Мы купаемся на мелководье. Саня сплавал на яхту, придирчиво все осмотрел, вернулся довольный.

— Ну, Витек, — обошел он по кругу меня, — как себя чувствуешь?

Я понял, что дурные предчувствия меня не обманули. И Олежка как-то пригорюнился. Да, никуда не денешься, придется нам с ним изображать гладиаторов.

А Саня уже вошел в роль рекламного зазывалы, расписывая мои и Олежкины доблести. По мнению Сани, моя борцовская выучка вполне может быть компенсирована лишними двадцатью килограммами Олежки.

— Кто победит? — вопросил Саня.

Публика заинтересованно столпилась вокруг нас, щупая мышцы и заглядывая в зубы. Я понял, каково быть рабом на невольничьем рынке. «Может, дать ему в морду?» — посмотрел я на Саню. Но против воли народа не попрешь. Действительно, кто сильнее, вертлявый Витек или открениватель яхт Олежка?

Олег вроде пришел в себя быстрее моего, стал встряхивать мосластыми руками и разминать мощные бедра. Видно, не год и не два качался паренек. Ну что ж, чему там учил меня Семеныч?..

Тут и Ева отшвырнула журнал и в три шага оказалась среди девчат. И те с радостью приняли ее в свой круг. Все правильно, народу нужен сначала хлеб, потом зрелища, и все люди становятся братьями, в данном случае сестрами.

Потихоньку-полегоньку стравив нас, разогрев до нужного состояния, Саня засунул в рот два пальца и свистнул.

Олежка присел и стал ждать меня, загребая воздух клешнями. Он на голову выше, но ведь и это можно обратить в свою пользу. Я нырнул между рук к ногам, ухватился за одну, толстую, как бревно. Олежка немедленно обхватил

меня за туловище, пытаясь поднять, как тюк с парусом. Но ведь борцу того и надо. Я прихватил его локти и налег всем телом, переворачиваясь. Олежка напрягся, стараясь удержаться на ногах, и грохнулся спиной наземь. Для верности я вмял его голову в песок. Олежка посучил ногами, подергался и затих.

Публика выла и визжала.

— Случайно! — надрывался матрос Вадик.

Мы поднялись. Олежкина подруга заботливо стряхнула с его спины песок и вытерла вспотевшее лицо полотенцем.

— Витек, докажи, что не случайно! — прыгал рядом Саня. — Докажи, Витек!

— Витенька, ты прелесть! — толкнула меня в объятия Олежки Ева, и вид у нее был очень радостный.

«Настоящая красавица…» — успел подумать я.

Олежка двинулся на меня, как бык. Пальцы рук сдавливали горло врага, на красном лице ни тени сомнения. Из откренивателя яхт Олежка в два счета превратился в монстра-убийцу.

«Ну и ну, — вырвался я из жесткого захвата, — придушит ненароком».

Но ведь есть такой прием — «мельница». Часами я крутил ее под неусыпным контролем Семеныча. С захватом правой ноги, левой, опять правой и опять левой. Обратную «мельницу» крутил.

— Фигня, — говорил Семеныч, — разве это «мельница»? Ты его должен по ковру размазать.

Так Семеныч объяснял суть приемов. А показывая их, действительно размазывал по ковру.

В общем, я уцепился за руку и ногу противника, крякнул, подражая Семенычу, и Олежка всей своей массой опять повалился на спину, я едва успел из-под него выскочить. По-нашему это называется «туше».

На этот раз публика отреагировала вяло. Надоело публике зрелище. Мы с Олежкой стояли в грязи и мыле, жадно хватая ртом воздух, — народ разбредался. Саднила кожа, похрустывали косточки, пульсировала в подвернутой ноге боль, но народу до нас дела уже не было. Саня и тот уставился на яхту, будто увидев ее впервые в жизни. Ева? Далеко была Ева, сидела в шезлонге, окруженная новыми подругами, и что-то с жаром рассказывала.

Глянули мы с Олежкой друг на друга, плюнули и пошли омывать раны. Кто ж поймет, как не гладиатор гладиатора.

Натешившись видом бодающихся борцов, яхтсмены принялись за десерт. Когда я говорил о некотором мазохизме, присущем яхтсменам, я имел в виду и поедание ближнего. Сейчас матросы вцепились в своего капитана.

— Может, споем? — подмигивал Олегу Вадик. — Сань, что-то мы давно не пели.

Саня увлеченно ковырялся в кострище.

— Кто поет, Саня?! — изумился я.

Вроде я его знаю, своего школьного друга.

— Поет, и еще как. Сел за румпель и затянул: «Славное море, священный Байкал…»

Саня по-прежнему ничего не слышал.

— Ну и что? — глянул я на Вадика. — Нравится человеку — пусть поет.

— Одну песню команда выдержала. Но когда вторую начал… Олежка, какая его любимая?

— «Из-за острова на стрежень».

— Во-во. Капитан говорит: «Если он сейчас не заткнется, я сойду с ума».

— Плохо поет? — никак не мог я врубиться.

— Плохо! — хмыкнул Вадим. — Если б просто плохо, мы как-нибудь выдержали бы. А тут, понимаешь, гонка. Знаешь, как в гонке нервы напряжены?

— Я стресс снимал, — сказал Саня.

— Стресс!.. — подскочил Олежка. — Твой ор на всех яхтах слышали. В крейсерских гонках разброс яхт несколько километров, и они все слышали песню. Я специально спрашивал.

— Запретили? — посмотрел я на Саню.

— Капитан сказал: «Начнется шторм, тогда пусть воет до посинения». И на следующую ночь как раз шторм, пять баллов. Саня бегом к румпелю, вне очереди.

Саня изо всех сил дунул в погасший костер, устроив пепельную метель. Хорошие легкие у парня.

— После первого куплета уже никто не спал, — Вадим рассказывал в основном Еве, но его слушали и все остальные. — В первый момент подумали, что налетели на сухогруз и он врубил сирену.

— С Саниным пением никакая сирена не сравнится, — вставил свои пять копеек Олег. — Ты слышала когда-нибудь гудок сухогруза?

Ева сидела, согнувшись от смеха.

— Больше не позволяют петь? — спросил я Саню.

— Нет, — вздохнул тот.

— Сволочи.

— Капитан сказал: «Запоешь — спустим на канате за борт», — поставил точку Вадим. — За бортом не больно-то рот разинешь.

— Надо капитана поменять, — предложил я. — Или команду.

Вот этой шутки не понял даже Саня. Я пожал плечами. В конце концов, не мне ходить в гонки. И не мне запевать «Из-за острова на стрежень…»

Я думаю о том, что в любой компании к концу второго дня неизбежно начинаются сложности. А уж среди островитян тем более. О нас с Евой я не говорю. Коза, гуляющая сама по себе. Но вот и Саня отлип от своей гречанки. И Олежка удрал куда-то в кусты. Вадим рявкнул на свою сероглазую малышку Оленьку. Дела…

— Пора собираться, — говорю я Сане.

— Завтра, — оглядывается тот на палатку, в которой скрылась Марина.

— Бесполезно. Сначала взаимное притяжение, потом отталкивание. Надо сматываться.

— У вас-то все нормально, — бурчит Саня.

— У нас?! — смотрю я на Еву, которая уже измусолила журнальчик и теперь делает вид, что дремлет. — Ничего ты не знаешь про нас.

— Красивая деваха.

— Это, конечно, есть, — кряхчу я. — Но и только.

— А что еще надо? — удивляется Саня.

Я вздыхаю и отворачиваюсь к воде. Вода, даже пресная, лучшее из того, что видит человек в своей жизни.

— У Марины отец моряк, капитан первого ранга, а в яхтах она ни хрена не понимает, — жалуется Саня.

— Зачем ей понимать? Не она ведь капитан, папа.

Саня долго обдумывает мои слова — и на полусогнутых ногах идет в палатку.

Я опять возвращаюсь мыслями к Еве. Эффектная девушка, она во всем обожает эффекты. Любое ее появление на людях, особенно если среди них есть хоть одна пара штанов, должно быть эффектно. Продуманная поза. Подчеркнутый жест. Прическа, отличающаяся от других в радиусе километра.

Подружки в мини, Ева непременно в длинной юбке. Ну и дорогие вещи, выделяющие среди прочих не только дам преклонного возраста. Ева понимала, что произнесенное слово не главное ее достоинство, и старалась как можно реже раскрывать рот. Нет, она с удовольствием смеялась, без стеснительности облизывала губы, запихнув в рот большой кусок торта, призывно округляла их, слушая собеседника, но афоризмы изрекали все, кроме Евы. Она разговаривала улыбкой, нахмуренными бровями, сощуренным глазом, изгибом тела, походкой. И не больно надеялась на слова, не доверяла им. Ева была предметна и в то же время чуточку ирреальна, как чайка в море. Вот она, ты ее видишь и слышишь, любуешься плавным полетом, — но издали.

Сейчас Ева явно скучала. Мизансцена для нее затягивалась. Нужно было менять партнеров, декорации, костюмы, свет, нужно было садиться в яхту и плыть к иным берегам, а мы до сих пор на острове.

«Ничего, — подумал я, — на острове тоже полезно».

Ева поднялась и посмотрела в мою сторону. Я махнул рукой. Ева поколебалась и неохотно побрела по песку, натягивая на голое тело кофту.

— Замерзла?

— Я от этого песка тронусь. Хрустит на зубах, в голове, всюду… — она оттянула трусики и стряхнула прилипшие к молочной коже песчинки.

— На картошке лучше?

— Хуже, — подумав, честно призналась Ева. — Но что мы на этом острове торчим? Поплыли бы куда-нибудь.

— Завтра поплывем.

Я притягиваю ее к себе. Ева сопротивляется, но недолго. Я сдуваю воображаемый песок с гладких ног, живота, рук, шеи. Ева замирает. Я целую ямочки на щеках, покусываю мочку уха, приникаю к полуоткрывшимся губам.

— Еще… — шепчет Ева.

Мы целуемся, забыв обо всем.

— Ну, как, лучше? — заглядываю я в темные глаза.

— А ты ничего, — хлопает длинными ресницами Ева. — Целоваться не умеешь, но ничего.

Мы лежим обнявшись, и нам не мешают ни песок, ни ветер, ни подсматривающие чайки. Головы, изредка выглядывающие из палаток, не мешают тоже.

— Как тебе мой друг? — спрашиваю я.

— Это который?

— Саня, капитан.

— Мариночка его на коротком поводке держит.

— Да ну?!

— Скоро в ЗАГС поведут твоего Саню. А вот Олег симпатичный парень.

— У него тоже подруга.

— Ну, эти не в счет, — пренебрежительно машет рукой Ева. — Если бы я захотела, Олег на нее и не глянул бы.

— Вот так, значит?

— Мой был бы, — потягивается Ева.

Я провожу пальцами по щеке, трогаю подбородок, обхватываю тонкую шею. Красива, но опасна. На тело в узеньком купальнике и смотреть страшно. Ева вздрагивает от сдерживаемого смеха:

— Ревнуешь?

— Если бы ревновал, не гладил бы.

Она перестает смеяться.

— Я и забыла, что ты у нас силач.

— Слабенькая шейка, нежная…

— Перестань! — отталкивает мою руку Ева. — Шуток не понимаешь?

— Силач у нас Олежка, я просто обученный. Как говорит тренер Семеныч: раз здоровый, значит, дурной.

Ева примеряет афоризм к себе — и легко отбрасывает в сторону.

— Подумаешь, здоровый, дурной… В жизни надо быть везунчиком.

— Как ты?

— Может, как я.

— Не родись красивой, а родись счастливой?

— Лучше и той, и другой.

Ева сейчас не шутит. Она действительно считает, что все в этом мире создано для нее. Элита. Она и не подумает уступить вещь или место, никогда не встанет в очередь. Брать все сразу и много — вот ее девиз. Я же рядом с ней пока заполняю пустующую нишу. Гожусь для кое-чего, и она меня и терпит.

— Долго будешь мучить? — вглядываюсь я в безмятежное лицо.

— Не знаю, — не открывая глаз, бормочет Ева.

Наконец и у меня на зубах заскрипел песок. Давно пора из этого песчаного рая сматываться.

4

Семеныч меня не убил, и на первенстве республики среди вузов я занял второе место.

— Вечно второй, — приклеил ярлык Володя.

— До конца года можешь наплевать на занятия, — гоготнул Крокодил. — Теперь тебя ни одна собака не тронет.

Крокодилы в этих делах понимают толк. Я с ним согласился.

— Ну, братцы, — обнял нас Володя, — теперь возьмемся за съезд.

— Какой съезд? — не понял я.

— Съезд смеха.

Я посмотрел на Крокодила. Тот цыкал зубом, переваривая только что проглоченную пищу.

— Юмористический съезд нашего курса, — объяснил Володя. — Выпустим стенгазету, у меня полно подходящих снимков, команда КВН покажет пару своих домашних заданий. Ты, вроде, повесть пишешь?

— Пишу, — неохотно признался я.

— О чем?

— Первая картошка, то да се… Новый Симеон-столпник.

— Годится! — хлопнул меня по плечу Володя. — Название придумал?

— Еще нет.

— Под желтым одеялом.

— Что под желтым одеялом?

— Название повести: «Под желтым одеялом».

У меня по спине пробежали мурашки. Это было то название, которое я искал. На картошке мы с Володей поселились у одинокой бабки и после первой же ночи сбежали на чердак с сеном. В хате было полно клопов. Они ползали по старому дивану, падали с потолка, похрустывали на полу под ногами.

— Якие клопы? — удивлялась бабка.

Она выдала нам тонкое желтое одеяло, в котором не мог затаиться клоп, но которое и не грело. Я закапывался в сено, укутывал голову желтым одеялом — и как-то засыпал. Володя от Светланы заявлялся под утро — и тоже под желтое одеяло.

Надо сказать, повесть вчерне я уже закончил. Получилась она из четырех небольших глав, юмористическая, а главное, легко узнавались герои: Володя, Света, Крокодил, комсорг Ленка. Не хватало только названия, именно желтого одеяла.

— На съезде почитаешь, — как о решенном, сказал Володя.

— Перепечатать надо, — вяло сопротивлялся я.

— Ленка поможет, у нее пишущая машинка.

Прозу я пытался писать давно. Скрывался от родных и знакомых, прятал и перепрятывал исцарапанные корявым почерком листочки, мучился. Но что удивительно: мучился не столько словами, которых вдоволь было в прочитанных книжках, сколько выстроенностью действия. Ну, и не хватало реалий. В повседневном быту кое-что наскрести было можно, а вот для жизни прошлой или будущей у меня не было ни слов, ни понятий.

После неудачно сданных экзаменов за восьмой класс — «тройки» по алгебре и геометрии — за лето я сочинил исторический роман об антах. Его название лежало на поверхности: «Анты». Легко я написал про ковыльную степь, про кибитки кочевников, про антов, двинувшихся в пределы Восточно-Римской империи. С удовольствием я расписал битвы антов с греками, придумал, как они обманом и хитростью захватили греческие города. Дело происходило в шестом веке нашей эры, в эпоху великого переселения народов. Академическая история, попавшаяся в руки восьмикласснику, в избытке снабдила меня и героями, и фактами, и неким пониманием смысла нападения славян в союзе с кочевниками на империю. Народы приходили в движение, пытаясь устроить свою судьбу за счет других. Грохот крушения империи явственно отдавался в моих ушах и сердце, и походил он на гул близящегося землетрясения. Да, пока варвары с шумом и яростью ломились в империю, все было хорошо.

Но вот действие перешло в Византию. Написал я, что улицы Константинополя полны народа, — и рука остановилась. Я вдруг понял, что ни черта не знаю о Византии. Я не представляю улиц Константинополя. Я не знаю, во что одеты ромеи. Не имею понятия о церемонии приема послов в императорском дворце. А дома, храмы, постоялые дворы? Сады вокруг дворцов? Просто деревья, под которыми устроены торговые ряды? Ну, и люди, их лица, говор, походка, жестикуляция, мимика… Я вдруг уперся в глухую стену. Очевидно, генетическая память, окатившая меня запахами и красками степей, при начертании магического слова «Византия» не проснулась. По инерции я дописал последнюю битву антского князя Мезамира, окружил его врагами, убил — и засунул роман в папку. Я понял, что должен увидеть далекие города. Должен пройти пыльными дорогами, обсаженными смоковницами. Должен услышать разноголосый говор восточных базаров. Должен омыться в чистых и грязных водах больших рек и малых. Должен обнять женщину, которую полюблю, и может быть, она не станется единственной.

Я пошел смотреть, чтобы писать.

Но в повести, обретшей название «Под желтым одеялом», героини, похожей на Еву, не было.

После круиза на яхтах Ева, как и следовало ожидать, отдалилась. На картошке она больше не появилась. Да и у меня соревнования, надо было сгонять два с половиной килограмма лишнего веса. Я подолгу потел на ковре, затем в парилке. Картошка кончилась, началась учебная рутина. Ева по-прежнему сидела с подругами на «галерке», что-то втолковывала рассеянной Светлане, тревожно следящей за Володей, и сосредоточенной Нине, частенько жующей бутерброд.

Я, пользуясь положением, на лекции ходил по выбору. Преподаватели в большинстве своем мне не нравились. Раздражала школярская подача материа-

ла, ежедневные проверки, лекции с восьми пятнадцати. Как боцман чует бунт на корабле, так и преподаватели догадывались о моей гордыне. В другой ситуации это мне непременно зачлось бы, особенно пропуски занятий. Замдекана Емелин, недавний майор, травил прогульщиков, как умелый охотник зайцев. Они уж и сигали через окна, и под лестницами прятались, прикидывались больными и убогими, — Емелин их отлавливал и уводил на проработку в кабинет. Меня он пока не замечал. Наиболее ревнивые лекторы, завидев меня в аудитории, задумчиво кивали: вот ужо придет сессия, там посчитаемся. Я примечал: чем лучше преподаватель, тем меньше его волнует посещаемость. А вот наставники по истории КПСС и марксистско-ленинской философии обижались не на шутку, предупреждали, что на экзаменах будут требовать конспект своих лекций.

Я надеялся на Семеныча. Авось и марксистско-ленинцев поборет. Раз здоровый, значит, дурной.

Идея юмористического съезда в народе вызвала энтузиазм.

— Говорят, ты повесть написал? — подкатилась после занятий Ева. — А я там есть?

— Какая ж повесть без Евы? — хмыкнул я. — Первая печальная повесть на земле про Адама и Еву.

— Я не люблю печальные.

— Веселые любишь?

— Конечно.

Меня удивляло в Еве стремление сразу и без обиняков высказать свое кредо. Любит девушка веселье, и точка.

— Сама-то в съезде участвуешь?

— Смотреть буду.

— И только? Светлана вон под гитару поет.

— У Светланы голос.

— А у тебя?

— Ты не знаешь, что есть у меня? — разозлилась Ева. — Тоже мне, писатель.

— У моей девочки есть одна маленькая штучка?

— Болван!

Она покраснела, и я готов был упасть перед ней на колени. Но поздно. Длинные ноги уже мелькали далеко впереди.

— Поцапались?

Я увидел рядом с собой Крокодила. Все-таки умеют они появляться. Никого ведь не было — и вдруг крокодил, неподвижный, но живой. В руках справочник по философии и ленинские работы.

— Куда путь держишь?

— В библиотеке был. Почему на редколлегию не приходишь? Хорошая газета получается.

— Со временем туго. Сам понимаешь, каждый день тренировки.

— А Ева? — моргнул он глазом.

— Ничего Ева, бегает.

— Ты знаешь, что ее дядя декан истфака?

— Ну и что?

— Ничего. Вчера с ним познакомился. Новую квартиру недавно получил, четырехкомнатную.

Я действительно не знал про дядю-декана. Но каковы крокодилы! Лежат, как бревна, на берегу, не шевелятся, однако все видят и все слышат. Ленина изучают.

— На истфак переходишь?

— Зачем? — спрятал книги за спину Крокодил. — На съезде повестуху прочтешь?

— Ленка отпечатает, может, прочту.

— Володя классное фото сделал. Мы с Евой спиной друг к другу, расходимся, как в море корабли. Говорит, на международную выставку послал. Это фото и Евин портрет.

— Давно вместе позируете?

— Давно, — осклабился Крокодил.

Я думал, Крокодил спит, а он, оказывается, ведет активную дневную и ночную жизнь. С дядей-деканом познакомился. Сфотографировался с Евой. Ай да пресноводное.

— Аппетит хороший?

— Чего? — захлопнул пасть Крокодил.

— Похудеешь с этой учебой, из своей весовой категории вылетишь. Таким, как Ева, нужны упитанные крокодилы.

— Наберем! — заржал Крокодил. — Вес мы умеем набирать.

В последнее время я забросил не только учебу, но и газету. Володя, Крокодил и я входим в редколлегию факультетской стенгазеты. Володя приносит фотографии, Крокодил пишет заголовки, я придумываю рубрики и редактирую хохмы, которые тащат в газету все подряд, от первокурсников до преподавателей. Съездовский номер, похоже, Володя целиком взвалил на свои плечи, Крокодил вон справочником по философии занялся.

А у меня повесть. «Нет повести печальнее на свете…» Еву съезд смеха почти не заинтересовал. Один раз, правда, заявилась в раздевалку возле спортзала, где мы ползали на карачках по ватманским листам с карандашами и кисточками, полюбовалась процессом.

— Не для меня это, — смерила она взглядом Светлану, держащую в руках банку с клеем. — Сегодня в Русском театре премьера.

Светлана виновато улыбнулась.

Я знал, что в театр Еву водят актеры. Ей нравится богема, но, конечно, не до такой степени, чтобы курить анашу или оставаться до утра в пьяной компании. Во всяком случае, поздним вечером Ева всегда дома. Я слышу ее дыхание на том конце провода — и осторожно кладу трубку. Говорить с ней по телефону невозможно: резка, категорична, неуступчива. При разговоре глаза в глаза она мягче, с удовольствием выслушивает комплименты. А потом вдруг зевает, слегка прикрывая рот.

— Устала?

— Не обращай внимания, это я так.

И смеется. По ее карим глазам, искрящимся в хорошую погоду, я никогда не могу узнать, о чем Ева думает. На редкость скрытна.

— И злопамятна, — добавляет Ева. — Подумай, прежде чем связываться.

— Уже связался, — напускаю я на себя мрачность. — На вечер к физикам идешь?

— Конечно. Могу и тебя взять.

Я дергаю плечом. Среди физиков у меня много знакомых, одних борцов человек тридцать. Борьба на физфаке популярна, я же в некотором роде знаменитость, без пяти минут мастер спорта. Семеныч уверен, что уже в этом году я выполню мастерский норматив. Но появляться на физфаке с Евой мне не хочется.

— Тренировка, — говорю я.

— А если я скажу — немедленно брось свою борьбу? — в упор смотрит на меня Ева.

— Каприз? — уклоняюсь я от прямого ответа.

— Да, каприз. Бросишь?

— Нет, не брошу.

— Вот! — торжествует Ева. — Вот поэтому у нас ничего не получится.

— Получится, — притягиваю ее к себе, зарываюсь лицом в густые волосы с горьковатым запахом духов.

Обниматься Ева любит. Выгибает спину, прижимается бедрами, медленно проводит ногой по моей голени, вздрагивает. По-моему, ей все равно, видит нас кто-нибудь или нет. Вообще-то, целуемся мы в темных углах, но иногда на Еву накатывает прямо на улице. Я делаю вид, что не замечаю завистливых взглядов парней.

Ева отрывается от меня, делает глубокий вдох, приходит в себя.

— Все-таки ты ничего.

— Опять двадцать пять! — злюсь я. — С кем ты меня путаешь?

— Молчи, глупенький. Был бы ты лет на пять старше…

Я чувствую, что Ева права. Мне действительно не хватает веса, в прямом и переносном смысле. То, что мы с ней одного роста, не так страшно, как одинаковый возраст. В свои восемнадцать Ева давно женщина. А я еще не мужчина. И не стремлюсь им быть. Всякому овощу свой черед. Тренируюсь, глотаю книги, тоскую о море и незнакомых девушках, бредущих по его берегу. У Евы другие мысли. Темнее моих, глубже, ирреальнее. На занятиях она просто скучает. «Господи, что за чушь!» — оглядывается она в мою сторону. Я опускаю глаза. Чушь, конечно, но любопытная. Ева учится вместе с нами, но живет другой жизнью, отличной от нашей. Воистину, она уж давно изгнана из рая, пока мы, дети, голышом бродим на его задворках. Я не хочу сказать, что Ева спускается по кругам ада, но ее падение уже было. Вот и глаза темны, далеки мысли, улыбка на губах искусительная, заимствованная у змея. Наверняка я ошибаюсь в этих своих параллелях, но превосходство Евы ощущаю. И мечусь в предположениях. Я пытаюсь постичь знание, пришедшее к Еве вместе с соком райского яблока, поднесенного змеем. Адам вроде тоже отгрыз от плодов, отведанных Евой, но первой прозрела она, жена человеческая из ребра его. Ева прозрела, я еще блуждаю в потемках. Кто он, полевой змей, явившийся перед женой? Ева знает, я нет.

На соревнованиях Центрального совета общества «Буревестник» я травмировал связки левой стопы, и было это в финальной схватке. Опять второе место. Получая серебряный жетон, я едва сдерживался, чтоб не закричать от боли.

— Надрыв связок, — сказал врач, едва глянув на опухшую ногу. — Не смертельно, но будет беспокоить долго.

Теперь днями я валялся в кровати, читая и кое-что записывая. Сачков в общаге было больше, чем я предполагал. Они тихо просачивались в комнату, показывая бутылки с вином или карты. Я отказывался.

Пятикурсник Бойко присаживался на кровать, чтоб побеседовать.

— Читаешь?

— Читаю.

— Не пьешь?

— Не пью.

— Я вот до пятого курса доучился и ни разу не получал стипендию, — доверительно наклонялся он ко мне.

Я это знал. Бойко был уникум. На жизнь он зарабатывал картами. В день выплаты стипендии его комната превращалась в игорный дом. Играли двое-трое суток, пока у партнеров были деньги. Обобрав коллег, Бойко успокаивался до следующей стипендии. Меня удивляло, что картежники и не пытались спастись. Они замирали перед Бойко, как кролики перед удавом. Играл Бойко во все: преферанс, кинг, рамс, секу, очко. Вероятно, талант его не вызывал сомнений, потому что проигравшие при мне ни разу не скандалили. За столом он не пил, не курил, не вскакивал и не шлепал картами.

— А знаешь, скольких грамотеев при мне из университета выгнали? — продолжал Бойко.

Я догадывался, что многих.

— Почему?

Я пожимал плечами.

— Не сдерживали страстей! — поднимал палец Бойко. — Читали книги — раз. Ходили на лекции — два. Писали конспекты — три. А потом один раз напивались, устраивали в комнате пионерский костер или драку — и все. Вперед, в Советскую Армию к дедам на обучение. Ты понял?

— Что?

— Не понял, — с сожалением поднимался Бойко. — Ну ладно, читай дальше.

Я обнаружил пропажу из тумбочки всех своих медалей и жетонов, осталась одна цветная лента. На соседей грешить не хотелось. Конечно, комнаты в общаге проходной двор, но медалей было жалко.

— Новые завоюешь, — успокаивали сожители.

— Придется, — соглашался я.

Ева в общаге не появилась ни разу. Но я и не ждал ее. У рыб, зверей и птиц разная среда обитания. Бывают, конечно, крокодилы, живущие в воде и на суше, но они крокодилы.

Ко мне каждый день приходила Ленка, приносила отпечатанные страницы повести.

— Вычитывай, — отдавала она две-три странички.

Машинистка из Ленки еще та, опечатки в каждом слове. Я правил, Ленка болтала. С Евы она начинала и ей же заканчивала.

— Может, передохнешь? — останавливал я ее.

— Молчу, — поджимала губы Ленка — и тут же вспоминала новую историю.

Благодаря ей я знал все о подготовке съезда, о семейной жизни Володи и Светланы, о спячке Крокодила и мятущейся Еве.

— Переживает чего-то, — вздыхала Ленка.

— Ева переживает? — отрывался я от текста. — Смотри лучше сюда, пропуск…

Ленка подсаживалась ближе. Ее волосы щекотали лицо, и пахли они не так, как у Евы.

Съезд был уже совсем близко.

5

К пяти часам пополудни актовый зал почти заполнился.

Дата съезда не афишировалась, но пришли старшекурсники, преподаватели, друзья. Еву сопровождали два здоровенных лба, одного из них я знал: физик Алик, мастер спорта по гребле то ли на байдарке, то ли на каноэ. Судя по тому, что кавалеры не замечали друг друга, Ева развлекалась по полной программе. Похлопывать по холке двух молодых бычков, угрюмо косящихся на соперника, удовольствие и впрямь особенное. Ева подмигнула мне, приглашая оценить пикантность ситуации. Я кивнул: съезд смеха! Бычки уставились на меня, будто впервые в жизни увидев вожделенную красную тряпку.

Проплыл Крокодил, по обыкновению переваривая пищу. Один из пажей Евы кинулся к нему обниматься. «Боксер, — понял я, — с Крокодилом обнимаются только боксеры». Крокодил с пажем грохали кулаками по спинам друг друга, смахивая ненароком навернувшуюся слезу, Ева забавлялась.

Володя, командовавший парадом, подал знак: пора. На сцену высыпала команда КВН, съезд начался. Рядом со мной нервничала Ленка. Она должна была читать отрывки из моей повести. У авторов редко бывают звонкие голоса, Ленка вынуждена была сдаться под моим и Володиным нажимом.

— Здесь ударение правильно? — совала она мне листок. — А в этом слове?..

— Как прочитаешь, так и правильно, — отвечал я афоризмом Ивана Ивановича, нашего преподавателя русского языка.

— Смеешься, а мне на сцену… — чуть не плакала Ленка.

Миниатюры закончились.

— Вперед! — повернулся к Ленке Володя.

Она вскочила, задохнулась, наступила мне на ногу и унеслась.

Повесть слушали хорошо, смеялись, хлопали. Ева теребила то одного, то другого ухажера, страдая от недостатка внимания. Крокодил, по обыкновению дремавший, вдруг невпопад заржал. Евины пажи, встрепенувшись, его поддержали. Публике понравилось и это.

Ленка освоилась, перестала частить и заикаться. Я сел свободнее. Володя повернулся ко мне и удовлетворенно подмигнул: порядок.

Ева ни с того ни с сего обиделась. Пухлые губы вздрагивают, взгляд мрачный, длинная нога нервно постукивает по переднему сиденью. Вот-вот вскочит и выметнется из зала. Кавалеры забыли об отведенной им роли, вертят головами, заглядываются на раскрасневшихся девиц. Бедная Ева. Рука ее сжимается в кулак, и он не такой уж маленький. Но хороша Ева и в гневе. А может, особенно хороша в оном. Перехватив ее как бы случайный взгляд, я корчу рожу. Ева опускает голову — и поворачивается ко мне уже улыбающаяся. Подсказка принята. Забывшийся да будет наказан.

На сцене давно уже поют, отплясывают, хохмят. Володя железно выдерживает регламент съезда. «Почем стоит похоронить?» — «Пять рублей». — «А без покойника?» — «Три рубля, но это унизительно». Народ стонет, плачет, некоторые лежат.

Я замечаю секретаря комитета комсомола факультета Баркевича. Лицо, конечно, каменное, но разве может оно быть иным у вожака молодежи? Вижу, как разевает пасть Крокодил, легонько толкает локтем соседа, и тот сваливается с кресла, хватая ртом воздух. По печени попал. Крокодил уж если ткнет, мало не покажется.

Ленка, вновь оказавшаяся рядом, на себя не похожа. Глазки горят, зубки сверкают, грудь волнуется. А что, вполне может понравиться. Вон Евин боксер уставился, поплыл, как от хука в челюсть.

— Чего он?.. — у Ленки покраснела даже шея.

— Состояние грогги, — говорю я. — Бери за веревочку и веди куда пожелаешь.

— Больно надо! — фыркает Ленка.

— Напрасно.

Съезд заканчивается гимном. Весь зал поет «Гаудеамус».

— Молодцы мы все, — смахивает со щеки слезинку комсорг. — Делегаты съезда приглашаются за кулисы.

Да, я видел, как Крокодил со товарищи таскал звякающие саквояжи. Не пойти нельзя. К тому же, сквозь толпу проталкивается Ева, хватает меня за руку, прижимается бедром.

— Идем?

— Куда?

— На кудыкину гору.

Ева вроде не делегат, но участие ее в закулисной части съезда ни у кого не вызывает сомнений.

— А кавалеры? — шарю я по толпе взглядом.

— Не твое дело.

Действительно, что это я Евиными кавалерами озаботился. Пороть их будут. Ева уж постарается высолонить розги.

Крокодил мечет бутылки, по кругу идут стаканы, которых не хватает. Ева умудряется завладеть двумя стаканами, один сует мне:

— На брудершафт?

Медленно пьем, целуемся. Евины губы приятно горчат. Народ вокруг делает вид, что все в порядке вещей.

— Уходим по-английски, — шепчет Ева.

— Куда? — удивляюсь я.

— К тебе.

— В общагу?! — едва не роняю из рук стакан.

— Давай, сначала ты, потом я. Жди меня у входа в скверик.

Я пячусь, натыкаюсь в потемках на Ленку, которая заполошно машет рукой: уходи! В коридорах народ уже рассосался. На втором этаже стоит Емелин, раскуривающий папиросу. «Во сколько он уходит домой? — мелькает мысль. — И есть ли у него нормальный дом?» Емелин сильно хромает, говорят, ранение он получил в армии. Наш замдекана даже в штатском остается майором. Отдает приказы, выслушивает донесения, следит за прическами разгильдяев и короткими юбками девиц. Правда, на последних он только косится. Служба, и на филфаке у Емелина служба. Иногда кажется, тянуть ее тяжелее, чем в армии.

На улице пронизывающий ветер, гололед, безлюдье. Не замерзла бы Ева. Но она скоро появляется, налетает, тормошит.

— Комнату освободить сумеешь?

— Комнату?..

Двое сожителей из библиотеки приходят поздно, один уехал домой. Только Виталик может оказаться дома, но он мой должник. Уже не раз я уходил на пару часов из общаги, когда Виталик приводил свою Аллу.

— У нас бабка на входе вредная, — бормочу я. — Как бы крик не подняла.

— С бабкой я справлюсь, — тащит меня за руку Ева. — Бабки сами меня боятся…

И правда, вахтерша, мельком взглянув на Еву, накинулась на жмущихся у входа парней и девчат:

— Никого не пропущу! Комендант приказал — без документов никого.

Каблуки Евы громко цокают по коридору. Ни капли не похожа она на здешних девиц, а вот поди ж ты.

Виталик был дома, бренчал на гитаре, приканчивая бутылку «чернильца».

— Понял! — подмигнул он нам. — За два часа управитесь?

— Кончай ты… — оглянулся я на Еву.

— Управимся, — кивнула Виталику Ева. — Мы шустрые.

Виталик гоготнул и скрылся. Парень он был легкий и без комплексов. Однажды ворвался в комнату после полуночи — я, лежа в постели, читал, — стукнул рукой по выключателю:

— Витек, ты спишь!

Слушая в темноте возню на его кровати, я жалел, что не успел натянуть штаны и смыться. Алла, худенькая девушка с тяжелой грудью, была влюблена в Виталика как кошка. Чего никак не скажешь о нем.

Ева достала из своей объемистой сумки бутылку вина.

— Где у тебя стаканы?

У меня дрожали руки, и я выключил свет, чтобы Ева этого не заметила.

Ева, не спрашивая, устроилась на моей кровати, подобрала ноги:

— Иди сюда…

Я, преодолевая оцепенение, наклонился над ней.

— Ну что ты… — стала она меня гладить, — не волнуйся, глупыш, все будет хорошо…

В отсвете уличных фонарей белело ее лицо, блестели глаза. Она стянула через голову свитер, я неловко ей помог. Упруго торкнулась в ладонь грудь с шероховатым соском. Другой рукой я стал нашаривать крючки на юбке.

— Не надо…

Ее уверенная рука поползла вниз по животу, и я, холодея, подчинился ей. Сама Ева осталась в юбке, но с меня стащила брюки.

— Вот так…

Горькие губы раскрылись, приняли меня в себя. Я сильно зажмурился, сдерживая стон облегчения. Волосы Евы сильно запахли сигаретным дымом.

— Дай мне вина.

Боясь смотреть на нее, я протянул стакан.

— Тебе было хорошо?

— Да… — слово с трудом протолкнулось из горла.

Чувство, только что вывернувшее меня наизнанку, нельзя было обозначить словом «хорошо». Я отвечал, как того хотелось Еве. Но сама она?..

Ева, приведя в порядок юбку, свободно лежала на кровати, кажется, улыбалась.

— Иди ко мне, холодно… Да надень штаны.

Постучали в дверь, но не условным стуком, обычным.

— Не открывай, обойдутся.

— Конечно.

Дрожь в теле не проходила.

— Холодное вино.

— Что? — не поняла Ева.

— Озноб от вина.

— Да нет, ничего, — Ева сняла с бедра мою руку. — Говори что-нибудь, не молчи.

Но у меня не было слов, ушли.

— Понравился съезд? — выдавил я.

— Володя молодец, из него режиссер получится. А твоя повесть детская.

Я растерялся.

— Почему детская?

— Ребенок.

Это уже выходило за рамки игры.

— А почему ж… сюда пришла?

— Дурачок, — сверкнула белками глаз Ева.

Я попытался отодвинуться, но она не дала, крепко обняв меня.

— Повесть написал, вина сегодня выпил — и все такой же маленький.

Ева дразнила, я обижался. Действительно, дурак. Стало как-то легче.

— Завтра встретимся?

— Может быть, — улыбнулась Ева. — Витечка, ты, главное, не напрягайся. И не таскайся за мной хвостиком. Дышать ртом вредно.

Это я знал, спортсмен все ж.

Тепло Евиного тела убаюкивало, усыпляло. Я трогал тяжелые волосы, прикасался губами к затылку, невольно стараясь дышать носом. Ева потягивалась, как котенок под поглаживающей рукой. Коридор постепенно напол-

нялся голосами, топотом, взрывами смеха. Но возле нашей двери было тихо. Виталик молодец.

— В какую сторону у вас туалет? — высвободилась из моих рук Ева.

— Ваш направо.

— Без меня сможешь прибраться? — покосилась она через плечо. — Посмотри, на что кровать похожа.

— Здесь все кровати такие.

— Ну да?! — остановилась Ева. — А с виду простые ребята.

— Дурное дело нехитрое.

— Надо же, заговорил! Подними с пола дубленку.

Я и не заметил, какой у нас роскошный ковер на полу. Прямо с кровати босыми ногами в пушистый мех — замечательно.

Ева ушла. Я включил свет, поправил покрывало и подушку, убрал со стола пустую бутылку, стаканы. Как будто ничего и не было.

У выхода мы столкнулись со смехосъездовской командой, прорывавшейся в общагу. Промозглым ноябрьским вечером, да еще с дождичком, похожим на снег, по улицам много не погуляешь. Поневоле поскачешь к друзьям в общагу. Толпа, осаждающая врата, нас не заметила. Мне пришло в голову, что варта, то есть стража, этимологически восходит именно к вратам. Молодцы, стоящие с бердышами у врат, и есть варта. Во всяком случае, наша бабка на них походила, но один в поле не воин. Оттерли в угол — и рванули с гоготом по коридору. Крокодил, проплывший мимо, усиленно работая хвостом и конечностями, даже не моргнул глазом. Крупный крокодил, породистый, от темечка до кончика хвоста метр девяносто пять. Ева, остановившись, прищелкнула ему вслед языком.

— Нравятся крокодилы?

— Ничего.

По дороге к Евиному дому мы молчали. Она небрежно держала меня под руку, закрывалась воротником дубленки от ветра, отворачивалась. Я смотрел прямо перед собой. То, что сегодня случилось, казалось, должно было в корне изменить наши отношения. Но я чувствовал, что все осталось по-прежнему. Идущая рядом Ева была, как и раньше, недоступна.

— Иди, — толкнула она меня в грудь у подъезда.

И я, выдерживающий на соревнованиях бодания здоровенных бугаев, под ее рукой пошатнулся.

— До завтра?

— Может, справку из поликлиники возьму, — зевнула Ева. — Пока.

Справку она действительно взяла, поскольку не показывалась на факультете больше недели. Но тосковать мне было некогда — все же, черт побери, знаменитость. Съезд смеха имел, как говорится, большую прессу, меня стали узнавать не только студенты. Завкафедрой иностранных языков Броневский, только-только вернувшийся из командировки в Штаты, подозвал меня к себе, когда я зашел в деканат с очередным письмом об освобождении от занятий:

— Это вы повесть написали?

— Написал.

— А это что? — кивнул он на письмо.

— Отзывают на сборы, — объяснил я. — Соревнования.

— Вы еще и спортсмен?! — уехали куда-то на лысину брови. — А как ваш английский?

— Сдаю, — пожал я плечами.

— Вторая группа второго курса? — проявил странную для профессора осведомленность Броневский. — Со следующего семестра занятия у вас буду

вести я. И вот это мне, — он брезгливо покосился на письмо, — лучше не показывать. Уяснили?

— Так точно! — щелкнул я каблуками.

— Юморист… — пожевал губами седой, моложавый, в костюме от кого-то там профессор. — У меня вы будете заниматься по новейшей структуралистской системе, и она требует обязательного посещения.

Чутье мне подсказало, что я серьезно влип. Но студент тем и хорош, что в упор не видит грядущих неприятностей. Ему б только день продержаться.

Настоящим героем съезда был, конечно, Володя, но ему определенно нравилась роль серого кардинала.

— Это еще цветочки, — потирал он руки, — у меня такие работы для фотовыставки — ахнут.

— Евин портрет?

— Обнаженная натура, — шептал, оглядываясь по сторонам, Володя, — у нас это называется актом.

— А кто на снимках? — как бы нехотя интересовался я.

— Работы литовцев. Такого здесь еще не видели.

Литовцы — это прекрасно. Не ездила же она к ним позировать. Хотя… На октябрьские праздники Ева и Нина развлекались именно в Вильнюсе.

— Крокодил что-то говорил про Евин портрет.

— Тоже будет, но лучшие работы — литовцев. Натура!

Неожиданно меня и Володю вызвали в комитет комсомола. Секретарь Баркевич сидел за столом, мы стояли.

— Что это за съезд вы провели? — отодвинул от себя папку с бумагами вожак. — Что это, понимаешь, за игры?

Я посмотрел на Володю. Он молчал, поглаживая сумку с фотоаппаратами.

— Просто название такое, — сказал я. — Вечер юмора.

— Юмора… — по-генсековски подвигал тонкими бровками Баркевич. — Не показали нам ничего, не посоветовались, устроили сборище с вином. Пили вино?

— Было, — вздохнул я.

— А что это организатор отмалчивается? Ведь это вы все придумали, Малько?

Володя неопределенно пожал крутыми плечами.

— Значит, так, — постучал по столу ручкой Баркевич. — Для начала выводим обоих на месяц из редколлегии газеты. И больше чтоб никаких съездов, сессия на носу. Понятно?

— Понятно, — некстати хихикнул Володя.

— А что мы такого сделали? — не выдержал я.

Володя сильно пихнул меня сумкой.

Плавающий взгляд секретаря на секунду остановился на мне:

— С вами у нас будет отдельный разговор. Идите.

Володя почти выволок меня в коридор.

— Пусти! — рвался я в кабинет. — Чего мы такого…

— Сдурел? — прижимал меня к подоконнику Володя. — Молчи, и все будет нормально. Ну, не любят они чужих съездов, а ты молчи. Надо соглашаться со всем, что говорит начальник.

— А что он сказал?

— Что съезды на факультете отменяются. Я начальник — ты дурак, ты начальник — я дурак. Не лезь в бутылку. Съезд мы провели? Провели. Наша победа, понял?

— А пошли вы все.

Я вырвался и побежал к гардеробу.

«Ева!..» — вздрогнул я, разглядев развевающиеся волосы идущей впереди девушки. Нет, не Ева. Она и волосы теперь заплетает в тугую косу, и шаг у нее летящий, длинный, гораздо шире, чем у семенящей передо мной девицы. Ева занимала меня больше всех комсомольских вожаков с Володиными актами в придачу. Кстати, осмелится он теперь выставить свою натуру? Володю не поймешь. Говорит одно, делает другое, а думает, возможно, третье. Точь-в-точь Ева. Сейчас она меня избегает, в этом нет сомнений. Но ведь и у меня есть гордость. Она что, держит меня за половичок, о который иногда можно вытереть ноги? Даже такие ноги, как Евины, меня в этом качестве не устраивали.

Ну да кривая куда-нибудь вывезет. Я все чаще вспоминал юг. Горы в голубой дымке. Пирамидальные тополя, запорошенные пылью. Бело-розовые цветы олеандров на набережных. Приторный запах магнолии, нависающей над кофейней. Сладко-горячий кофе в маленьких чашках. Губы Тани, отдающие «Изабеллой», которую в Хадыженске называют армянским виноградом. Тоска по пляжной истоме, по стеклянному хрусту отрываемых от камней водорослей, по вечерним винопитиям у Кучинских в Белореченске, где к красному вину подавали вяленое мясо, напрочь лишала сил.

Голос Евы глухо звучал в трубке:

— Нет, сегодня нет настроения. Метель.

Голос пропадал вовсе.

Я тащился на тренировку. В пропахшем потом зале гулко шлепались о ковер тела. За ширмой бренчало расстроенное фортепиано «художниц». Тренерша гимнасток кричала, пожалуй, громче нашего Семеныча. И слез там больше, особенно у растягиваемых возле стенки малышек. На одной ноге стоит, вторую тренерша приставляет к уху. Попробуй не заплачь.

Я отрабатываю приемы. Семеныч машет рукой:

— Ни хрена из тебя не получится.

— Стараюсь, Семеныч.

— Кой черт стараться, ежли дыхалка слабая.

— Раз здоровый, значит, дурной, Семеныч.

— Это ежли у самого мозги. А студент и на мозги слабый.

Семеныч скажет, как гвоздь вобьет.

Сдать бы скорей сессию — и куда глаза глядят. В Хадыженск. Или еще дальше.

6

Сессию я сдал.

Поначалу, вообще-то, экзамены не заладились, но я давно примечал: то, что у меня туго трогается с места, заканчивается, как правило, хорошо. Первым экзаменом была история КПСС, а наш Журковский сразу же засек меня на лекции с иностранной книжкой. С той поры, вбегая в аудиторию, Дмитрий Петрович находил глазами меня и указывал перстом на стол перед собой. Очевидно, ему казалось, что перед ликом преподавателя я мог полнее насладиться результатами того или иного съезда. Мне так не казалось, и я совсем перестал ходить на его лекции.

— Явились?! — искренне удивился он, увидев меня на экзамене. — Ну-ну, посмотрим, что вы за гусь.

Во второй раз Дмитрий Петрович уже побеседовал со мной о жизни, а в третьем заходе выставил «хор».

— «Отлично» нельзя, — объяснил он, старательно расписываясь в зачетке, — на пересдачах вообще положена «троечка».

Надо сказать, импульсивный и несколько косноязычный Журковский не соответствовал образу сурового и неприступного преподавателя истории партии. И дело даже не в том, что он подпрыгивал, рассказывая о лондонском съезде большевиков, немилосердно путал даты этих самых съездов и должности вождей. Журковский был Героем Советского Союза.

— Вы думаете, почему я забываю? — выходил он из-за кафедры и приседал, как перед прыжком. — А потому, что меня ранило, вот сюда.

Он стучал пальцем по голове, точно указывая место ранения.

— Вы думаете, каждый вот так сел с пулеметом на высоте — и уже герой? Ошибаетесь. Они встают, а я очередями, две коротких, одна длинная, — он проводил рукой, как стволом пулемета, по аудитории. — Глазомер, рука, выдержка. Две коротких, одна дли-инная… И тут бац в голову! Все, потерял сознание. Меня, конечно, вытащили, дали Героя. Вот вы смеетесь, а не понимаете, что такое настоящий пулеметчик. После ранения провалы в памяти.

Сникнув, Дмитрий Петрович неохотно возвращался за кафедру, вяло ковырялся в опостылевших, чувствовалось, бумажках, опять начинал про съезд.

Все остальные экзамены я сдал на «отлично», в том числе русский язык. Иван Иванович Прокатень, преподаватель русского, долго с недоумением вглядывался в мой диктант, который он провел перед экзаменом. Ни одной ошибки, ни на этой стороне листка, ни на той. Списал? Тогда тем более были бы ошибки, «пятерка» ведь у одного меня.

— Без ошибок, — помахал Иван Иванович листком, как бы взывая о помощи.

— Ну да?!

Мы оба долго смотрели на лист с диктантом.

— Чтобы написать без ошибок, чувствовать надо, — предложил мировую Иван Иванович.

— Наверно, зрительная память хорошая, — согласился я.

— Это может быть, — обрадовался преподаватель.

У Ивана Ивановича были два железных принципа, один жизненный, второй научный.

«Как говорят, так и правильно», — гласил научный. Но совместить его с предметом, который Прокатень преподавал, было трудно. Иван Иванович принцип декларировал, но исходил все же из существующих правил и исключений русского языка. А вот жизненный принцип он соблюдал неукоснительно.

— Присаживайтесь, Иван Иванович! — приглашали его в президиум собрания, посвященного фронтовикам.

— Спасибо, при советской власти насиделся! — кланялся, наподобие Петрушки, Иван Иванович.

Сразу после войны он был репрессирован, отсидел семь лет в лагерях. Мы не знали, за что его взяли, сам Иван Иванович об этом не говорил ни слова. Но сидеть он больше не соглашался нигде и никогда. Лекцию вышагивал. Практические занятия выстаивал у доски, обсыпая себя и студентов мелом. Из президиумов, как уже говорилось, бежал.

— Может, его в одно место ранило? — предположил как-то Крокодил.

— Тебя бы самого ранить, — сощурилась Ленка, — только в другое место.

Так вот, даже Иван Иванович, сопя и встряхивая ручку, которая отказывалась писать, выставил мне «отлично».

— Как говорят, так и правильно, а вы сказали и написали правильно, — вздохнул он. — Хоть и на занятия не ходили.

— Мой тренер Семеныч говорит что-то похожее: раз здоровый, значит, дурной.

Иван Иванович не понял, но согласился.

Ева одолела сессию с двумя «удочками» и тремя «хорами».

— Куда собрался на каникулы, Витечка? — остановилась она на минутку у двери.

— В Хадыженск.

— Это где?

— В яме между голубых гор.

— А мы с Ниной в Ригу, — улыбнулась Ева. — Проветриться надо.

— Без оруженосцев?

— Мы ездим только вдвоем, — поморщилась Ева.

Действительно, оруженосцев всюду хватает, и в Риге тоже. Я посмотрел вслед Еве. Она умудрялась ходить так, что одежды, в том числе брюки, обвивали ноги, трепеща, как стяги на ветру. Длинные ноги, переходящие в спину.

— Как в море корабли? — вылез на мелководье Крокодил, высунул из воды пасть.

— Да нет, в отпуск уходим.

Крокодил задумчиво обозрел вестибюль, полный девиц, рыгнул.

— Володька свою выставку ликвидировал, — сказал он.

Я не удивился.

— Хошь, покажу нашу с Евой фотографию? — Крокодил сегодня был очень общителен.

— В другой раз.

Я давно соскучился по родителям и сестре, но с отъездом медлил. Взял было билет на сочинский поезд — и сдал. Слонялся по городу, читал в библиотеке свежие номера журналов, пил плодово-ягодное с Бойко в общаге. Этому, как я понял, ехать было некуда. Детдомовец, ни кола ни двора, сестра живет под Гомелем в малосемейке, трое детей и муж-пьяница. Обыкновенное, в общем-то, дело. На винишко Бойко заработал, ободрав напоследок товарищей, теперь отдыхал.

— Поднакоплю деньжат — и в Сочи, — мечтал он. — Там на пляжах хорошие игры бывают.

— Бьют тоже неслабо, — старался попасть ему в тон я. — Сам видел.

— Надену я черную шляпу, — не слышал Бойко, — приеду я в город Анапу, сяду на берег морской со своей неизбывной тоской…

— Друзья, купите папиросы, — подвывал я, — подходи, солдаты и матросы, подходите, пожалейте, сироту меня согрейте, посмотрите, ноги мои босы…

Дуэт получался классный.

В последний день февраля из Хадыженска пришло письмо от Тани.

«Витьк, привет, — писала она. — Давным-давно, когда уехал ты, я не могу забыть твои черты — в общем, давно хотела тебе написать. Я уже побывала на сессии. И надо сказать, сессия прошла удачно. Все сдала, правда, по музвоспитанию пришлось мне (одной, т. к. я попала в немилость у преподавательницы) петь и плясать, что я и исполнила с блеском. Группа вся ржала.

Дома у меня, т. е. у тети Тани, все хорошо. Прозор пьет каждый день алкоголь, зато сын у нас умница.

Погода у нас с дождем. Скукота смертная, кинотеатр ремонтируют третий месяц. Я уже знаю, что летом еду работать воспитателем в пионерлагерь, и, конечно, только на море. Работать пять дней, два выходных в неделю. Ну вот, в общем, и все, чем я буду занята. А то я стала как пещерный человек — отстала совсем от жизни.

Витьк, брось ты выкидывать свои крендебобели, приезжай скорей и поедем вместе. Работы хватит, не боись, рвись домой.

Дома у вас все хорошо.

Мать и батька роблют. Галька ходит закидывать ноги на танцплощадку. Знаешь, она так похорошела, но на язык стала еще злее. Сдавай экзамены и ни о чем не думай (боже, спаси от любви и женитьбы). Ни пуха ни пера!

Папа Костя договорился насчет твоей работы. Будешь в том же лагере, что и я.

Ну вот и пока. Пиши на школу. Мой адрес: шк. № 24».

На следующий день я улетел в Краснодар.

Город встретил страшным для этих мест морозом — минус двадцать. В аэропорту я узнал, что междугородные автобусы не ходят, в горах гололед. Я потолкался в зале, зашел и вышел из рейсового автобуса на автовокзал, подошел к таксистам, покуривавшим у своих тачек.

— Слабо в Хадыженск прокатиться?

— А поехали, — отозвался чернявый мужик. — За гололед пятерку накинешь.

Мы покатили к горам, еще не показавшимся на горизонте. В степи я задремал, а когда проснулся, мы на второй скорости уже крутились меж холмов.

— Три аварии, — сообщил шофер, — один грузовик вверх тормашками с моста. Хорошо, я сегодня цепи на колеса надел. Повезло тебе, парень, загорал бы в аэропорту.

— Доедем? — я безуспешно старался стряхнуть с себя оцепенение.

— Если на Кутаис всползем, там уже полегче, как-нибудь съедем. Ты, главное, не дрейфь.

И вот уже зарябили внизу домики Хадыжки, в последний раз раскрутился серпантин пустынной дороги, — я дома.

На следующий день засияло солнце, обмякли кусты и деревья, схваченные ледяной коркой, закурилась земля. В один миг зима оборотилась южной весной.

Таня вытащила меня гулять в парк, на мокрых дорожках которого не было ни души. Слепило глаза солнце, пахло набухшими почками, надрывались синицы.

— Ой, у меня там что-то расстегнулось, — прижалась ко мне Таня, — поправь…

Я сунул руку в женское тепло, столкнулся с жадными губами Тани, зажмурился.

— Ты не хочешь, чтобы мы с сыном к тебе приехали? — спросила она, сильно вздрогнув.

— Некуда, — с трудом пришел в себя я. — У меня нет своего дома.

— Не бойся, это я так, — улыбнулась Таня.

Она была старше меня на шесть лет и на двенадцать моложе своего мужа, бывшего спортсмена. А я верил в магию цифр, и шестерка, легко оборачивающаяся девяткой, была для меня черной цифрой, недоброй. Таня это чувствовала.

— Ты где был? — теребила она меня летом. — Ты почему не родился раньше?

Она выскочила замуж в восемнадцать. Девочка из глухого сибирского села поступила в техникум, попалась на глаза пану спортсмену — и все, нет больше девочки. Правда, сияющая улыбка еще при ней, зеленые глаза, точеная фигурка. Летом, когда мы ходили купаться на Пшиш, у мужиков шеи сворачивались.

— Сегодня Прозор с твоим батькой напьется, за приезд сына. Заглянешь вечером?

— А если не напьется?

— Он каждый день напивается.

— Посмотрим.

Я был отравлен Евой. Горечь этой отравы пропитала меня всего, и слова выходили горькие. Допрыгался, паренек. Тебя отравили, ты глушил отраву стаканами. На юге весна, рядом смеется молодая женщина, но ты глух и нем, как чурбан. Таня пытается исцелить тебя, разжимает языком зубы, чтобы влить в тебя снадобье, — ты отворачиваешься. Неужто пропащее твое дело, паренек?

Дома мать с тревогой поглядывает на меня. На кухне пьют батька с Прозором, чего-то решают. Приходит Таня с сыном, помогает матери готовить салаты.

— Сегодня ухожу в загул! — машет рукой Таня. — Сын, гульнем сегодня?

— Гульнем! — радуется Костик.

— Побьем дядю Витю?

— Побьем!

— Отведем папку домой, положим спать и уедем.

— Куда? — притихает Костик.

— В Минск. Или в Москву уедем.

— В Москву, — подводит черту Костик.

Хороша южная весна, с потоками света и густыми запахами, с синим небом и сизыми горами, с теплыми боками пирамидального тополя у дома, с долгими днями, наполненными бездельем. Иной раз я вскакивал поутру — и снова медленно укладывался в постель. Спешить некуда. На губах остывало ощущение поцелуя. Тетя Таня, убегая на работу, заглянула к соседям и не удержалась. Могло, конечно, присниться, но вкус губной помады вот он. Кто из нас больше ребенок? Оба дети.

Старый деревянный дом, в котором родители занимали три комнаты, высыхал, потрескивая. Греясь на солнце, я с удовольствием думал о мартовских кусливых морозах в Минске. Где-то там прятала нос в воротник шубки Ева. Она была мерзлячкой, лишний раз на холод не выскочит. Однако рижскую стылость предпочитает южному захолустью.

Я помаленьку ковырялся в огороде, после обеда шел пить пиво с чебуреками, заглядывал в спортзал техникума, где Танин Прозор гонял баскетболистов. Играли они бестолково, хотелось самому взять мяч и кое-что показать, но ведь отпуск. Прозор тоже отворачивался от мяча, вздыхал, трогая себя за живот.

— До вечера? — говорил я.

— До вечера! — оживлялся он.

Недалеко от автостанции я встретил Таню с подругой. Очаровательные молодые женщины лизали мороженое. Таня, конечно, рассказывала, подруга слушала. Увидев меня, Таня помахала рукой.

— Вот она выдаст тебе медицинскую справку для работы в лагере, — представила она подругу. — Надь, освидетельствуешь?

Врач отчего-то покраснела.

«Уеду летом в лагерь, — решил я. — Побоку сборы и соревнования, заделаюсь опять воспитателем первого отряда, и последнюю ночь с самой красивой из воспитанниц просижу до утра под пальмой».

Таня уловила мои мысли и погрозила кулаком.

— До вечера? — подмигнул я ей.

— До утра! — отрезала она.

Подруга отвернулась от нас, чтоб не смущаться.

Я пошел домой через весь Хадыженск, улегшийся между гор. Состояние мое соответствовало песенке, которую пела на вечерах художественной самоде-

ятельности Света. «Я бреду в бреду, что я не прав, вдоль по мятам, вдоль помятых трав. И опять свою подарит грусть льну калина. Льну к коленям. Пусть!»

Ахинея, конечно. Слова к песням сочинял наш поэт Толик Ковалевский, аккорды на гитаре подбирал Метлицкий Игорь, Светочка дарила песню массам. Успех, конечно, был бешеный. «По просеке березовой бежишь ты, а я тебя никак не догоню...»

Еву на просеке нельзя было представить никак. Тем более, бегущую. Коленом под зад отправить на дистанцию марафонца она способна, сама же останется ждать победителя. И хорошо бы, чтобы он рухнул у ног. Умирать не надо, но поваляться, целуя прах, попираемый ея ногами, победитель обязан. Возможно, я несправедлив, но такой мне видится Ева из южного далека.

Меня тянуло к ней сильнее прежнего.

Обратно я взял билет на поезд. Мне нравилась дорога с горных отрожий в бесконечную степь, постепенно заполняющуюся деревьями. А там уж и родной лес: березы, дубы, сосны, густой ельник и озерцо за ним.

7

В деканат меня вызывали часто, но посреди занятий никогда.

— Заходи, — встретил меня у двери в кабинет Емелин.

В кабинете я не сразу разглядел человека, расположившегося за журнальным столиком в углу. Сидел он спиной к окну, листал какие-то бумаги, на меня не смотрел.

Емелин прохромал к своему рабочему месту, сел, дунул на полированную поверхность стола, на мгновенье запотевшую, привычно сдвинул на лоб очки — и только тогда взглянул на меня. Я пожал плечами.

Емелин вздохнул, побарабанил пальцами по столу, откашлялся. Вид у него с очками на лбу был удивленно-рассерженный.

— Тебя Баркевич на беседу вызывал? — наконец спросил он.

— Вызывал, — неприятно екнуло сердце.

— О чем договорились?

— Из редколлегии вывели… — мой голос сел.

— За что вывели?

— За съезд.

— Видали, у них съезд! — фыркнул Емелин. — Ты чего там написал?

— Юмористическую повесть. Маленькую, — уточнил я размеры своего проступка.

— Что значит юмористическую?

— Смешную.

— Ага, смешную… И над кем ты там смеялся?

— Ну… над студентами. Про то, как на картошку ездили. Над собой тоже.

— Что-то я не заметил, чтоб ты там над собой смеялся. Ленивые колхозники, бабка-самогонщица, клопы. А сам-то ты в повести умный.

Литературовед Емелин — это что-то новенькое. В другой ситуации посмеялись бы с Володей. Но сейчас не до смеха.

— Ты один писал свою повесть?

— Один, — не выдал я соавторство друга, название-то Володино.

— Деревня их поит-кормит, сами, понимаешь, недавно из навоза, а колхозник у них дурак, — Емелин вскочил, неловко ступил на раненую ногу — и упал на стул, застонав.

Человек за журнальным столиком шевельнулся, сложил в стопку листы, постучал ими о стол, подравнивая, повернулся к Емелину:

— Да нет, ничего страшного. Я думаю, осознает.

Емелин, морщась, растирал ногу. Я стоял красный как рак. Только сейчас я понял, что листы в руках человека в углу — моя повесть.

Дело в том, что единственный экземпляр «Желтого одеяла» после съезда смеха пропал.

— Тебе отдали повесть? — как-то спросила Ленка.

— Кто? — удивился я.

— Ева.

— Не было у нее повести.

— Да я же ей сама… Когда вы уходили с вечера, я ей и отдала, прямо в пакете. Может, потеряла?

Ева от повести открестилась:

— Не помню я ничего. Кажется, сунула кому-то в толпе. Витечка, там же такая толпа была, и все пьяные. Вино пили, разве не помнишь?

Вино я помнил.

В общем-то, подумаешь: повесть пропала. Новую напишем. Где-то ведь был черновик, валялся в тумбочке в общаге. Да и не та вещь мое «Желтое одеяло», чтобы поднимать из-за нее крик. Неприятно, конечно. Когда крадут, всегда неприятно. И стыдно. А на Еву это похоже: сунуть кому-нибудь в руки и забыть.

Но Ленка стояла на своем:

— Я ее до лестницы провела, и папка в пакете была с ней.

— В урну выбросила?

— Спроси сам.

Губы Ленки задрожали. Она всхлипнула и ушла.

Каков же на самом деле был путь «Желтого одеяла»? Сцена в актовом зале, полумрак за кулисами, длинные коридоры, лестница. И руки. Одни руки, вторые, третьи…

Теперь повесть «Под желтым одеялом» читает дядя в темном костюме с галстуком, по-хозяйски укладывает ее в добротную папку с завязками, такой папки не было у меня сроду.

— Ну что, писатель, осознал? — наконец распрямился Емелин. — Вообще-то учится он хорошо, сессию на повышенную стипендию сдал. Спортсмен.

— Спортсмен? — оживился дядя. — Какой вид спорта?

— Вольная борьба.

— Ну-у, молодец, — кинул папку на стол дядя. — За «Буревестник» борешься?

— Да.

— С нашими динамовскими встречался? У нас хорошая школа.

— Знаю. Ваш на спартакиаде города у меня в финале выиграл. Здоровый парень.

— Ну вот видишь. Ты, оказывается, наш человек. Мастера выполнил?

— Еще нет, кандидат в мастера.

— Ладно, Василий Петрович, — обратился он к Емелину, — я думаю, наша беседа пошла на пользу. Хороший парень, борец. Как говорится, познакомиться никогда не вредно. Папку я возьму с собой.

Он встал, пожал руку Емелину и мне и вышел. Я двинулся было за ним, но замдекана поманил рукой:

— Ты понял что-нибудь или нет?

— Понял.

— Что?

— Повести писать не надо. И не проводить съезды.

— Дурак. Беречь свои повести надо. И друзей иметь настоящих. Вместе с подругами.

Емелин нашарил на столе пачку «Беломора», дунул в папиросу, закурил.

— Устал я тут с вами, — неожиданно пожаловался он. — Вчера Сорокина с четвертого курса… Это ж надо, негр ее сосок откусил!

От изумления я чуть не сел на стул:

— Чего… откусил?

— Сосок на груди. Нашла, понимаешь, негра, таскалась с ним, как кошка драная, он и откусил. Страсти ефиопской захотелось. А, Виктор, что этим бабам надо?

Я неопределенно пожал плечами. Не нам с Василием Петровичем решать, чего им надо.

— А тут ты с повестью. Соображаешь, как она туда попала? — он кивнул в окно, выходящее во двор.

— Соображаю.

— Ты сейчас не ерепенься, сиди тихо. Учись, тренируйся. Насчет друзей подумай. Твоя задача окончить университет, а не вылететь из него с треском.

Я кивнул.

В коридоре я оглянулся на соседнюю с деканатом дверь комитета комсомола и увидел, как она медленно затворилась. Что ж, секретарь и должен быть на посту.

Прозвенел звонок на перерыв. Идти в свою аудиторию мне не хотелось. Я машинально побрел к актовому залу. Вдруг дорогу мне заступила Жани, француженка, учившаяся курсом старше:

— Виктор? Я хочу с вами поговорить.

— Оч-чень рад, — опешил я.

Жани вместе с японкой Мидори были факультетскими знаменитостями. Черноглазая, подвижная, с неизменной сигаретой в руке, Жани частенько бывала героиней ресторанных историй.

— Я слышала о вашем съезде, — улыбнулась Жани. — Вы его автор?

— Один из авторов, — оглянулся я по сторонам. — Вы прекрасно говорите по-русски.

— Ну, не очень прекрасно. Вы не хотите почитать свою повесть у меня дома?

— Повесть? — покраснел я. — У меня сейчас нет повести. А как только появится — с удовольствием.

Жани изучала меня, затягиваясь сигаретой. Я не знал, куда девать руки.

— Ладно, до скорой встречи, — протянула руку без сигареты Жани.

Я неловко пожал ее. «Поцеловать надо было», — мелькнула запоздалая мысль.

Сразу же за Жани нарисовалась Ева.

— Чего это ты с француженками? — оттеснила она меня к стене.

— Пригласила в гости, — буркнул я.

— В гости? — глаза Евы стали черными. — Пойдем лучше к тебе в гости. Или ко мне прямо сейчас.

В полураскрытом рту Евы шевельнулся розовый язык, довольно острый. Голова у меня уже давно шла кругом.

— Возьми свои книги, — сунула мне в руки саквояж Ева. — Ну так что, бежим?

Я послушно повлекся за ней. По-моему, в комнате у меня сегодня полно народу, но это не имеет значения. Еве решать, куда идти и с какой целью. Что это Емелин говорил о друзьях и подругах?..

Ева прижималась ко мне теплым телом, заглядывала в глаза, подбадривала.

У гардероба меня перехватил Володя и отвел в сторону.

— Переговорить бы надо, Виктор, — зашептал он в ухо. — Подумать о смене тактики.

— Слушай, — перебил я его, — ты не знаешь, как моя повесть попала в желтый дом на Ленинском проспекте?

— А она туда попала?

— Еще как попала. Только что мне из нее один дядя цитаты зачитывал.

— Шерше ля фам, — криво ухмыльнулся Володя.

— Ленка, что ли?

— Ленка за тебя смерть примет.

Я с тоской обвел взглядом унылые стены альма-матер, народ, копошащийся подле них.

Ева, наскучив себе в зеркале, решительно направилась к двери. Мне показалось, что я долго, очень долго смотрел ей вслед.

— Если серьезно, — сказал Володя, — есть несколько вариантов. Но доказать будет трудно.

— Не надо ничего доказывать.

Я побежал за Евой через холл, подгоняемый звонком. Кажется, из-за угла выглянул Крокодил, меланхолично фиксирующий суету наземного мира.

На город надвигалась тень ранних зимних сумерек. Ева растворялась в них, как рыба, уходящая в глубину.

8

Ева вышла замуж за Крокодила на исходе пятого курса. К тому времени мы давно уж не интересовались друг другом. Мне представляется, дело обстояло так. Крокодил, прекрасный представитель своего вида, в точно выбранный момент всплыл, нежно ухватил зубами добычу, если хотите, созревший плод, и утащил ее в свое царство. Впрочем, я всегда знал, что Еве нравилась бездна, именуемая пучиной. Мой тренер Семеныч, преждевременно почивший в Бозе, со своим «раз здоровый, значит, дурной», ошибся всего однажды, но крупно.

Ева, конечно, знала, на кого ставить. Крокодил быстро стал кандидатом наук, преподавал сначала научный атеизм, затем богословские науки.

Наш комсомольский вожак Баркевич какое-то время был министром независимого государства, сейчас работает в банке.

От повести «Под желтым одеялом» сохранилось лишь несколько разрозненных страничек черновика. Если уж быть откровенным, «Желтое одеяло», конечно, не стоило выеденного яйца.

Володя после пятнадцати лет совместной жизни со Светой развелся и женился на звезде балета, говорят, суперфотомодели. Но еще через пять лет он вернулся назад. И его, конечно, приняли.

Ну а я до сих пор бреду канувшими в Лету сонными улочками Дагомыса, целую пахнущие «Изабеллой» губы тети Тани, плыву в чистой воде среди камней под Джубгой, — и смотрю, смотрю вслед уходящей Еве.

Как вышел я в мир смотреть, чтобы знать, так и иду.

Прощай, Ева.



НИКОЛАЙ НАМЕСТНИКОВ

Светопад

* * *

Ночую под телегой старой
Бог знает, на какой версте.
В такие ночи прорастают
все страхи и сомненья все.

А звезды, падая, сгорают
и оставляют млечный след...
В такие ночи умирают
и вновь рождаются на свет.

Живут, отчаянно мечтая
хоть что-то изменить в судьбе...
...В такие ночи все прощают —
другим.
            Но только не себе.

* * *

Плывет сентябрь к золотому устью.
От осени трезвеет голова.
Чем старше мы —
                    тем горше наши чувства,
но взвешенней поступки и слова.

Не оттого ли синий холод неба,
в твоей беспечной растворясь крови,
не оставляет места в ней для гнева,
а только для надежды и любви...

Дудочка

Не помню я, в какой из стран
легенда эта бытовала:
играет на дуде пацан —
выходят крысы из подвалов.

Притихший город. Страх чумы.
Господь далек, а море — близко...
Как звуки дудочки чудны!
Идут за дудочкою крысы.

Они уже на берегу.
Мальчишка их подводит к морю.
И вскоре серую орду
волна безжалостная смоет.

Поет у дудочки душа!
А крысы, навостривши уши,
стоят и в море не спешат.
Им просто хочется послушать.

* * *

Штопал свою долю — только мало толку,
лишь иголкой пальцы исколол зазря.
Говорила мама:
— Дело не в иголке.
Выбери дорогу. Отыщи себя.

Где дорога, мама? Нет такой дороги!
Я давно отрекся от пустых затей.
Дома меня встретят друг четвероногий
и ночные сводки теленовостей.

Посидишь на кухне за остывшим чаем,
предъявляя жизни запоздалый счет.
На столе портретик — дама с горностаем.
То ли Леонардо, то ли кто еще...

Все, как в анекдоте: келья и похмелье.
Часиков настенных торопливый ход.
Почитаешь на ночь — только не Коэльо.
Позвонишь любимой — только не придет.

За окошком сумрак стелется устало.
Фонари роняют свой холодный свет.
Улетают в небо серые кварталы.
Может, не кварталы. Может, просто снег.

По тому бы снегу — к новогодней елке.
По тому бы снегу — к золотой судьбе...
Говорила мама — дело не в иголке.
Говорила мама — разберись в себе.

* * *

Там, где кустарник в болотистой пустоши
возле дороги зеленою ширмою,
греет лягушка холодное пузико
в сонном пруду с золотыми кувшинками.

Выставит голову,
глазками лупает,
взглядом огни провожая нечастые.
Квакать тихонько под музыку лунную —
это не праздник ли?
это не счастье ли?

И, убаюканы маминой ласкою,
жменькою,
точно сапожные гвоздики,
рядом с лягушкой сопят головастики —
черные точки с коротеньким хвостиком.

Я до конца твою песню дослушаю.
Как тебе с ними,
непросто, наверное?
Спят, а во сне себя видят лягушками.
Да не простыми —
а только царевнами...

Брюшко с туманом сливается белое.
Ночь непонятными звуками полнится...

Ну, а она все поет колыбельную,
лапкой держась за тростиночку полую.

* * *

Когда Егорий победил дракона
и воротился в отчее село,
он твердо верил в правоту закона:
добро всегда одолевает зло.

Но потемнела, выцвела икона.
Набравшиеся опыта и сил,
повырастали внуки у дракона.

...Егорий, говорят, бездетным был.

* * *

Сколько исходил-истоптал дорог
по глухим лесам да дурным местам.
Видно, Бог меня, дурня, уберег,
а с чего, зачем — и не знаю сам...

Воду пил с горсти и покрепче пил —
пил дурман слепой, с белены росу.
Многих женщин знал, а одну — любил,
и сейчас люблю, словно крест несу.
И гореть — горел, и тонуть — тонул,
небо в клетку мог изучить сполна.
Полный воз друзей на горбу тянул —
до сих пор саднит от того ярма!
Не искал в словах здравое зерно:
говорил мудрец, что в познании — боль.
Но в игре всегда ставил на «зеро»,
потому что начало отсчета — ноль.
Мне стелила дерюгу глухая ночь,
за ошибки дней предъявляла счет...

...У меня есть сын. У меня есть дочь.
И хватает лет, чтоб зачать еще.
И хватает сил, чтоб сказать: «Держись!»
И хватает боли, чтоб стих сложить...

Я хочу зубами вцепиться в жизнь,
потому что мне интересно жить!

* * *

Эти черные липы, что старше античных колонн,
довоенных фундаментов грубо отесанный камень...
Над костелом в Дрисвятах — простуженный кашель ворон.
Занеси меня, Господи, в списки свои после *амен*.

Мне остаться бы здесь. На неделю. На год. Насовсем.
Дни, как зерна, клевать и бумагу марать понемногу.
Но кружатся с листвою хмельные мои сорок семь
и летят в темноту, светляками садясь на дорогу.

Им о чем-то негромко бормочет озерный прибой.
Звезды, точно горох, барабанят по шиферным крышам.
Так чего ж я иду за своей невозможной звездой —
ведь она с каждым годом все выше, и выше, и выше...



ЛЮДМИЛА РУБЛЕВСКАЯ

Дневник пани

Единорог

Пересыпаю минуты с ладони на ладонь. Они блестят и нежно шуршат, словно жемчужины. В полупрозрачном центре каждой — острый зрачок вечности. Может быть, это действительно всего лишь жемчужины.

Сегодня снова мимо замка проезжали *эти*. Что-то кричали, то ли звали с собой, то ли грозились. Страусовые перья покачивались на их шляпах бело-розовыми облачками, а на кожаных перчатках издалека поблескивали железные заклепки. Я никогда не обращаю внимания на тех, кто проезжает через парк. Это непристойно.

Минуты ссыпаются на бархат беззвучно. Но иногда они соскальзывают с моих колен и бьют по каменным плитам пола звонким дождем. Я не люблю дождь. Когда под моим окном гаснут последние цветы шиповника, дождь начинает идти каждый день. Сквозь его серую вуаль видны только темные очертания деревьев. Они отчаянно заламывают ветви в лохмотьях поредевшей листвы, и раскачиваются, и кланяются в вечном молении живого о жизни. Шиповник еще не отцвел.

— Пани, в вашем лесу появился белый единорог.

Человек низко склонился передо мной, и я не вижу его лица. Может, он и улыбается — этак ехидно, уголками губ, как умеют улыбаться только преданные слуги.

— Никто его пока не напугал?

— Нет, пани. Его видели только издали, возле старого вяза, по дороге к озеру. Но это точно единорог. Белый, очень красивый зверь.

— Прикажи седлать моего коня...

— Слушаюсь, пани... — И вновь я не успеваю уловить выражение его лица.

Почему-то я более представляю, какие выражения лиц должны быть у тех, кто рядом со мной, чем действительно вижу это. Особенно не люблю заглядывать в чужие глаза. Мне кажется, что те плоские чувства и мысли, которые я там могу прочитать, перейдут ко мне и прилипнут к моей беззащитной душе, так что забуду, какая я — на самом деле, где — мое ощущение, а где — чужое.

Поднимаюсь с кресла, и жемчужины ссыпаются с моих коленей на камень. Одна из них катится долго-долго, я слышу ее до тех пор, пока не выхожу из зала.

Единорог действительно возле старого вяза. Он белый, как туман. Напоминает небольшого коня с нелепо короткими ногами. Глаза у него огромные, черные и влажные, а рог над ними глядится совсем не грозно. На него налипли травинки.

Я глажу единорога по склоненной шее, и он покорно кивает головой. Деревья негромко шумят, полные жизни и листьев.

— Уходи отсюда, — тихо говорю я единорогу. — Я не могу взять тебя в свой замок. Понимаешь, там — люди. Им свойственно смотреть мимо глаз и тайком улыбаться. И тут ты не можешь остаться. Сюда рано или поздно придут *те*... И я не смогу защитить тебя. Я даже не замечу, если они тебя обидят. Это было бы непристойно. Извини.

Единорог как будто понимает меня, он неуклюже поворачивается и бежит в чащу, и я замечаю, что на деревьях уже есть первые засохшие листья — единорог отрясает их с ветвей.

Мои жемчужины, собранные чьими-то заботливыми руками, лежат в открытой шкатулке. Я не буду пересчитывать, все ли они на месте.

— Пани видела единорога?

Теперь я, кажется, успеваю уловить выражение его лица. Почему-то укоряющее.

— Пани оставила его в лесу?

Разве я должна оправдываться перед кем-то? Он понимает, что я разгневана, и с низким поклоном выходит. Но я никогда не выкажу своего гнева. Это непристойно.

Мимо замка вновь проезжали *эти*. Я сидела перед окном, минуты с сухим шелестом пересыпались с ладони на ладонь и были холодны, как кусочки льда. *Эти* проехали особенно близко, едва не задели кусты шиповника, с хохотом махали мне и куда-то звали — или просто насмехались. Конь первого из них был покрыт белой, как туман, шкурой...

А шиповник почти отцвел... Нужно сказать, чтобы из кладовой принесли зеленый ковер. Когда жемчужины падают на него, их очень тяжело отыскивать в лохматой шерсти, пропахшей столетней пылью. Зато не слышно, как разбивается о холодный камень мое время.

Ведьма

Сегодня забавлялась с солонкой работы Бенвенуто Челлини. Чудесная вещица в виде ракушки, которую обнимает маленький мальчик. Ракушка украшена крупными жемчужинами, словно брызгами морской воды. Если нажать на среднюю жемчужину, створки ракушки приоткрывают волнистые края — чуть-чуть, чтобы меж утонченными зубчиками могли просыпаться крупинки соли. Если нажать на жемчужину три раза подряд, ракушка открывается вся, и можно насыпать туда соль. Но никто за последние сто лет не насыпал соли в эту прелестную игрушку — ее просто приятно держать в руках, смотреть на нее. Неукротимый Бенвенуто всегда превосходил сам себя, когда делал такие вещи, — в подарок тем, кого крепко обидел. Вслед за каждым его грехом либо прямым злодейством возникал ювелирный шедевр, которым мастер откупался от праведного гнева. Я часто думаю, какой именно грех породил эту солонку, — ее первой обладательницей была женщина. Вряд ли это был грех любви — иначе солонкой владели бы потомки той итальянской аристократки, а не я.

— Пани, на ваш милостивый суд привели ведьму.

И снова я не успеваю уловить выражение лица человека, который обращается ко мне. Вижу только низко склоненную спину.

Ведьму привезли *эти*. Они не осмелились войти в замок, но я слышу их непристойно веселые голоса и смех под своим окном. Кто-то из них начинает даже насвистывать какую-то бродяжью песенку. Это слишком! Постараюсь разобраться с делом быстрее.

Ведьма стоит посреди зала на моем зеленом ковре. Ее босые ноги по щиколотки утопают в шерстяной пыльной траве. Ведьма сразу показалась мне подростком. Но я присмотрелась и поняла, что ошиблась. Это взрослая женщина приблизительно моих лет, только невысокая и худая. Она смотрит на меня исподлобья узкими зелеными глазами. Я ощутила, что ее взгляд направлен на мои пальцы, которые нажимают на жемчужину серебряной солонки, то открывая, то закрывая ее ракушку. Мне стало неприятно. Я поставила игрушку на столик и строго сцепила руки на коленях. Все это время кто-то едва не плачущим голосом рассказывал про злодейства маленькой женщины, что стоит передо мной. Не помню точно, кажется, местные крестьяне обвиняли ее в том, что она умела летать, вызывала ветер и дождь и выпивала чужую жизнь. Вдруг я осознала, что ведьма настойчиво заглядывает мне в глаза. Меня передернуло, словно пришлось переступить через жабу. Я молча смотрела на свои сцепленные руки и старалась думать о том, какие у меня красивые тонкие пальцы, как невероятно нежно просвечивают сквозь бледную кожу голубые жилки. Я сжала пальцы немного сильней, и жилки набухли, выступили над поверхностью кожи. Нет, кажется, это непристойно.

Я поднимаю правую руку вверх, а затем резко опускаю ее, словно хочу убить что-то мелкое. Плаксивый голос умолкает, ведьму выводят из зала. Ковер поглощает звуки шагов.

Интересно, у меня тоже узкие зеленые глаза. Я беру со столика солонку и пытаюсь в блестящей серебряной поверхности рассмотреть свое отражение. Встречаю взгляд ведьмы и снова ставлю солонку на стол. Под окном заорали *те*. Скоро топот их коней смолк. Ведьму они, конечно, забрали с собой. Но что они с ней могут сделать, веселые, злые, беспомощные, и что она захочет сделать с ними, та, что выпивает жизни?

В зале никого нет. И я еще раз повторяю свой величественный жест: рука — вверх и резко вниз, как будто в этом движении есть какой-то смысл и неизбежность.

Кто знает, может, и есть.

— Может, пани желает зажечь в зале свечи?

Действительно, уже стемнело. На столике появляется подсвечник с четырьмя желтыми свечами. Они разгоняют островок темноты вокруг меня. Медленно подношу ладонь к оранжевому, с синей полоской внутри огоньку. Больно, но я не сразу отнимаю руку. Теперь на ней долго останется поцелуй огня.

За окном тоже темно, но где-то далеко со стороны деревни видится неяркий свет, словно зажгли огромную свечу.

В каждой жемчужине солонки горит маленький желтый огонек и прячется взгляд узкого зеленого глаза.

Пожалуй, я насыплю в эту штуку соль.

Бал

Когда мое окно завешивают серой вуалью дожди, я знаю, что скоро состоится бал. Каждый год, в один и тот же день, всегда грустный и дождливый. В большой зал вносят позолоченные канделябры, чтобы свет разливался в каждый угол. Меня одевают в платье из такой плотной, упругой ткани, что, когда я сажусь, ткань сгибается с легким треском, словно ломается. Зато держишься в таком наряде необыкновенно прямо и с достоинством. Это искупает некоторые неудобства.

Гости каждый год одни и те же. Их немного, но никто ни разу не пропустил дня бала. К тому же приобщать к своему кругу новых людей непристойно.

Обязательно приедет Мадам. Мне не очень нравится ее манера обращаться ко мне, как к маленькой девочке. Она считает, что может давать мне советы, и делает это с удовольствием. К сожалению, я не могу прерывать ее и вынуждена отвечать: «Да, Мадам… Благодарю за заботу, Мадам». Хотя, если бы я имела такие толстые пальцы с короткими тупыми ногтями, выпуклые травянистые глаза и всегда безвкусно подобранный яркий туалет, я сидела бы тихонько и слушала других. Но Мадам никогда никого не слушает. Даже Доктора. Разумеется, это не простой кровопускатель. Иначе никогда не попал бы в наш круг. Он даже с виду благороден и утончен. Его губы строго поджаты, а взгляд глаз болотного цвета острый, как ланцет. Доктор говорит редко, но каждое его слово — удар золотого динария о каменный стол. Я не всегда понимаю его слова, но скорее умру, чем признаюсь в этом. Когда Доктор говорит, он никогда ни на кого не смотрит, словно считает равным себе собеседником только самого себя. Но мне кажется, что он обращается именно ко мне, что во мне он усмотрел острый неженский ум и мне когда-то передаст основы своей таинственной науки. Во что одет доктор, я даже не могу вспомнить. Он всегда в чем-то темном.

Разумеется, приедет и Кузина. Она настоящая дурочка. Обыкновенная хорошенькая идиотка с огромными изумрудными глазами и маленьким розовым ротиком. Кузина меня обожествляет. Вот уж в чьей любви не чувствую потребности. Она бы очень хотела со мной поговорить, вот только, бедняжка, не знает, о чем. Уставится на меня своими изумрудными глазами, мило улыбается, иногда произносит птичьим голоском какие-то банальности. Ее особа не интересует никого, кроме Шута и Бретера. Это я придумала им такие прозвища. Шут и Бретер — два брата. Шут, неуклюжий и курносый, преисполнен какой-то щенячьей веры в благоустроенность мира и божественность его жителей. Он страшно хочет быть всем полезным, всем поднять настроение, заглядывает каждому в глаза, без конца шутит — очень тупо, кстати, — и, кажется, от умиления крутит невидимым хвостом. Кузине он нравится, потому что его шутки ей понятны. Но хотя Шут расточает свое остроумие в основном перед Кузиной, я знаю, что его внимание направлено в иную сторону, и если бы я хоть раз улыбнулась в ответ на его усилия, он, наверное, умер бы от счастья на месте, как заблудившийся пес, которого наконец приласкала рука долгожданного хозяина.

Бретер — полная противоположность брату. Его темно-зеленые глаза всегда насмешливо сощурены, черные волосы зачесаны назад гладко-гладко, от этого лицо приобретает просто-таки разбойничье выражение. Бретер подмечает каждое некстати сказанное другим слово, в ответ на любую фразу у него заготовлена ехидная реплика. Наибольшее наслаждение для Бретера — вывести собеседника из равновесия, вызвать внезапную ненависть к своей персоне и в критический момент сделаться милым невинным простачком — а чего вы этак вдруг рассердились, господа? Единственные, кого Бретер не способен задеть, это Шут — тот просто не замечает обидного, считая, что брат по доброте душевной покровительствует ему, — и Кузина. Несмотря на весь внешний цинизм Бретера, нельзя не заметить, что он влюблен в эту дурочку, извините за каламбур, как последний дурак. Но она, как и следует особе с ее умственными способностями, ничегошеньки не замечает и боится Бретера, как злого пса.

Они съедутся в одно время, минута в минуту. Я даже знаю, какие разговоры будут вестись за длинным столом. И знаю, что кто-то обязательно

скажет полушепотом: «Господа, а вы слыхали, что *эти* снова подъезжают совсем близко…»

Разговор на минуту утихнет, а потом все начнут рассказывать, кто что слышал последнее время про *этих*. Такие разговоры неприятно волнуют меня. Это непристойно.

Разъедутся все тоже одновременно, дождь поглотит неясные силуэты их экипажей, в распахнутые окна ворвется осеннее утро и выветрит остатки неискренних улыбок, звучных слов и злобного шепота. И вдруг покажется, что никого тут и не было.

Я не знаю, для чего каждый год устраивается этот бал. Не думаю, что кому-то он приносит удовольствие. На нем не звучит музыка, не готовятся редкостные кушанья. Правду сказать, даже не помню, из чего состоит торжественное угощение. Потому что если есть стол, должно быть и угощение. Но я никогда ничего за этим столом не ем.

После бала из подсвечников достают недогоревшие свечи, старательно соскребают воск с позолоченной бронзы и пола и все это слепляют в большой восковой грязный шар, чтобы использовать для каких-то хозяйственных нужд.

Скоро будет бал.

Чума

Весь замок пропах горьким запахом трав. Их жгут в маленьких светильниках, охапками бросают в камин, подвешивают снопами под потолком. Женщины носят на груди полотняные мешочки, набитые теми же травами. Иногда вместе с травами в мешочки кладутся священные реликвии — частица мощей какого-нибудь Божьего угодника, щепочка от Креста Господнего или перышко Святого Духа. Но я замечаю, что отчаяние заставляет людей признавать совсем иные святыни, и нередко рядом с кипарисовым крестиком и мешочком с травами на груди хорошенькой девицы можно увидеть высушенную лапку лягушки или летучей мыши, или еще что-то подозрительное, темное, сморщенное, похожее на сухой гриб.

Я, кроме Святого Креста, не надеваю ничего, даже украшений. Во время мора это непристойно.

Обычно чума приходит летом, когда от болот поднимаются ядовитые испарения, или осенью, когда холодные дожди превращают землю в сплошную грязную кашу. Теперь зима. Люди говорят, очень плохо, если чума приходит этой порой. Значит, она такая сильная, что не боится самых лютых морозов.

Наверное, очень тяжело умирать под скулеж вьюги, в душной избе, а потом кому-то приходится долбить каменную промерзлую землю, чтобы спрятать в ней твое окоченевшее тело, и не хватит у него силы на доброе слово о невовремя умершем.

Хотя во время чумы люди возвращаются к языческим обычаям, стаскивают своих покойников в кучу и сжигают. Я вижу в окно далекий дым от этих чудовищных костров.

Я не боюсь чумы. Я хорошо знаю ее. Она не злая, только очень голодная. Тяжело кого-то винить за то, что он утоляет свой голод. Человек, который растоптал муравейник, виноват намного больше. Если бы чума имела такую жажду разрушения и немилосердность, как человек, она давно уничтожила бы последнего представителя рода людского.

Но чума всегда заканчивается. И опустевшие города и села вновь наполняются веселыми и сварливыми голосами.

Хорошо уже то, что во время чумы никогда не приезжают *эти*. Вряд ли они боятся. Должно быть, им просто делается тут скучно.

Время от времени со стороны деревни долетает жалобный звук колоколов. Им отзывается торжественным басом колокол нашего замкового храма. От его голоса мелко дрожат хрустальные бокалы и звенит положенный на край тарелки нож.

Я осеняю себя знаком креста. Две женщины, что стоят за моей спиной, делают то же самое. Потом одна из них подходит к камину и сыплет в огонь пригоршни трав. Едкий запах растекается по комнате. Колокол все бьет, где-то ему вторит колокол на деревенской звоннице, и не слышно ни людского голоса, ни плача.

Со стола убирают посуду, и я остаюсь одна. В моих пальцах — сухой цветок. Он упал из снопа, подвешенного под потолком. Наверное, когда-то его лепестки были синие. Сейчас они бледные, как выцветшая бумага, только на самых кончиках сохранилась линялая синь. Цветок легкий и твердый. Я сжимаю его в пальцах, но он почему-то не крошится. Только ломается пополам тонкий стебель. Я чувствую, что уколола пальцы, и бросаю цветок на пол. Мертвое всегда враждебно живому. Даже если это цветок. Неужели люди думают, что убитые ими растения станут спасать своих убийц?

Колокола стихают. Слышен голос вьюги. Он то вздымается до неприятного воя, то почти стихает, словно кто-то ходит под окнами замка и не решается постучать. Но утихло. Снежное мельтешение осело на землю, и черный бархат неба пронзили острые зрачки звезд. Это хорошо, что звезды глядят на землю. Пускай их взгляд холоден до боли, это все-таки глаза ангелов. И я знаю, что скоро чума утолит свой голод и уснет. На какое-то, не тут определенное, время. Закричат на лесных дорогах дикие охотники, и из-под копыт их коней будут вздыматься снежные фонтаны. Странствующие музыканты снова будут проситься в замок — повеселить пани и отогреться, отъесться после зимней дороги (к сожалению, лучшие из них зимой не странствуют — им охотно дают пристанище до весны в любом замке, помня про долгую череду темных вечеров, к которым так подходят старинные баллады).

Травы догорают в камине, их колкие стебли корчатся и изгибаются в огне. Завтра прикажу достать шкатулку с моими любимыми жемчужинами.

Крестины

Если в канун дня моего рождения в деревне рождается девочка, меня просят быть крестной матерью. Я не должна отказываться. Таков обычай.

Крещение происходит в замковом храме. Я прихожу туда в белом платье с большим кружевным воротом, который подымается за моими плечами подобно накрахмаленным крыльям. Мне дают держать небольшой полотняный сверток, в котором можно разглядеть только крохотное красное подобие лица. Я держу на руках человеческое дитя и как могу желаю ему в мыслях счастья, прошу у Господа, чтобы наделил он это свое создание способностью радоваться красоте мира, умением видеть и смелостью защищать эту красоту.

Девочка будет носить имя моей святой заступницы. В качестве подарка я надеваю на крестницу ожерелье из жемчужин. Вряд ли я увижу более это дитя. Оно вырастет и переживет не один мор, и не одна дикая охота сорвет с деревенской девчонки венок. И весь свой век будет эта девочка, потом

женщина, запасать полотна и ожерелья, слова любви и завистливые взгляды соседок и никогда не запасет вдоволь. И когда-нибудь завернет дрожащими руками свое новорожденное дитя в береженый белейший повойник и решит, что лучше пригласить крестной матерью не пани, а соседку, у которой никогда не подыхают свиньи. Будет больше удачи. И потемнеют мои жемчужины вместе с десятком серебряных монет в глиняном горшке, закопанном под восточным углом избы.

Я передаю окрещенное дитя на руки матери. Что я могу изменить? Только добавить еще одну нить жемчуга.

За окном серое весеннее небо. Шиповник тянет к нему оголенные ветви, словно просит скорее зажечь на них розовые огни, скорее освободить их из черно-белого мертвого мира. Колокол на замковой башне бьет один раз. Я беру из черной шкатулки жемчужину и аккуратно нанизываю на навощенную шелковую нитку. Вчера эти пригоршни жемчужин просверлили по моему приказу. Разумеется, снизать их в ожерелье могли бы и служанки, но я всегда делаю это сама.

Колокол бьет еще раз. Сегодня день моего рождения. Ничего не произойдет. Все знают, что я не праздную этот день. Я, признаться, боюсь его. Смешно, но я даже не смотрюсь в этот день в зеркало.

Зеркала только прикидываются, что покорно подражают нашему миру. На самом деле за холодной твердой оболочкой находится нечто иное, куда большее тонкого слоя амальгамы. Не стоит лишний раз позволять тому заглядывать сюда.

Жемчужное ожерелье увеличивается. Вот оно уже скручивается петлями на моих коленях. Не знаю, станет ли это ожерелье подарком.

Нитка заканчивается. Я беру ее начало, соединяю с концом и завязываю в крепкий узел. Теперь эти жемчужины никогда не ударят звонким градом по каменному полу. Хотя — кто знает? Их соединяет всего только навощенная нить.

В шкатулке остались еще жемчужины. Я зачерпываю их, пересыпаю с ладони на ладонь. Но — просверленные — они молчаливы и тусклы, каждая словно с пятном тайного греха, лишена чистоты и внутреннего покоя.

Ссыпаю жемчужины обратно в шкатулку, туда же кладу только что снизанное ожерелье и закрываю тяжелую крышку. Теперь шкатулка на столике. Как маленький гроб. Отворачиваюсь от окна. Снова крики *этих*. Они подъезжают к самым кустам шиповника, что-то кричат. Да, действительно, зовут с собой. Интересно, что было бы, если б я однажды вышла к ним. Возможно, они просто отъехали бы от меня, молчаливые и растерянные.

Но я никогда не выйду к *этим*. Непристойно.

Сегодня не будет крестин. Не будет белого платья с высоким кружевным воротом. Жемчужины останутся похороненными в шкатулке.

Крики стихли. Слышно только, как в вечернем сумраке с ветвей падают крупные капли. Словно ходят на звонких каблучках маленькие человечки.

В такие минуты мне кажется, что мой настоящий день рождения еще не настал.

Но я и не знаю, стоит ли мне рождаться.

Перевод с белорусского автора.



ИВАН ПЕХТЕРЕВ

Песня на ладони

* * *

Во ржи молодой у проселка
Под белой огромной луной
Немолчно поет перепелка,
Поет за деревней родной.

Спит поле — и кажется, если
Протянешь ладонь в эту сонь,
То птичья старинная песня
Присядет легко на ладонь.

И я песне ласковой этой,
Как в детстве моем, подсвищу
И вспомню далекие лета,
И сердцем взахлеб погрущу.

…И вспомнил я все — то, что было
И что невозвратно ушло,
Ведь любит душа, как любила, —
И ей негасимо светло.

* * *

Пусть крест покосившийся знаком беды
Считает кликуша, поддавшись унынью,
И что, мол, от горькой упавшей звезды
Поля наши горе заглушит полынью, —
Не может стать символом горести крест.
Смотри: поднимаются храмы по краю.
Смотри: зеленеются нивы окрест,
А значит — высокому быть урожаю.
Прислушайся! Слышишь теперь — там и тут
Звенят колокольни стоустые? Это
Они на просторе широком поют
Всё вынесшей Родине многие лета.

* * *

К тебе стремятся волны в пене
Зеленые, как изумруд,
А прибегут и на мгновенье
Перед тобою вдруг замрут.
И падают, о берег бьются
На сотни бриллиантов-брызг,
А ты стоишь. Глаза смеются:
Всё исполняет твой каприз.
И столько власти в синем взоре
И столько радости в душе:
Тебе целует ноги море,
Как раб послушный госпоже.
Благоговея и робея,
Сам ощущаю эту власть
И подойти хочу к тебе я
И, как прибой, к ногам припасть.

Бересклет

Необратимо вянет лето,
Хотя покуда дни ясны,
В лесу ж на ветках бересклета
Сережки пламенно красны.

Они — как будто из рубина,
Сердечки дивной красоты.
Я помню, что носить любила
Похожие когда-то ты.

Тогда летам не гнулись плечи,
Обнять хотелось весь бел-свет.
Напомнил мне о первой встрече
Цветущий этот бересклет.

Твои сережки из рубина
Как будто вижу наяву.
Давно ушла ты, разлюбила,
А я той памятью живу.

И потому на склоне лета
В лесу, где уж веселья нет,
Брожу: тут сердцу столько света
Дарит в сережках бересклет.

Ночь на сеновале

Тучи над спящей деревней низки,
Ночь, как в распутье, сырая,
Ночью такою не видно ни зги,
Словно в закуте сарая.

На сеновале ж одна благодать
Думать про милые очи,
Думать про юность и сладко вздыхать,
Слушая музыку ночи.

К ясному утру поют петухи,
Падают капли стозвонно,
В теплом гнезде под крылом у стрехи
Ласточка цвенькнула сонно.

Ей до отлета еще далеко:
В самой красе еще лето.
Кончился дождик. На сердце легко —
Это от лунного света.

На сеновал заглянул его луч
В щелку с улыбкой привета,
Небо и сердце свободно от туч,
Щелкнул соловушка где-то.

Поэзия

Поэзия главней из всех искусств:
В ней неземное образа ваянье
И живописи радуги искус,
И музыки волшебное звучанье.
В ней сладкое томленье, что в крови,
И все на свете тайны ей открыты,
Нет без нее признания в любви
И нету слов спасительной молитвы.



ВАСИЛИЙ ШАБАЛТАС

Два рассказа

Десятка…

Когда Иван Фомич Пронин вылез из такси, до отхода поезда оставалось еще два часа. Он оглядел площадь перед вокзалом. В глаза бросилась неоновая вывеска кафе. «Встреча», — прочитал он и, подумав, что лучшего места для ожидания поезда ему не найти, двинулся в сторону кафе.

Зал оказался переполненным, но Ивану Фомичу удалось отыскать свободное местечко за столом, где сидел в одиночестве, выставив вперед ногу-деревяшку, пожилой толстогубый человек с обросшим рыжеватой щетиной лицом.

«Не сильно приятно», — подумал Иван Фомич, но выбора у него не было, и он подсел к инвалиду, который, как он и думал, немедленно пустился в разговор, назвался Лаповым, сообщил, что работает кочегаром в котельной, что жизнь у него не сложилась, что его бросила жена, а все потому, что заработал он деревянную ногу, и заработал ее по вине…

Он говорил, а Пронин занимался ужином, цедил пиво и старался не слушать Лапова, пропускал несложившуюся жизнь его мимо себя; не слушал, но глядел на толстые шевелящиеся губы, которые ему что-то напоминали, но что именно, Иван Фомич вспомнил не сразу, а только тогда, когда рассказ собеседника приобрел вдруг зримую конкретность. Лапов вдруг заговорил о том, как он вернулся из армии и стал работать шофером, женился на красивой девушке. Был он, Лапов, тогда в самом расцвете сил, ходил легко и пружинисто, мечтал обзавестись домиком, иметь детей. И жизнь удавалась ему. Зарабатывал он много и «левыми» рейсами не баловался. Его портрет на Доске почета висел, и счастлив он был молодым задорным счастьем, пока не сорвалось все, не покатилось вместе с машиной под откос.

Ехал как-то Лапов ясным июньским днем с работы лесной дорогой. Где-то близко куковала кукушка, ветки деревьев помахивали ему вслед зелеными платочками листьев. Хорошо было на душе, радостно. Он думал о предстоящей встрече с Верочкой, на которой собирался жениться, о своих домашних делах. Да только не получилось этой встречи. Из-за поворота вдруг вылетел шустрый газик, вылетел как-то по-глупому, в нарушение всех правил. И некогда было думать Лапову, он успел только свернуть с дороги и лишь на миг увидеть перекошенное от страха лицо водителя газика. А дальше — туман, забытье.

«Мое лицо», — подумал Иван Фомич. Подумал так потому, что жил он в тот год в том самом городе и ездил на газике, и по той дороге ехал, и случай у него тогда вышел точь-в-точь как в рассказе Лапова. И Пронин вдруг до мельчайших подробностей припомнил аварию на дороге в жаркий июньский день, которая отгорожена была от него стеной восьмилетней давности. Собственно, он никогда и не забывал ее. Просто всеми силами старался изгнать из памяти своей, но она упрямо жгла и жгла все изнутри. И догадался Иван Фомич, что это совесть его мучает, что рассудок и совесть у человека всегда

враждуют между собой, и не откупишься, не закроешься от нее никакой броней. И как бы ни был подл человек, а совесть при нем — как страж, как блюститель законности. Она часто сдерживает его и цепко хватает за руку. А если и совершил втайне подлость человек, она одна над ним судья и палач его. И не так уж часто удается человеку поладить с нею. Не договорился с совестью своей за восемь лет и Иван Фомич.

...Выскочил тогда Пронин из кабины, подбежал к опрокинутой машине. Врезавшись передней частью в землю, автомобиль лежал вверх колесами, и колеса его еще вертелись. Пронин обежал вокруг и увидел шофера. Одна рука его была подвернута под себя, другая — откинута в сторону. Безжизненно откинута, как у мертвеца. Он нагнулся над водителем, хотел было поднять и оттянуть в сторону, но только тут увидел, что левая нога его где-то на середине голени зажата подножкой кабины, ребром вдавлена в мягкую болотистую почву. Заглянув в лицо шофера, Пронин увидел закрытые глаза и синие толстые губы. Лицо было измазано кровью. Она сочилась теплыми струйками из свежих ранок на лице, стекала по подбородку и носу на испачканную грязью траву.

Лоб Пронина покрылся испариной. «Все, погиб, окончательно погиб», — прошептал он бескровными губами. Не об умирающем водителе были его первые мысли, а о себе, о своей судьбе и дальнейшей жизни. Глядя на картину, сотворенную его водительской бесшабашностью, Пронин в первые секунды хотел убежать подальше от этого страшного места. Но вдруг перед его глазами зримо всплыли здание суда, строгие судьи и стриженая голова Павла Анохина, шофера из их «Сельхозтехники», которому полгода назад «вкатили» восемь лет. Водители в тот день, когда судили Павла, окончили работу пораньше и всей шоферской братией явились в суд. Зал судебных заседаний был переполнен. Пронин в душе матерился, протискиваясь сквозь плотную, собравшуюся у двери толпу. Он узнавал в лицо пенсионеров, которые от нечего делать постоянно посещают судебные заседания. Эти завсегдатаи любят смаковать чужое горе.

Судья, маленький, с выбритым до синевы одутловатым лицом, сидел посередине за столом и, глядя на Анохина усталыми глазами, задавал ему вопросы:

— Как же вы могли оставить человека без помощи? Ну, столкнулись, случилась беда, зачем же убегать? Если бы вы вовремя помогли человеку, он остался бы жить. Вы это понимали?..

Павел Анохин стоял к залу спиной. Его стриженая голова то низко опускалась, то поднималась опять. Он, видно, что-то говорил, а что — Пронину не было слышно. Да и что говорить, когда кругом виноватым оказался!

Все водители парка знали тогда каждую деталь этого происшествия, случившееся ЧП обсуждалось в «Сельхозтехнике» месяца два. И главное, парень-то был не тюха какой-нибудь, а опытный, со стажем водитель. Балагур, весельчак, цветаст на слова. Анекдоты травил до слезовыделения. А когда жизнь его на человечность испытала — не выдержал, убежал, как последний негодяй. И случай-то ерундовый вышел: ехал Павлик по трассе, прикуривая, отпустил баранку, а тут камешек под колесо, и грузовик прямо на встречную машину. Ему-то ничего, а шофер встречной свернул и в кювете оказался. И — насмерть. А он, Анохин, как последний трус, тягу дал.

Анохина тогда осуждали все. И он, Пронин, тоже осуждал. За трусость, за то, что человека в беде оставил.

И вот он сам в такой ситуации. Какой-то миг Пронин стоял в немом оцепенении. Потом решил: была не была, буду действовать по правилам. Судьбу не объедешь. Первым делом он попробовал отыскать лопату, чтобы как-то отко-

пать зажатую ногу и унести шофера подальше от машины. В том, что водитель жив, Пронин не сомневался: когда он поднимал его, шофер слабо застонал, пошевелился. Значит, надо в первую очередь освободить придавленную ногу. А для этого нужна лопата. Брать свою Пронин не хотел по той причине, что боялся запачкать, потом это станет лишней уликой против него. А он все еще надеялся выйти сухим из воды. Для этого, конечно, надо бы бежать. Но он решил сделать это после того, когда окажет пострадавшему помощь.

Но лопаты не было. Только невдалеке, отброшенный, валялся старый, с зазубринами, топор. Пронин схватил его и начал остервенело вырубать землю из-под ноги водителя. Сидя на коленях, рвал землю — где топором, где руками, испуганно поглядывая на лицо стонущего шофера, на его окровавленную штанину. И все шептал при этом:

— Потерпи, малыш, потерпи!

Работая так, он вдруг замирал в самом неожиданном положении. Замирал, как охотничья собака, которая, обнаружив дичь, делала стойку. Не шевелясь, прислушивался: не слышно ли шума идущего мимо автомобиля? Он боялся, и потому каждый посторонний звук заставлял его замирать. И только убедившись, что опасности нет, снова принимался за дело. И вдруг он услышал какое-то слабое потрескивание. Сначала не придал этому никакого значения и продолжал работу. Но когда явственно донесся запах гари, он повернул в сторону машины покрытое потом лицо и сразу сообразил: горят провода! Из-под капота упругими струйками высверливался вонючий дымок. На секунду мелькнула мысль об огнетушителе, но где его теперь найдешь? Пока будешь бегать, искать...

А потрескивание становилось все более явственным, угрожающим. Отбросив заботу о ноге шофера, Пронин с силой вдавил в землю капот автомашины, надеясь просунуть под него руку, добраться до аккумулятора и сорвать провода с клемм. Но попытка ни к чему не привела: смятая верхняя часть кабины почти сравнялась с капотом, который одной своей стороной был так же плотно вдавлен в землю, как и вся кабина. Поняв, что из его затеи ничего не получится, Пронин с еще большим ожесточением принялся откапывать шофера. Горящие провода, потрескивая, подстегивали его, заставляли спешить...

Пока с ужасом поглядывал на танцевавшие под капотом язычки пламени, он вдруг ощутил знакомый каждому водителю запах бензина. «Этого еще не хватало!» — подумал Пронин и посмотрел в сторону топливного бака. И увидел, как сквозь полуоткрытую пробку на землю тонкой струйкой стекает бензин. Черная торфянистая земля, с которой бортом машины был срезан верхний слой травы, словно кожа с волосами с головы человека, уже обильно напиталась этим бензином, и светлая жидкость, образовав лужицу, стала расползаться по сторонам.

«Не успею», — мелькнула в голове страшная мысль. На какой-то миг он снова хотел оставить свою затею — откопать ногу — и укатить подальше от этого кошмара. Куда-нибудь в лесную глушь, опомниться, привести себя в надлежащий вид и явиться на автобазу как ни в чем не бывало. Но шофер вдруг застонал, заскрежетал зубами глухо, жалобно. Этот стон вывел Пронина из оцепенения. Он, тупо посмотрев на растекающуюся лужицу, снова нагнулся над человеком, перевернул все еще бессознательного водителя лицом вверх, взял его под мышки и с силой дернул на себя, надеясь, что нога теперь освободится из-под подножки. Так оно и вышло.

Когда Пронин освободил ногу, то обрадовался, как ребенок. Приподняв водителя, он быстро оттянул его на безопасное расстояние, взвалил себе на плечи и, не оглядываясь, понес к своей машине. Осторожно перевалив без-

жизненное тело через борт, опустил на пол кузова и, ловко заскочив в кабину, нажал стартер. Машина дернулась, рванулась с места.

Уже сидя в кабине, Пронин попытался взять себя в руки, даже посмотрел в зеркало. Увидев, что лицо перепачкано грязью, достал из-под сиденья тряпку почище и на ходу стал вытирать ею нос, щеки, губы. «А то встренется какая-нибудь попутная и от вида моего тоже в кювет махнет», — подумал он, даже найдя силы пошутить над самим собой.

Но встречных не было. Прошло не больше пяти минут с того момента, как он двинулся в путь. Но они показались Пронину целой вечностью. Знал он, что такими вещами, как потеря сознания, шутить нельзя; надо спешить, надо очень спешить, иначе с шофером будет плохо.

Ловко объезжая ямы и лужи, которыми изобиловала дорога, Пронин нашел подходящее место и нырнул в густой дубняк. Выскочив из машины, приподнял сиденье, достал из-под него фанерный ящичек, в котором находилась аптечка, и проворно перемахнул через борт, присел в кузове машины перед раненым, смазал йодом его распухшую ногу. Обрабатывая рану, подумал, что из-за ноги он сознание потерять не мог, что, должно быть, где-то имеется повреждение более серьезное. Стал искать рану на груди, животе. Но там, кроме мелких ссадин и синяков, ничего не обнаружил.

Рука Пронина коснулась перепачканных кровью волос шофера, и он без труда нащупал на голове водителя огромную шишку с рваной раной и решил, что именно из-за нее тот потерял сознание. Залив и эту рану йодом, он взял в руки нашатырный спирт, открыл пузырек и хотел было поднести его к носу водителя. Но вдруг сработало чувство самосохранения. Он представил, как шофер откроет глаза, увидит его, Пронина, и тогда, считай, ему крышка. От мысли, как это он, не подумав, хотел воскресить шофера нашатырем, Пронина бросило в пот. Зажав в руке бутылочку со спиртом, он отошел в угол кузова, словно боясь, что водитель услышит запах на расстоянии и очнется, и положил спирт в аптечку вместе с другими вынутыми медикаментами. Укладывая все на место, следил за тем, чтобы в аптечку не попало что-нибудь окровавленное. «Надо будет бинты положить в аптечку, не заезжая в гараж», — подумал Пронин и спрыгнул на землю, снова сел за руль. «Ничего, малыш, ничего. Только ты прости меня, что так вышло... И ты бы на моем месте... Что, я хотел тебе беды, что ли? Ну, а коль случилось, надо делать так, чтоб нам обоим было хорошо. Ты еще поправишься, ничего серьезного у тебя нет, только, должно быть, сотрясение мозга. Но там, в больнице, эскулапы тебе этот мозг вправят», — так думал Пронин, ловко объезжая заросшие травой ямы глухой лесной дороги.

До трассы, по его подсчетам, было километра три, не больше. И все лесом. Дорога стала хуже, попадалось много луж и ям, наполненных водой. Ночью прошел дождь, и лужи стояли в первозданной нетронутости своей, вода в них, словно в тарелках, была свежей и слегка парила. Пронин аккуратно объезжал их, с тревогой посматривая сквозь заднее стекло в кузов машины. Ему почему-то казалось, что в горячке пострадавший может подскочить, перемахнуть через борт и разбиться насмерть. Со страхом гадал, что там, внутри у него, повреждено, почему он так долго не приходит в сознание.

Подрулив к трассе, остановился метрах в ста от нее. Было два часа дня. Солнце неяркое, приглушенное летним зноем, то ныряло за тучи, то выскакивало из-за них, чтобы через минуту снова скрыться за легким облачком.

Трасса жила своей жизнью. По ней на высокой скорости со свистом проносились юркие легковые автомобили, натужно ревя и распространяя запах выхлопных газов, пролетали тяжело груженные автомобили. На этом участке к трассе с обеих сторон плотной стеной подступал густой смешанный лес.

Пронин, сухой, жилистый, легкий на ногу, проворно выскочил из кабины, побежал в сторону дороги и, без труда преодолев крутой подъем, поднялся на асфальтированное полотно. Стал, посмотрел в оба конца дороги. Вдалеке все увеличивающимися точками показались два грузовика. Став за сосну, он выждал, пока машины пронеслись мимо, обдав его тугой волной рассекаемого воздуха. И сразу же, как только они проскочили, Пронин побежал к своей машине.

«Пока трасса чистая — надо успеть», — лихорадочно думал он, открывая задний борт. Раненый лежал на спине точно в такой позе, в которой его оставил Пронин. Только сейчас, чуть приоткрыв глаза, он тупо усавился в одну точку и тихо стонал.

— Ну, как тебе? — со страхом в голосе спросил Пронин, ожидая, что пострадавший окончательно очнется и заговорит.

Но шофер никак не отреагировал на его слова, он по-прежнему глухо стонал. Пронин, осторожно подтянув водителя к краю кузова, взял его на руки и трусцой понес к полотну дороги легкое, вялое тело. Пока нес, со страхом поглядывал раненому в лицо: а вдруг откроет глаза! Что тогда? Мурашки пробегали от этих мыслей по телу Пронина. Ведь пока все шло хорошо, словно по сценарию. «Тогда хоть бросай его и тикай куда глаза глядят», — с ужасом подумал он. Но этого не случилось. Должно быть, раненому опять стало хуже, потому что он с силой дернулся. Пронина даже в сторону повело, и он чуть было не завалился в попавшуюся на пути яму. Кое-как удержав раненого, он с трудом взобрался на трассу и, воровски оглядываясь по сторонам, опустил шофера на землю. Сначала хотел положить его на середину полотна, но передумал: «Еще задавят, архаровцы», — и потому подвинул тело к обочине, на зеленый ковер травы.

Оглянувшись — не видел ли кто? — он трусцой побежал вниз, в густой кустарник. Добежав до машины, вскочил в кабину, нажал на стартер. Со скрежетом врубив скорость, проехал немного назад и, подминая густую поросль кустов, нырнул в молодой осинник, ловко вырулив между двумя невысокими деревцами. Отъехал метров на пятьдесят от дороги, остановился, надеясь, что теперь машина хорошо замаскирована со всех сторон. Заглушив мотор, побежал к трассе, так как услышал нарастающий шум автомобиля. Пробираясь сквозь разросшийся осинник, спешил поскорее добраться до полотна. Вздрогнул, отпрянул назад, когда из-под ног его с криком поднялась какая-то птица. Увидел просвет дороги и, притаившись за густой елкой, повернул голову в ту сторону, откуда приближался все нарастающий рев автомобиля. Вдруг этот рев стал спадать. Пронин понял: шофер, заметив на дороге человека, сбросил газ. Когда заскрежетали тормоза, Пронин увидел огромный остов КамАЗа. Из него неуклюже вывалился толстяк лет сорока в трикотажной, синего цвета рубахе. Широкая во всю голову лысина, вид интеллигентный. Как-то даже не верилось, чтобы такой вот чистюля был водителем этого большого автомобиля. Он сначала всем корпусом устремился к человеку, лежащему на обочине. Но не дойдя до него метров десяти, вдруг остановился и замер, словно его притянуло к дороге магнитом. Удивленно оглядев лежащего, лысый с заметным страхом в глазах посмотрел сначала в одну сторону дороги, потом в другую. И только тут сорвался с места, словно за ним гнались, и побежал к своему урчащему автомобилю. Хлопнув дверкой, нажал на газ — и был таков.

«Скотина, мать твою... — выругался в душе Пронин. — И как таких земля носит!»

Потом подъехал автобус. Из салона выскочили люди, бережно взяли потерпевшего и отнесли в салон.

Успокоенный тем, что раненый попал в надежные руки, Пронин вытер пот со лба и начал пробираться к своей машине.

Закрывая кузов, Пронин увидел на полу свежее кровавое пятно. Подстегнутый страхом, он быстро сел за руль и, выехав на дорогу, двинулся в обратную от трассы сторону. Подрулив к какому-то ручью, остановился. Снял ведро, набрал в него воды и долго вытирал кровь веником. Когда убедился, что пятно исчезло, вытер тряпкой насухо мокрое место, присыпал его песком так, что оно совсем не отличалось от остальной вымытой площади. И только после этого стал обрабатывать свою одежду.

Вычистив брюки, тенниску, Пронин совсем успокоился. И уже не думал так мрачно о своей загубленной судьбе. Тюремная решетка, которая первоначально мельтешила перед глазами, отплыла куда-то вдаль. Но полностью из виду не исчезла. «Главное теперь — уметь держать себя в руках перед товарищами. А то этот телепат Малыгин может по лицу определить». Да, Малыгина, такого же шофера, как и он, Пронин побаивался не на шутку. Были случаи, когда этот Малыгин угадывал по выражению лица о том, что он, Пронин, поругался с невестой или с ним произошла еще какая-нибудь неприятность. Пристанет с вопросом «Скажи, что с тобой?» — и не отцепится.

Думая так, он еще раз придирчиво оглядел себя и пришел к выводу: все в порядке. Вторично осматривая машину, обнаружил, что на протекторах видны повреждения. И ямки эти очень заметные, по ним легко можно определить причастность пронинского автомобиля к происшествию. «Так эти выемки оставлять нельзя, их надо видоизменить», — решил Пронин и, взяв отвертку, принялся за дело. Он раздолбил эти выхваченные участки до больших размеров, изменил их форму. Потом, вытирая свежие следы выдолба на протекторах черной землей, подумал: «Нет, лучше заеду куда-нибудь в грязь, побуксую». Он так и сделал.

Убедившись, что вокруг все в порядке, посмотрел на себя еще раз в зеркало и, сев за руль, включил зажигание. Через час после аварии он снова был похож на того самого Пронина, который возил со станции удобрение в колхоз «Маяк».

Мысль о случившемся он отгонял от себя, стараясь думать о другом. Сделал Пронин еще один рейс и как ни в чем не бывало вернулся в гараж «Сельхозтехники». Вечером даже в кино сходил.

Но на душе у него было тревожно и паскудно. А через два дня и вовсе из гаража убежал. Сочинил сам себе телеграмму, будто брат вызывает его в Минск, потому как там место хорошее нашел ему, отвез эту телеграмму в другой, недалекий от их города районный центр и отправил ее на свое имя. Назавтра носился с ней по кабинетам начальников. И его не держали: «Валяй, если срочно». Только мать, ничего не соображая, смотрела на его приготовления и тихо вытирала набегавшие слезы. Он у нее был один, отец от них сбежал давно, и потому страшно было старухе оставаться одной. Он, единственный сын, был ее надеждой и опорой во всем, она надеялась, что скоро будет нянчить внука, и вот на тебе... И еще одного не понимала мать: как же это он, собираясь жениться на Ирочке, вдруг ни с того ни с сего уезжает из дома?..

— Сыночек, а если Ирочка заявится, что сказать-то ей?

— Я с ней договорился, — соврал он матери, а сам подумал: «Заберу ее годика через два. Если, конечно, все будет в ажуре. А ежели что... свобода дороже всякой любви».

Хотя мысль о том, что красивую Ирочку сразу подхватят и что она, такая милая и желанная, достанется кому-то другому, больно жгла сознание, тормозила его заранее обдуманные и строго рассчитанные действия.

Уехал он не в Минск, а в Ленинград. Но перед отъездом вызнал: шофер, загнанный им в кювет, лежит в больнице. И потянуло Пронина взглянуть на него. На живого, в сознании. На того, полумертвого, он нагляделся. Потянуло так сильно, что Пронин не выдержал, купил на базаре цветов и подался в больницу. Как он надеялся передать эти цветочки, не знал. Просто решил соврать что-нибудь. Но тут трудность вышла: фамилию шофера не узнал Пронин, когда какого-то таксиста осторожно о происшествии расспрашивал. Опасался узнавать: вдруг заподозрят.

И в больницу пришел, не зная фамилии. И тут, в больнице, с новой силой на него страх напал, потому он попросил нянечку цветочки передать по назначению, соврал что-то и убежал от греха подальше, от тюрьмы убежал, которая теперь снилась ему постоянно.

...А Лапов очнулся уже без ноги. Увидел цветочки, решил, что Верочка их принесла. Но Верочка отказалась — нет, не она. Потом и вовсе с Верочкой все пошло наперекосяк. Не могла Верочка рядом с безногим существовать. Гордость ее не вынесла этого. А он попивать начал. Так вот и не сложилась жизнь, не склеилась: ушла Верочка, и остался Лапов один...

* * *

— Ну выпьем, что ли? — сказал он Ивану Фомичу. — Никогда я не прощу этой мрази, которая меня в кювет загнала.

— Что ж так? — осторожно спросил Пронин. — От случая ведь никто не застрахован.

— Если б он меня сразу в больницу, — ногу б я не потерял, — буркнул Лапов.

— Боялся, страшно человеку стало, — сказал Иван Фомич. Сказал и сразу же осекся, так как Лапов поднял на него уставшие от постоянного пития глаза и выразил удивление. Ивана Фомича даже в жар бросило от этого тяжелого взгляда. Потом, когда Лапов снова опустил взлохмаченную голову, Пронин с облегчением вздохнул, подумал: «Тут надо осторожно, а то запросто в кювет сыграть можно».

И замолчал, решив не вступать больше с Лаповым в разговор. Да и что он мог сказать? Он тогда убежал далеко, устроился работать на стройку, потом техникум окончил, в прорабы вышел. Полюбил другую, даже красивее Ирочки, которую он начисто забыл и к которой теперь никаких чувств не питал. Женился, квартиру в самом центре города получил. И думал иногда о превратностях судьбы человеческой, о том, что вот оно, чужое несчастье, помогло ему свою дорогу в жизни найти. Нехорошо думал, но так оно было, и никуда от этого не деться. Да и устроен был так Иван Фомич, что по-другому думать не мог.

Смотрел он на Лапова, на его шевелящиеся синие губы, на всего толстого и неуклюжего, и не верил, что перед ним тот самый легкий шоферишко, которого он таскал по лесу. «Благодари Бога, что провозился с тобой, а то бы имени твоего уже на земле не осталось. А так еще колдыбаешь, водку пьешь», — снова нехорошо подумал про инвалида Иван Фомич.

А Лапов пил водку и еще что-то рассказывал, шевеля припухшими губами, и дергался на стуле, качал деревянной ногой, ругался и опять пил...

Иван Фомич тоже пил, изредка поглядывая на часы, которые словно остановились в тот момент, когда он вошел в кафе под названием «Встреча». Он думал, что название у кафе неправильное, потому что не получилось у него встречи, — он убежал от нее во второй раз. О том, что могло бы случиться,

если бы эта встреча состоялась, Иван Фомич думать не хотел. Боялся. И в последний момент, когда он собрался уходить, в нем опять, как тогда в лесу, заговорили, зашевелились остатки совести.

«Что бы такое приятное сделать этому инвалиду? — стал соображать Пронин. Ему хотелось полностью откупиться от Лапова, чтоб совесть больше не мучила его ночами. Чтоб не всплывал впредь шофер-инвалид в памяти, не ложилась его беда тяжелым грузом на душу и не давила во сне. — Бутылку ему поставить, что ли?.. Но он и так уже хорошо... Нет, денег ему надо оставить и уйти», — размышлял он, глядя куда-то вдаль, мимо Лапова.

И когда Лапов, склонив голову, уснул за столом, Иван Фомич незаметно для окружающих сунул ему в карман измятого пиджака десятку. Сунул и с опаской, вобрав в плечи голову, быстро вышел из кафе...

Разборка

Бабка Матрена сидела у кровати больного старика, смотрела на его восковое лицо с закрытыми глазами и нет-нет да и вытирала уголком платка слезящиеся глаза. Губы ее при этом то и дело кривились в жалостливом изломе. От невозможности чем-нибудь помочь больному мужу, стараясь выведать его самочувствие, она спрашивала:

— Охрем?

— А-а.

— Не лучше тебе?

— Не-е-е.

— Может, еще раз Павлыча позвать?

— Так он же вчерась вечерком приходил, зачем лишний раз человека тревожить. Думаешь, если врач, так и бог?

— Все-таки, учился же.

Бабка воспрянула духом: вон сколько слов старик сразу выговорил. Вчера вечером что ни спроси — не отвечал. Всю ночь сидела над ним, думала, помрет. Не помер, слава Богу.

— Может, тебе лекарства какого дать?

— Дай.

— Какого?

— От старости. — Старик помолчал и вспылил: — Дура! Мне восемьдесят два, отжил свое, а она — лекарство.

— А ты шибко-то не лайся, — обиделась старуха. — Лежит, еле дышит, а все лаяться ему, словно псу, хочется. Тоже мне…

— Говори, говори, что замолчала.

— И скажу, чтоб хоть в конце жизни не обзывался. Ежели б по-другому жил, то и не помер бы так рано. А то вишь, как тебя скрутило.

— А как это — по-другому?

— А как Федос Фалеев, ему 96, а он и не думает помирать, вчерась отаву еще ходил косить.

Старик открыл глаза, повернул голову к Матрене, грозно на нее посмотрел.

— Чево, не понравилось? Потерпи. Знаю, ежели б при здоровье был, драться бы полез. Тебе раньше слово поперек не скажи, сразу кулаки в ход пускал. — Бабка Матрена сложила трубочкой морщинистые губы, похлопала веками подслеповатых глаз, продолжала: — А Федос свою Параску хоть раз пальцем тронул? Нетути, даже ни разу косо на нее не посмотрел, не то чтобы обидеть. А добрые люди — они завсегда долго живут. А ежели в человеке зла,

как в уборной дерьма, где ж тут долго жить будешь с таким паскудным грузом в душе. А ты, Охрем, обижайся не обижайся, а злым был, завистливым. Вот эта злость тебя прежде времени к земле и пригнула.

Старуха и сама не понимала, зачем такое говорит, когда человеку плохо. Может, оттого, что в ней проснулась застарелая обида на мужа, непрощенная вина перед нею, и она решила хоть под конец жизни облегчить себя правдой о нем. Она даже на время забыла, что он больной, что одной ногой стоит в могиле — так велико было желание выговориться. Благо, драться, как в былые времена, старик не бросится, лежит, только глазами хлопает.

Слушая бабку, старик уставился глазами в потолок, и нельзя было понять: то ли он прислушивается к непонятной незнакомой боли в иссохшей груди, то ли к словам старухи.

— А сколько, Охрем, ты мне душу учернил своими бабами! Одна Тэкля, лярва, у тебя лет на десять здоровья отобрала. Сколько ты с ней крутился! И чего ты, Охрем, в ней хорошего нашел? Может, с золотыми бережками у нее была? А? Небось, такая, как и у всех, может, у нее даже хуже, потому как у нее, словно селедок в бочке, перебывало.

— С золотыми, не с золотыми, а все же... — не удержался от соблазна прокомментировать дед. В прищуренных глазах его мелькнуло и пропало молодое озорное выражение.

— Ишь ты, охальник! В гроб ложиться, а он опять за свое, — зло окрысилась бабка. — Так тебе, кобелине, и надо. Бегай, бегай, думаю, пихай свое здоровье в чужую ж...у, все это когда-нибудь тебе отрыгнется. И отрыгнулось! Тебя вот в дугу согнуло, опять же Тэклю твою тоже скрутило, сидит теперече на скамейке с палочкой и только по улице безумными глазами зыркает. Отгуляли свое, отгрешили, а теперь перед Богом ответ держать придется. Небось страшно, а? Паскудники!

Бака разошлась не на шутку, она даже лицом слегка порозовела. Но вдруг она опомнилась, посмотрела на исхудалое, испещренное черными с волосинками точками лицо деда, решила, что хватит. Шмыгнула носом и дала задний ход:

— Ты, эта, прости, что я так, надо ж было хоть раз тебе то, что в груди запеклось, высказать. А то так и уйдешь, не знамши.

Посидела, подумала в безысходной отрешенности. И снова:

— Ох, Охрем, Охрем. — Она глубоко вздохнула, сложила на переднике старые морщинистые руки. — Не слушался ты меня, больно гордым был. Взять хотя бы этот гроб. Сколько раз говорила: изделай, не тебе, так мне сгодится, не послушался. Дескать, ежели изделать, так раньше времени окочуримся. А теперь вот не изделал, а помираешь. А как с тобой быть, если и взаправду вытянешься? Дружки твои все померли, молодые из деревни сбежали, кто возьмется-то гроб смастерить? А в городе его не докупишься, сказывают, мильён, а то и больше стоит. На пенсию мою не купишь. Раньше хорошо было — снял с книжки, похоронил по-людски. Так съели книжку Ельцины проклятые, чтоб им пусто было.

— Сережа приедет, если его поучить, сумеет гроб смастерить, — поддавшись озабоченности старухи, подсказал муж. Это он о сыне.

— Сережка твой гвоздь в стенку забить не может, какой уж тут гроб. Учительствует, а мастерить не может, — возразила бабка.

Старуха задумчиво помолчала и опять за свое:

— Вот Зернов Юра, он заранее о себе побеспокоился. Гроб дубовый у него на чердаке, памятник с фотографией, опять же, костюм черный в шкафу. Уйти из жизни тоже надобно прилично, чтоб не было людских пересудов.

Старуха посмотрела на вытянувшееся под байковым одеялом тело старика, и ей вдруг так стало жалко его, что уголки припухлых от старости губ поползли вниз, плотнее сжались.

— Охрем, а может, все же пересилишь хворь, а? Ты, эта, напрягись и одолей ее, проклятую, как-нибудь. Оклеманисся, изделаешь гроб, крест, заготовишь все как полагается, а тада... Опять же, самогоночки выдавишь, угостить-то людей потребуется, люди же не понимают, что вокруг дорого все, им вынь да положь. У нас же как, что беда, что радость — все под самогонку проклятую пропускать требуется.

— А я разве против? Кому охота в яму прежде времени ложиться? — со слабой надеждой в голосе ответил старик. Он вынул из-под одеяла руку, сухую, желтую, и, преодолевая слабость, потер ею, холодной, лицо. — Охохох! — выдохнул. — Ты это, подай мне то лекарство, что на окне в баночке, две таблетки дай зараз, авось полегчает.

Бабка принесла таблетки, кружку с водой, помогла мужу сесть, сунула в рот лекарство, поднесла к иссохшим, окаймленным седой щетиной губам кружку с водой. Проглотил дед лекарство, лег.

— Поправляйся, а я пойду по хозяйству.

Бабка вышла во двор, а там солнечное сейво, хоть и холодное, осеннее, а все же хорошо. Воробьи в кроне березы, что росла во дворе, что-то щебечут, радуются. А тут смертью в доме пахнет. «Эх, жизнь проклятая, как же паскудно ты устроена», — подумала старуха, села на лавочку и начала фасоль лущить. Сидела так, работала, а потом подняла голову, задумалась. Затем поднялась со скамейки, непослушными ногами потопала к крыльцу. Пока шла, на лице ее поигрывала едва уловимая усмешка. Она то появлялась, то исчезала в уголках приспущенных губ. Войдя в дом, направилась в горницу, где лежал старик. Пригляделась. Спит. Нагнулась над ним, прислушалась — дышит. Медленно, тихо, но дышит.

— Хух! — неожиданно вскрикнул старик, да так, что бабка присела.

— Испужалась, думала, сдох? — спросил, довольный.

— У-у-у, окаянный, все ему шутки шутить, — обрадованно сказала старуха. — Полегчало небось?

Дед промолчал.

— Я, Охрем, чего надумалась, вроде как исповедаться перед тобой хочу. Вернее, при тебе перед Господом Богом. — Она посмотрела в сторону висевшей в углу иконы, перекрестилась. — Твои грехи я все знаю, а я, хоть и честно жила, а разок и меня бес попутал.

Старик от таких слов бабки насторожился.

— Господи, прости меня за все мои мелкие прегрешения, — неожиданно став перед иконой, начала молиться бабка. — А также прости меня за то, что в бытность молодою я несколько раз с Иваном Ходуном жила. А делала это в отместку моему хозяину, который блудливо с многими незамужними вдовами связь имел, а меня ганьбил всячески и нехорошими словами обзывал. — Глядя на лик святого Миколы, бабка хитро косила глаза на деда. Перед тем как молиться, она на всякий случай открыла дверь на кухню. Услышав такое признание, дед открыл глаза во всю ширь, повернул голову в сторону бабки, она в это время тоже на него посмотрела, взгляды их перехлестнулись.

— Иван Ходун шибко ласковым был, приголубил меня, приворожил, и я, Господи, не удержалась, — говорила распевно старуха.

И вдруг какая-то неведомая сила подбросила деда с кровати, высушенный болезнью, он в одно мгновение стал на пол. Старуха юркой мышкой нырнула за дверь, потом во двор.

— Курва ходуновская! — послышался вслед бабке грозный окрик старика. — Я тя, лярва, приголублю и приласкаю. Кочергой. Святоша, перед Богом оправдаться решила, нашла момент подходящий, чтоб тебя...

Вскоре в проеме двери появился, опираясь на кочергу, старик. Он был злым и страшным в гневе своем.

— Иди сюда, я тебя приголублю этой штукой! — сверкая горящими черными глазами и стуча об пол кочергой, хрипел старик. — Призналась-таки, гулящая!

— Чего ерепенисся-то, помереть и то спокойно не можешь, — улыбаясь беззубым ртом и на всякий случай держась на расстоянии, говорила бабка. — Не понравилось, ежели я с кем-то, а как сам, то ишшо два года назад Ленку Воронкову щупал. Слышь, Охрем, а как ты с ней? Теперь же молодые по-простому не любят, теперь все как-то с кандибобером. И не стыдно в семьдесят лет шашни с молодухой крутить! И как она тебя, старого, терпела?

— Я мужик, мне и Бог велел, — сбавил гнев старик. — А вот ты как могла?

— А у меня ничего с Ходуновым и не было. Он, покойничек, хотел меня шибко, да не такого я заквасу, как ты, охальник, за каждой юбкой готов был бежать.

— А чего ж, едрена за ногу, перед Богом комедию ломала?

— А чтоб тебя, дурака старого, с постели поднять, прости меня Господи. Ишь, улегся, помирать собрался. Ты изначально все как надо быть приготовь, а тада и помирай. Времена-то теперь каковские? Страшные времена, теперь кажын человек об смерти своей сам должен побеспокоиться. Тепереча, чтоб схоронить человека, надобны ужас какие деньги, а где их взять? Ты вот дурака не валяй, — напролом шла старуха, — а подкрепись маленько и начинай. Доски-то есть, в сарае лежат, пересохли небось.

Окончательно поняв, что старуха над ним пошутила, начал старик потухать, словно убавляться в объеме, будто бы из него, как из надутого шара, воздух постепенно уходил. Вошел в хату, за ним — бабка. Присел за стол.

— Сто граммов налей, может, поем чего.

Налила. Выпил, крякнул, как в старые добрые времена, даже хлеб к носу поднес. Стал закусывать белыми, теплыми, в масле блинчиками, что давеча попросил бабку испечь. Съел один, второй. На худом, обтянутом коричневой кожей лице выступил пот.

— Это хорошо, что в пот тебя бросило. Поправишься, — прокомментировала бабка.

— Пойду полежу маленько. Устал что-то.

Дошел до кровати, лег.

А к утру скончался.



КАЗИМИР КАМЕЙША

У подножия синь-горы

* * *

Как иду на исповедь я к Богу,
Не прошу, чтоб Бог мне в чем помог.
Что могу я сам?
Совсем немного.
Не сберег родимого порога,
Не сберег и дядю от острога,
И от смерти дочь не уберег.

Вот и самого теченье сносит,
Не барахтаюсь, тяну за трех!
Не люблю того, кто что-то просит,
Сам-то никому он не помог.

Жеребенок

Огневой, хоть мал и тонок,
А такой бунтарской силы,
Жар-жеребчик, жеребенок.
Он взлетел бы — да бескрылый!

Весь ершистый,
непослушный.
Веет грива огневая.
— Кося-кося! —
у конюшни
Слух его народ ласкает.

Он копытцем выбивает
Искры,
как лугами скачет.
А как гриву развевает!
Да любой цыган заплачет!

А вокруг все глазом косят:
«Ах, и быстрый, ах, и ловкий!»
…Что ж, когда сказали «кося»,
Будут скоро и оглобли!

* * *

Подросла моя береза,
Но осталась, как была.
От морозного наркоза
Понемногу отошла.

Ну а белая какая,
Как дочуркина щека!
Огоньки весны сжимает
В почках, словно в кулачках.

И пред миром пробужденным,
Только пальцы разогнет, —
Буйным пламенем зеленым
На полнеба полыхнет.

Будут птицы удивленно
Над березою летать,
Под ее зеленой кроной
Звонко песни щебетать.

В этом ласковом покое,
От волнений вдалеке,
Прикоснусь к коре щекою,
Как к дочуркиной щеке.

Ну а что там, под корою.
В темноте живой ствола?
Забродило вековое,
Что в земле самой нашла.

Удивляйся, пей, счастливый,
Сок, что солодит весна.
Это сверху только — диво,
Сущность — там, где глубина!

Загадка травы

Утомленность. Неба синева.
Тишина ко сну природу клонит.
Самая безмолвная трава
Вырастает, видел я, на склоне.

Тишина без края и конца,
Тишина без времени и даты.
Самого безмолвного косца
Видел я на Нарочи когда-то.

Тень слепая шла под косогор,
Тишина сама вползала в уши.

Я хотел начать с ним разговор,
Ну а он траву упрямо слушал.

Пробовал и чарочку налить —
Все опять окончилось отказом…
Я хотел его развеселить,
Ну а он грустил с травою разом.

Он молчал. Он был молчаньем сам.
Лишь коса звенела под рукою.
Он молчаньем столько мне сказал,
Что словами не сказать такое.

Как она умирала…

Когда она умирала,
На окнах заря догорала.
Вещунья залетная птица
Три раза в стекло постучала.
Никто не взглянул на синицу,
Глядели куда гляделось,
На ларь у стены, на кадушку,
На рамку с поблекшим фото…
А чаще всего под подушку:
Старуха там прятала что-то —
Как бы куда не делось.
Стояла родня,
                    ожидала,
Чтоб ринуться после к кровати.
И холодно взгляды блуждали
По темной от времени хате.
…Нашли
              узелок тот секретный.
Медаль в нем была, не монеты.
За бой у деревни давний
Был муж удостоен медали.

Круговорот

Летят мгновенья. Как же быстро, Боже!
Ты сам невольно замедляешь шаг.
Уж столько лет — кино одно и то же,
Одни и те же кадры мельтешат.

Все вновь привычно повторит природа —
И давний сон, и солнечный потоп,
И время повторяется, и мода,
И даже то, что не идет в повтор.

Весна леса от снега избавляет,
Спешат ручьи во всей своей красе.
Экраны горизонтов так сияют!..
Чтоб их схватить — не хватит жизни всей.

Но время все ж дает тебе терпенье —
Бродить по кругу, мучиться, страдать,
И за одно короткое мгновенье
Весь долгий век свой ты готов отдать.

Отдать свой век… Ведь все круговороты
Спешат до тех единственных ворот,
Где в луч один сужаются широты
Лишь для размаха нового широт.

Праздник зимы

Опалила снега калина,
И горят тем огнем снегири.
Свет, и правда, сошелся клином
У подножия синь-горы.

Счастье лишь тебе.
Мне ж утеха.
День мой мчит легко, как рысак.
Не до снега мне,
Не до смеха.
До чего мне, не знаю сам.

Ну а синь-гора — лишь полоска,
Где калиной горит горизонт.
И ветра по щекам полощут,
И поет смычком полозок.

Солнца лишь на улыбку хватает,
А шумит молодая пора,
И снежинкой тебя вращает,
И кружит, и уносит гора.

Ты бежишь по самому краю,
Исчезаешь за склоном горы.
Лишь тревожно в снегу догорают
Рукавичек твоих снегири.

Перевод с белорусского Геннадия Авласенко.



ВЛАДИМИР ЖИЛКА

Душа — кувшинка

* * *

Душа моя тоскливая —
Кувшинка средь болот.
Взрастала, молчаливая,
Средь топи сонных вод.

Ей снится небо синее,
Где солнце и весна,
И песней соловьиною
Отравлена она.

И что-то ей занятное
Родная шепчет тишь,
И песню непонятную
Шумит-поет камыш.

Вокруг же тина ржавая,
И мутная вода,
И чьи-то вздохи жадные,
И ужас, и беда.

И чары звезд несмелые
С ночных плывут высот…
Но их не слышит белая
Кувшинка средь болот.

Ветер

Ветер ворвался к нам с улицы,
Пыль средь двора крутанул.
«Верь, что желание сбудется», —
На ухо тихо шепнул.

Быстрый и смелый в решениях,
Ловко шмыгнул под забор
И мимолетным движением
Перелетел через двор.

После на поле отправился:
Ржи беспокойство принес,
С ней поиграл, позабавился,
Перескочил на овес.

И, замерев на мгновение,
В дальний направился лес.
Но, испугавшись, наверное,
Съежился вдруг и исчез.

Пентаметры

Кубки полнее, друзья!
Яблони цвет осыпают,
Гибнет весны красота — розово-белый убор.
Дети вздыхают по нем,
но мудрого мысль неизменна:
Там, где осыпался цвет,
к осени выспеет плод.
Кубки полнее, друзья!
Время назначено каждому действу:
Молодость прочь улетит.
Зрелость на смену придет!

Перевод с белорусского Геннадия Авласенко.

Максим Богданович

Сонет

Так завидно: носить венок поэта
И называться именем Максим.
Любить свой край с его бытьем глухим,
Наполнив песней юности рассветы;

В обычном черпать дивные сюжеты
И возвышать его стихом своим,
И видеть, что народом ты любим,
И васильковым вдохновляться цветом.

Да тем больней в краю чужом всегда
Навек угаснуть, зная, что сюда
Не долетит кукушки голос летом

И не покличет песнями страда,
И ощущать, что, может быть, и в этом
Трагическая скрыта красота.

В эмиграции

И те же дни уже не те же,
И я, потрепанный, не тот.
Лишь ветер в сумраке кромешном
Пустую улицу метет.

Там за окном глухая осень
И полночь — что мне делать с ней?
Я сам себя уже забросил,
В судьбе запутавшись своей.

Вся жизнь обрывками, кусками…
Куда идти? Пути пусты.
Холодный снег засыпал память
И к радости замел следы.

Как будто кто-то проживает
Мои украденные дни.
Беспечный смех, мечта живая
И песни — где теперь они?

От страхов смертного удела.
Что не стихали ни на миг,
Душа до срока поседела
И стала дряхлой, как старик.

Приют мой тесен, как могила, —
Я к одиночеству привык.
Гляжу на белый свет постылый
Сквозь щели досок гробовых.

Там давит ночь, как тяжкий камень,
Но тяжелей всего тоска.
А месяц льет холодный пламень
Сквозь штормовые облака.

Мне по ночам Отчизна снится…
Там жизнь и песни о весне,
Там созиданья ток струится,
Там, может, место есть и мне?

Да только ж там нужны другие,
В ком буйной молодости прок —
Не мой пробитый ностальгией
Пустопорожний черепок.

Я стал убог и малодушен,
Стыдясь судьбы своей кривой,
И над вещами в комнатушке
Дрожу неведомо чего.

Как будто им известно тоже,
Чем я терзаюсь и грешу,
Какие страхи сердце гложут,
Какие думы я ношу.

И даже месяц равнодушный
Смеется рогом за окном:
— Ты никому уже не нужен,
Один в изгнании своем!

Перевод с белорусского Андрея Тявловского.

«Цитировать произведения Джавида я могу часами»

На вопросы главного редактора журнала «Нёман» Алеся Бадака отвечает Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Республике Беларусь г-н Али Теймур оглы Нагиев.



— Господин Посол! В последнее время отношения между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь развиваются очень динамично по самым разным направлениям. Какие достижения в этом плане в области политики, экономики и культуры, на Ваш взгляд, можно назвать самыми значимыми?

— Действительно, темп, который взяли наши страны в плане развития отношений, как бы мы критично ни подходили к определенным показателям, достоин уважения. Межгосударственные отношения, как правило, характеризуются определенными экономическими показателями, и хотя я сам математик, не всегда могу согласиться, что сухие статистические данные раскрывают полную и реальную картину. И все же, говоря на языке цифр, могу сказать, что за последние пять лет товарооборот между Азербайджаном и Беларусью вырос более чем в 6 раз. Безусловно, здесь сыграл роль тот факт, что именно на протяжении этого времени в обеих странах действуют посольства — они были открыты практически одновременно. И все же, не умаляя роли дипломатов, я объясняю такую динамику глубокой и искренней дружбой между президентами наших стран.

Еще одним показателем тесных связей служит и тот факт, что за такой непродолжительный период времени, как четыре года, наши президенты четырежды нанесли официальные визиты друг другу: дважды Александр Григорьевич в Баку и столько же — Ильхам Алиевич в Минск. В результате нынешние политические отношения между нашими странами достигли уровня стратегического партнерства. Во время этих встреч президенты не раз заявляли, что между Азербайджаном и Беларусью нет неразрешенных вопросов. Более того, г-н Лукашенко не так давно выразил убежденность, что Беларусь нашла друга в лице Азербайджана на Востоке, а Азербайджан — друга в лице Беларуси в центре Европы. Это очень теплые слова, особенно когда они звучат на столь высоком уровне.

Меня как Посла радует и то, что с каждым годом крепнут наши культурные связи. За последние годы более 10 раз только на одной из главных сцен Беларуси, на сцене Белгосфилармонии, была представлена как народная, так и высокая классическая азербайджанская музыка. Я счастлив, что у белорусского зрителя есть возмож-

ность знакомиться с азербайджанским искусством и на театральных подмостках, и в рамках кинофестивалей. Надеюсь, что и впредь мы будем активно сотрудничать в этом направлении, обогащая наши древние и славные культурные традиции.

— Особо хотелось бы поговорить о наших культурных взаимосвязях. Значение их трудно переоценить. Ведь это то, что помогает нам лучше понять друг друга, что делает нас ближе в духовном плане. В ХХ веке в переводе на белорусский язык в нашей стране выходило немало произведений азербайджанских писателей. В частности, издавались книги Мирзы Ибрагимова, Абульгасана, Сулеймана Велиева… Неподражаемый голос Муслима Магомаева и сегодня звучит в сердцах многочисленных поклонников его творчества в Беларуси. Фильмы, снятые по сценариям Рустама Ибрагимбекова, находятся в коллекциях сотен тысяч белорусских киноманов…

— Вы очень уместно сказали: нет более правильного способа представить друг другу народы, чем познакомить их с культурными ценностями каждого их них. Только что было сказано, что столь динамичное всестороннее развитие отношений между Азербайджаном и Беларусью во многом обязано воле наших президентов. Если есть эта тонкая незримая связь между народом и его лидером, если в одном направлении устремлены их взгляды, тогда и положительный результат очевиден. Чтобы не быть голословным в своих суждениях, я сошлюсь на Цезаря и Вольтера, которые считали: «Каждый народ достоин своего правителя» и «Каждый властвует над себе подобными». И здесь к месту придется вопрос: а кто мы такие? Какие мы вообще? Не только для самих себя, но для всего мирового сообщества. И тут мы обращаемся к истинным ценностям — культурному наследию… Только оно и ничто другое позволяет нам носить гордое имя Народа — высокоразвитого и цивилизованного.

Я горжусь тем, что я азербайджанец, потому что за моими плечами одна из древнейших, богатейших культур человечества. Скажите, какой народ в мире не хотел бы иметь нашего Низами, который создал пять фундаментальных академических поэм 800 лет назад; Насими (14 в.), Физули (16 в.), Мирза-Фатали (19 в.), Джавида (20 в.), Сабира (20 в.), Узеира Гаджибекова (20 в.) и еще многих и многих других? Именно эти великие люди прославили ценности моего народа, благодаря чему они сохраняются и приумножаются по сей день. Богатое культурное наследие есть и в Беларуси, и о нем с гордостью можно заявлять во всем мире. Так почему же, представляя народы, мы должны скрывать такие ценности, но говорить о товарооборотах, количестве поставленных тракторов. Все это — преходящие показатели: сегодня торговля идет с этой страной, завтра же, может быть, выгоднее будет работать с другой… А вот культурные ценности, однажды попав в сердца, я убежден, задержатся в них надолго. Сегодня, когда я слушаю Моцарта, Бетховена, читаю Конфуция, Достоевского, я не задумываюсь о том, в какой стране родились эти люди. Своим гением они преодолели национальный барьер и стали достоянием всего человечества, всего мира. К такому духовному единству и нужно стремиться. Именно поэтому я всегда говорю: надо ценить интеллигенцию, беречь ее, ибо она является движущей силой народа. Именно интеллигенция берет на себя ответственность проносить сквозь поколения созданное веками наследие. Понимание всего этого, на мой взгляд, и есть настоящая дружба народов.

— Вместе с тем, азербайджанскую культуру последних десятилетий мы, к сожалению, знаем не так хорошо, как этого хотелось бы. Несомненно, современная культура Азербайджана заслуживает отдельной беседы, поэтому, если позволите, я хотел бы узнать о Ваших предпочтениях в той области современной азербайджанской культуры, которая Вам наиболее близка.

— Для меня лично близка та современность, которая сохраняет свое национальное лицо. То есть, когда смотришь, слушаешь, читаешь — сразу ловишь себя на мысли: это, к примеру, азербайджанское, а это — белорусское. Вот что для меня особенно важно. Я не принимаю и не вижу никакой ценности в том искусстве, уро-

вень которого зависит от того, какой исполнитель больше разденется на сцене. Мне близки те творческие искания, которые сохраняют свое достоинство, а такого, к сожалению, сегодня не так много.

Конечно, Муслим Магомаев — шедевр. Он принадлежит не только нам, но всему миру, и мы гордимся тем, что он сын азербайджанского народа. Гордимся и Рустамом Ибрагимбековым — единственным азербайджанским кинорежиссером-лауреатом престижной кинопремии «Оскар».

Я должен признать, что в связи с коварной экспансией западных эстрадных жанров наша современная культура медленно приближается к пропасти. Все сейчас в погоне за «шоу» — яркой оберткой, под которой пустота. Наблюдать все это особенно больно, когда знаешь, какое богатейшее наследие остается в тени и будто бы игнорируется новым поколением. Как можно прославлять азербайджанскую музыку, отворачиваясь от ее истоков, которые насчитывают (только представьте!) более чем полуторатысячелетнюю историю, причем, национальный колорит ашугского искусства не только сохранился, он выразился еще ярче в наши дни. Более ста лет назад Узеир Гаджибеков создал первую на всем мусульманском Востоке оперу на основе легендарной восточной музыки — азербайджанского мугама, Рашид Бейбутов почти до конца XX века своим редким даром эстрадного исполнения покорял весь мир, — а ведь и он в своем творчестве постоянно обращался к национальному искусству. У нас были истинные гении поэзии, симфонической музыки, которые прославили в свое время Азербайджан. Тем более, что, слава Богу, есть пока у кого учиться: это и Ариф Меликов, и Фархад Бадалбейли, и сестры Касымовы…

— В этом номере журнала «Нёман» мы печатаем произведения замечательного азербайджанского поэта и драматурга Гусейна Джавида. Несколько его книг хранятся в Национальной библиотеке Республики Беларусь, но, как мне кажется, для многих читателей нашего журнала это имя станет открытием. В Азербайджане же, насколько мне известно, к памяти Джавида, человека, чья судьба была очень трагической, относятся с особым уважением…

— Я искренне рад, что Вы говорите со мной о Джавиде. Вы знаете, если бы этот великий поэт-драматург принадлежал не Азербайджану, а, скажем, французскому, английскому, немецкому народам, слава о нем гремела бы по всему миру, и сегодня бы его прославляли не меньше, чем Шекспира, Гете или Гюго… К сожалению, азербайджанский народ по многим причинам (не будем открывать сегодня эту полемику) не смог достойно представить Гусейна Джавида на мировом уровне.

Гусейн Джавид — не только поэт, не только драматург… Он — философ! Я бы о нем сказал так: это выдающийся мыслитель Востока, сумевший за свою трагическую жизнь поднять тяжелейший пласт духовного богатства мудрого Востока. Гусейн Джавид в своем творчестве раскрывает такие проблемы, которые тяготят не только мусульманский мир, но и все человечество. Он будто сносит ограду, что стоит на пути нашего развития.

Я всегда считал, что долг и обязанность литературы — видеть, находить, анализировать выход из какого-то критического положения, с которым мириться больше нельзя. Так вот, Джавид один из немногих, кто добивается решения подобных задач. Одну из таких проблем он раскрывает в произведениях «Шейх-Санан», «Иблис», «Пророк». Бог посылает на Землю пророков, чтобы возродить в человеческом обществе духовные ценности, не допустить нравственного падения, дать цивилизацию. Если это так (а это действительно так), то почему же на этой чистой основе идет нелепая вражда, проливается кровь между народами, принадлежащими разным конфессиям? Джавид находит ответ на этот вопрос. Все дело в Любви. Без любви не бывает отца и матери, без любви не бывает мужа и жены, брата и сестры… Надо всего лишь любить — искренно, жертвенно, бескорыстно… Ведь и Тора, и Библия, и Коран говорят: «Возлюби ближнего своего…» В этом золотом правиле нравственности вся суть творчества Джавида.

— Я так понимаю, Гусейн Джавид один из Ваших самых любимых поэтов. Кстати, я слышал, Вы были хорошо знакомы с его дочерью…

— Это действительно так. Я вообще люблю поэзию. Это мое хобби, как и музыка. В таких случаях я всегда вспоминаю слова Достоевского: «Учитесь и читайте. Читайте книги серьезные. Жизнь сделает остальное». Это значит, читать нужно таких, как Низами, Хафиз, Гете, Пушкин, Толстой и, конечно, Джавид… Вы знаете, мне настолько близок этот автор, настолько синхронно мы с ним мыслим, что я могу не только часами анализировать его творчество, но столько же и цитировать его.

В 2003 году при моем содействии в Баку был опубликован 3-томник поэта. В презентации издания участвовала и его дочь — Туран-ханым. Она была счастлива, потому что весь смысл ее жизни заключался в одном — любви к гению ее отца. Мы с ней были очень духовно близки, она всегда это чувствовала.

— Я надеюсь, благодаря «Нёману» многим поклонникам прекрасной словесности не только в Беларуси, но и за ее пределами, поскольку наш журнал читают и в других странах мира, захочется еще ближе познакомиться с творчеством Гусейна Джавида. В заключение нашей беседы — что бы Вы хотели пожелать читателям «Нёмана»?

— Во-первых, большое спасибо Вам, что так предметно и содержательно рассмотрели культурные отношения между Азербайджаном и Беларусью. И с Вашего позволения, я хотел бы еще немного добавить. Уже более двух лет мы с народным артистом Беларуси Борисом Ивановичем Луценко лелеем надежду поставить на сцене Русского драматического театра им. М. Горького пьесу по творчеству Джавида. За это время Борис Иванович изучил все переведенные на русский язык его произведения — и он в восторге! Я очень надеюсь, что, если нам помогут высшие инстанции, возглавляющие сферу культуры обеих стран, у белорусского зрителя будет прекрасная возможность убедиться в том, что я говорил о Джавиде.

Что касается пожеланий, я хотел бы обратиться ко всем с такими словами: несмотря на наш информационно насыщенный век, несмотря на всеобщую компьютеризацию, никто не будет отрицать, что образовать свои ум и сердце можно только учась, а это значит, читая серьезную литературу. И пусть наши знания служат тому, чтобы мир стал красивее. Мне думается, что от этого все мы только выиграем.





«Думаю я о тех пришлых, нищих, больных…»

Выдающийся поэт и драматург Азербайджана Гусейн Джавид родился в Нахичевани в семье ахунда — священнослужителя. Получив образование в родном городе, Джавид уезжает в Тебриз и поступает в духовную школу — медресе. Здесь он изучает арабский и персидский языки и классическую литературу Востока. Через год из-за болезни глаз Джавид вынужден бросить учебу и вернуться в Нахичевань, где он упорно занимается самообразованием. В 1905 году молодой поэт едет в Турцию и поступает на литературный факультет Стамбульского университета. Там же он знакомится с известными турецкими писателями. После возвращения на родину в 1909 году Джавид длительное время преподает азербайджанский язык и историю литературы в азербайджанских школах Тифлиса, Гянджи, Нахичевани, а с 1915 года — в Баку.

Первое стихотворение Джавида было напечатано в бакинском журнале «Фиюзат» в 1906 году, а в 1913-м издан первый сборник его стихотворений — «Минувшие дни». Уже в раннем творчестве Г. Джавида дают о себе знать социальные мотивы, связанные с общественным переустройством и противоречиями, положением бедняков и обездоленных людей. И хотя, как признается поэт, его «Бог — красота и любовь», жизнь с ее глубокими противоречиями и проблемами вторгается в мир его поэтических раздумий, побуждая думать о многом и многих…

Его литературное наследие, ставшее ценным источником для обогащения азербайджанской культуры, литературного мышления и сокровищницы театра, занимает важное место в древней и вечно живой культуре Востока, классической азербайджанской поэзии. Творчество Джавида является образцом глубокого нравственно-философского наследия, а сам автор — одним из основоположников азербайджанского романтизма XX века.

Творчество Джавида отличается разнообразием жанров и форм. Он — автор лирических стихов, лирико-эпических и эпических поэм, первых в истории азербайджанской литературы трагедий и драм, написанных в стихотворной форме. И именно на драматургическом поприще он сделал прорыв в совершенно новый мир, открыв читателю то, что до этого скрывалось за пеленой предрассудков и невежества. Г. Джавид раскрыл власть темных сил и контрасты эпохи в своих драматургических произведениях «Шейда» (1913), «Шейх-Санан» (1914), «Дьявол» (1917—1918), «Князь» (1929), «Сиявуш» (1933), «Хайям» (1935), «Пророк» (1922), «Хромой Теймур» (1925), «Пропасть», «Афэт», «Мать», «Месть Дьявола» и других, представив в них целую галерею сильных, протестующих неординарных героев, бунтующих против несправедливости, тирании, произвола. Именно эти пьесы стали важным достижением романтизма, его ведущим жанром, сохранившим на десятилетия обаяние и идейно-эстетический мир этого направления, возникшего в азербайджанской литературе.

Джавид обращается к непреходящим общечеловеческим ценностям, общественно-политическим и культурным проблемам на высоком художественном уровне. В своей первой пьесе в стихах «Мать» (1910) автор воспевает доброту, преданность и поразительное мужество, в трагедии «Марал» (1912) — свободу личности и мужество, в первой трагедии в стихах в истории азербайджанской литературы — «Шейх-Санан» (1914) он протестует против религиозной и национальной дискриминации, разлучающих любящие сердца.

В трагедии «Иблис» («Дьявол») (1918), занимающей важное место в творчестве драматурга, Джавид в образе Дьявола обобщает все реакционные силы своего времени. Конец мировой войны, разобщенность наций, всеобщее отчуждение, разруха и смерть, людское горе и отчаяние — вот что поглотило поэта и вынудило прибегнуть к известному в мировой литературе образу Демона — приблизить его к человеческой жизни и заста-



Гусейн Джавид с женой Мюшкюназ и детьми. 1936 год.

вить соучаствовать во всем страшном, что было в ней. Гусейн Джавид образом Иблиса преследует конкретную цель — вскрыть первопричину пороков, ввергнувших людей в пропасть неисчислимых бед, сделавших их жестокими друг к другу. Заканчивается пьеса удивительным по эмоциональной насыщенности монологом Дьявола — странно, но именно этому герою поэт оставляет последнее слово…

Да, Дьявол!.. Всякий в мире восхищен
Великим именем. Повсюду звон — Во славу
Дьявола. По всей земле — И в полдень, на
Свету, и в ночь, во мгле, Царит он, Дьявол…
В хижине, в раю, В трактире, в храме —
Дьявол. Я стою
Посередине мира… В нашу честь —
Почтение и страх, вражда и лесть…
Глупец ничтожный, оскорбишь меня
И не узнаешь радостного дня.
Ты будешь корчиться в моих когтях,
Пока не превратишься в жалкий прах.
И без меня ведь есть поводыри,
Они могучи, что ни говори.
Кровь извергающие короли,
И шахи, и всесветные врали,
И падкие на женщин и на власть
Политиканы, что умеют красть,
Служители религий, главы сект,
Что за прожектом сочинят прожект,
Чтоб всех разъять и всех разъединить,
Да, да, они вас могут погубить,
Они-то могут уничтожить вас,
А я… Вас покидаю сей же час…
Явившись к вам из тьмы небытия,
В небытие и отправляюсь я.
Что Дьявол? Он
Предательством рожден,
Коварством вознесен…
Что — человек, всех предающий испокон?
Что? — Дьявол — он…

В 1926 году Джавид уезжает в Германию на лечение обострившейся болезни глаз. Впечатления от пребывания в Западной Европе отразились в его большой поэме «Азер», над которой поэт трудился больше 10 лет. В 1937 году в связи с начавшимися репрессиями и травлей передовой части творческой интеллигенции Гусейн Джавид был объявлен «врагом народа» и сослан в Сибирь. В 1941 году поэт трагически погиб в ГУЛАГе, не выдержав суровых условий лагерной жизни.

Подготовила Эсмира Исмаилова.



ГУСЕЙН ДЖАВИД

Шейх-Санан*

Трагедия в четырех действиях

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Ш е й х-К а б и р — седовласый почтенный богослов, известный своей добродетелью и ученостью, знаток религиозных доктрин.
Ш е й х-А б у з а р — его приближенный и домоправитель.
З а х р а — дочь Шейх-Кабира.
А з р а — подруга Захры, дочь Шейх-Абузара.
Ш е й х-С а н а н — ученик Шейх-Кабира, тридцати лет.
Ш е й х-Х а д и, Ш е й х-С а д р а, А б у л у л а — товарищи Шейх-Санана.
Ш е й х-М а р в а н — ученик Шейх-Кабира, одноглазый, среднего возраста.
Ш е й х-Н а и м — товарищ Шейх-Марвана.
Ш е й х-А б у л л а х ь я, Ш е й х-Д ж а ф а р — старцы-богословы, аскеты, у Абуллахьи непомерно длинная борода.
О г у з, О з д е м и р — молодые парни, азербайджанцы.
Д е р в и ш — старец почтенного вида.
Х у м а р (Тамара) — необычайно красивая и скромная грузинская девушка.
Н и н а — подруга Хумар.
А н т о н, С и м о н — щеголеватые молодые грузины.
П л а т о н — отец Хумар.
С е р г о — слуга Платона.
С в я щ е н н и к — громкоголосый здоровяк.

Двое слепых арабов, погонщик верблюдов, Шейхи и Мюриды, Ангелы.

Грузинские парни, девушки и дети. Шейхи и их приверженцы в арабской одежде, грузины — в старинной грузинской одежде, священник — в шелковой рясе.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Сцена первая

Приемная богословов в Благословенной Медине, в доме Шейх-Кабира. Две двери, три-четыре окна. Одна из дверей ведет в личные покои шейха. Два окна выходят в красивый финиковый сад.

Поднимается занавес, и в углу комнаты виден Шейх-Абузар. Он сотворил предвечерний намаз, но руки и чело еще подняты к небу.

З а х р а
(Вместе с Азрой выходит из женских покоев.)
О шейх!

* Фрагмент.

А з р а
О шейх!

Ш е й х-А б у з а р
(молитвенно)
Нет бога кроме бога,
Он милостив, он милосерд премного!

З а х р а
(подходя)
Шейх-Абузар!

Ш е й х-А б у з а р
(обернувшись)
Что, дочь моя?

З а х р а
Вестей
Не слышно ли каких о Шейх-Санане?

Ш е й х-А б у з а р
Я заходил к нему…

З а х р а
Скажи скорей,
Сколь велико его недомоганье?

Ш е й х-А б у з а р
Соседи говорят, что по ночам,
Как прежде, сон нейдет к его очам,
Что поутру уходит он в пустыню
И вовсе не общается с людьми.
Он болен. Он почти безумен ныне.
Он потерял рассудок от любви.
Медина поражается, судачит,
Гадает, шепчет, что все это значит.

З а х р а
Прошу тебя, людской молве не верь,
Сходи еще, узнай, как он теперь.

Ш е й х-А б у з а р
Ну что ж, схожу…
(Поднимается с ковра и выходит,
пристально глядя на Захру.)
Все это не случайно:
Я вижу, что и ты болеешь тайно…

А з р а
Захра, твоя тревога бьет в глаза.

З а х р а
Я не могу сдержать ее, Азра.

А з р а
Неужто усомнилась ты в Санане?
Его гнетет твое очарованье.
Поверь, для многих стала ты мечтой,
Они больны твоею красотой.

З а х р а

Нет мочи ждать, не нахожу покоя…
Ты говоришь, он болен мной? Пустое!
Шесть лет, как я в томленьи и слезах,
И грусть, и радость без Санана — прах.
Шесть долгих лет я пленница Санана,
Мой разум помрачен и сердце пьяно.
Что красота моя? Красив лишь он
И совершенным знаньем умудрен.

А з р а

Санан — бедняк, безвестный, безымянный,
Ваш род куда знатней семьи Санана.
А твой отец? Его узнал вес мир!
Велик и мудр преславный Шейх-Кабир.

З а х р а

Увы, мне безразличней год от года
Пустая слава племени и рода.
Да будь он ниже черного раба,
Санан — моя любовь, моя судьба.

А з р а
(глядя в окно)

Что ж, радуйся, вот он идет, твой милый…

З а х р а
(в волнении)

Кто? Кто идет?

А з р а
(указывая рукой)

Задумчивый, унылый…

З а х р а
(смотрит в окно)

Санан! Он еле жив, он как во сне!
Оставь покуда нас наедине,
Я после расскажу тебе…

В крайнем волнении становится поближе к двери.
Входит Шейх-Санан, оглядывается. При виде Захры меняется в лице.

Мой бедный,
Ну что с тобой? Болезненный и бледный,
Ты, как слепой, бредешь при свете дня.
Чем болен ты?

Ш е й х-Са н а н

Не спрашивай меня.

З а х р а

Но почему? Скажи мне, что случилось?

Ш е й х-С а н а н

Молю, не надо. Окажи мне милость.

З а х р а

Пусть будет так. Пусть тайна. Но зачем

Ты так печален, холоден и нем?
Ты плачешь? Боже, в чем я виновата?

Ш е й х-С а н а н
Уйди. Прости. Потом поймешь сама ты.

З а х р а
Какой же рок постиг любовь мою?
Ты знаешь ли, как я тебя люблю?
Шесть лет я плачу, глаз не осушая,
И что ж! Выходит, я тебе чужая
И избегаешь ты моей любви?..
Хоть жалость, милосердье прояви!
О, где твои былые обещанья?
Где верность слову? Мрачное прощанье
Ловлю в твоих потупленных очах:
Огонь в них отгорел, потух, зачах.
Нет больше сил терпеть такую муку.
О, сжалься! Я не вынесу разлуку.

Ш е й х-Са н а н
Разлуку?! Разлучиться нам с тобой?
Возможно ли? Ты мне дана судьбой!
Краса моя, чем я любовь измерю?

З а х р а
(обнимая его)
О, знала я, что не напрасно верю!

В эту минуту на сцене гаснет свет, в углу поднимается второй занавес. Несколько выше сценической площадки — романтический райский пейзаж. Златокрылые ангелы смеются, прогуливаясь рука об руку, плечо к плечу. Среди них в ангельском одеянии — Хумар.

Х у м а р
Шейх! Шейх-Санан! Оставь ничтожный мир!
Лети сюда, ко мне! Лети в эфир…

Ш е й х-С а н а н
(Захре, растерянно)
О, ты земная, ждут меня на небе.
Лететь к другой — вот мой высокий жребий.

З а х р а
К другой? К кому же? Нет здесь никого…
Что за виденье мучает его?!

Ш е й х-С а н а н
Виденье? Нет! Вот ангел златокрылый…

З а х р а
Где?

Ш е й х-С а н а н
Там! Ты можешь слышать голос милый.
(Захра в изумлении)

Х у м а р
Лети сюда, не мешкай, добрый друг,
Не сомневайся, устремись на звук

Призыва! Ввысь, мой огнеглазый гений!
Лети же, возносись без размышлений…

Ш е й х-С а н а н
(Хумар)
Уйди! Чего ты хочешь, ввысь маня?
Ведь я не ангел, пощади меня…

Хумар с горьким удовлетворением кивает и удаляется.

Ш е й х-С а н а н
(с раскаяньем и мольбой)
Она уходит. И глядит сурово.
Прости, не покидай меня, земного!
Уходит…

З а х р а
Кто?

Ш е й х-С а н а н
Останься, ангел мой!

Х у м а р
(удаляясь)
Прощай, Санан. Да будет мир с тобой.

Занавес в углу опускается. Зажигается свет.

Ш е й х-С а н а н
Разгневалась. Летит в крылатом шуме.
Я вновь один…

Как Меджнун, захлебывается рыданием и падает без сознания.

З а х р а
(кладет его голову себе на колени)
О горе, он безумен!

А з р а
(входит)
Какое горе? Что произошло?

В дверях показываются Шейх-Марван и Шейх-Абузар.

Ш е й х-М а р в а н
(язвительно)
Шейх-Абузар, любуйся! Как тепло
Санану на таком лебяжьем ложе,
В объятиях Захры…

А з р а
(увидев их, быстро Захре)
Помилуй, боже!
Идем, Захра. Вставай, вставай, не жди.

З а х р а
Однако же…

А з р а
Вставай и уходи.

Обе уходят. Шейх-Абузар и Шейх-Марван подходят к Санану.

Ш е й х-А б у з а р
О господи, Санан, в каком ты виде!

Ш е й х-М а р в а н
Притворщик! На судьбу он не в обиде.

Ш е й х-А б у з а р
Санан!

Ш е й х-М а р в а н
Молчит, лукавец. Все молчком.
Так прячется лиса перед прыжком.
Привык в молчаньи каверзы готовить…

Ш е й х-А б у з а р
Ну как не надоест тебе злословить!

Ш е й х-М а р в а н
Он занемог, тоскуя и любя.
Захра вернется — он придет в себя.

Ш е й х-А б у з а р
Молчи, довольно. Шейх-Кабир со свитой!

Ш е й х-М а р в а н
Быть может, он увидит то, что скрыто.

Шейх-Кабир входит в сопровождении других шейхов и учеников-мюридов.
В изумлении обступают Санана.
Шейх-Хади склоняется к нему, гладит по голове.

Ш е й х-К а б и р
Сынок, Санан, ты мертвого бледней…
(Шейх-Абузар)
Скорей воды!

Ш е й х-Х а д и
Не медли же, скорей!

Шейх-Абузар выходит.

Ш е й х-К а б и р
Конечно, сей недуг не без причины.

Ш е й х-К а д и
Что за напасть на крепкого мужчину?

Ш е й х-К а б и р
И у напасти есть причина, друг.

В с е
Небеспричинен и его недуг.

Ш е й х-М а р в а н
Причина есть: вина и наказанье.
Все взыщется с того, кто виноват.

Ш е й х-К а б и р
(с раздражением)
В чем виноват? Ты это о Санане?

Ш е й х-М а р в а н
Достойный шейх, шесть дней тому назад
Поспорили мы бурно с Шейх-Сананом.
Он уверял в ожесточенье странном,
Что вознестись возможно в духе, но
Не во плоти — и что пророк, равно
Как все мы, смертные, не возносился.
А только духом в небо углубился.

В с е
О господи!

Ш е й х-Х а д и
Марван Санану враг!
Санан не утверждал, что это так.
Он сомневался, вопрошал… Сомненье
Не есть вина и повод для гоненья.

Приносят воду, смачивают губы и голову Санану.

Ш е й х-К а б и р
Сомненье — матерь истины любой,
Сомненье — к вящей мудрости любовь,
Для разума сомненье не излишне —
Ведь можно рассудить и так: всевышний —
Господь всего, не только райских кущ;
Он всюду и во всем — он вездесущ,
И он всегда с тобою, где б ты ни был, —
Так есть ли смысл для вознесенья в небо?

Ш е й х-Н а и м
Ах, у него сомненьям нет конца!
Он усомнился в бытии творца.
Сказал мне: бог незрим, как верить можно,
Что наше представленье непреложно?

Ш е й х-М а р в а н
Кощунство!

Ш е й х-К а д и
Замолчи, ты злой дурак!

Ш е й х-М а р в а н
Я замолчал. И все же это так.

Ш е й х-К а б и р
(после длительного раздумья)
Растет сомненье — вера побеждает,
Сомненье выйти к свету побуждает.
Санан — не богохульник. Для творца
Важнее слов достойные сердца.
Аллах нисходит в душу страстотерпца,
Аллаха видят не глаза, а сердце;
Кто сомневался, мыслил и страдал,
Тот в сердце темном бога обретал;
Тоска о высшей мудрости — обитель,
В которую заглянет вседержитель.

Шейх-Санан открывает глаза и оглядывается в изумлении.

Ш е й х-Са н а н
Уа мин-аль-ман куллу-шей’ун хейй…

Ш е й х-Х а д и
Да, сущее в воде берет начало…

Ш е й х-С а н а н
Ох!

Ш е й х-Хади
Брат Санан!

Ш е й х-К а б и р
Ты здесь среди друзей.

В с е
Жив бог!

Ш е й х-М а р в а н
Покайся, хоть и запоздало,
И не гордись.

Ш е й х-С а д р а
(Марвану)
Дай отдых языку.

Ш е й х-С а н а н
Вахдаху ла илаха илла ху!
Поистине нет бога кроме бога,
Он милостив, он милосерд премного.

Ш е й х-К а б и р
(Марвану)
Ты устыдился?

Ш е й х-Х а д и
Вы посрамлены!

Ш е й х-Н а и м
И все же «Разделение луны» —
«Шагг-уль-гамар» — толкует он превратно.

Ш е й х-К а б и р
(Наиму)
Уймись…

Ш е й х-Х а д и
Такая злость невероятна!

Ш е й х-М а р в а н
(Наиму)
Ну, а Захра?

Ш е й х-Н а и м
А что Захра?

Ш е й х-М а р в а н
О ней
Поговорим особо и поздней.

Ш е й х-К а б и р
(Марвану и Наиму, понизив голос)
Вы жалки мне — вас одолела злоба.
Ни слова больше. Замолчите оба.
(Шейх-Санану)
Санан, скажи мне, что с тобой, сынок?

Ш е й х-С а н а н
Достойный шейх, меня настигнул рок.

Ш е й х-К а б и р
Но где ты был? Мы трое суток ждали.

Ш е й х-С а н а н
Позволь смолчать мне о моей печали.

Ш е й х-К а б и р
Застенчивость для жизни не нужна:
Того, кто робок, не щадит она.
Что толку потупляться, запинаться?
Скажи мне все, чего тебе стесняться?

Ш е й х-С а н а н
Увы, мой сон был несказанно дик.

Ш е й х-К а б и р
Поведай.

Ш е й х-С а н а н
Отнимается язык.

У приоткрытой двери показываются Захра и Азра,
с интересом слушают.

Ш е й х-Х а д и
Поверь, что смысла нет в твоем смятенье.

Ш е й х-К а б и р
Ведь это же не явь, а сновиденье.

Шейх-Санан привстает, начинает рассказывать; Шейх-Кабир кивает,
то как бы соглашаясь с Сананом, то побуждая его продолжать.

Ш е й х-С а н а н
Великий шейх, мне снилось, что полны
Окрестности сладчайшей тишины,
Как будто ночи светлая улыбка
Витает над землей легко и зыбко, —
И лунный свет, неизъяснимо мил,
И душу мне, и долы озарил.
Вдруг незнакомый шейх с прикрытым ликом
Явился и в веселии великом
Меня подбросил, точно я дитя,
И стал качать и целовать, шутя,
И на плечи сажать меня, играя,
Слезинки страха с глаз моих стирая.
В испуге — почему, не знаю сам —
Я шейха бил наотмашь по глазам,
Я вырывался, страх когтил мне душу…
Он умолял о чем-то — я не слушал.

Но вот, нездешним светом осиян,
Он мне промолвил: «Погляди, Санан,
Какой обрыв над пропастью, в тумане:
То Грузия! Последнее прощанье!»
Тут, вижу, он ссадил меня с плеча,
Вознес над бездной жестом палача,
Но не успел я к богу обратиться,
Ко мне рванулся ангел, точно птица…

Ш е й х-К а б и р
Что ж дальше?

Ш е й х-С а н а н
Я на шейха поглядел —
И вновь от изумленья онемел.

Ш е й х-К а б и р
Кто ж этот шейх?

Ш е й х-С а н а н
Не надо…

Ш е й х-К а б и р
Почему же?

Ш е й х-С а н а н
Тот шейх был ты…
Вот в чем кромешный ужас!
(Все поражены, Шейх-Кабир многозначительно кивает.)
Учитель мой, прости иль покарай,
Я гадок сам себе…

Ш е й х-М а р в а н
(вполголоса Наиму)
Ну, краснобай!
Ты все слыхал? Ах, чертов сын. Предатель!

Ш е й х-Н а и м
(кивая на Шейх-Кабира, тем же тоном)
Послушаем, что скажет толкователь.

Ш е й х-Х а д и
(Санану)
Сон — это сон. Ты зря так потрясен.

Ш е й х-С а д р а
Чего бояться? Это только сон.

Ш е й х-К а б и р
(Санану)
Ах, милый сын! Ты в мире будешь славен,
Наставникам знатнейшим будешь равен,
Перед тобой склонятся стар и млад.
Ты будешь несравненный идштихад.
Настанет день — народ меня забудет
И лишь тебя любить и помнить будет…
(У всех на лицах завистливое удивление.)

Ш е й х-Х а д и
За что ж он взыскан? В чем же здесь урок?

Ш е й х-С а д р а
Он будет счастлив: Шейх-Кабир предрек!

А б у л у л а
Узнает ли он собственное счастье?

Ш е й х-К а б и р
Увы, лишь ненадолго, лишь отчасти,
(Санану)
Та пропасть, что увидел ты, скорбя,
Лишит и счастья краткого тебя.
Ты совершишь такое, что народы
Тебя отвергнут, может быть, на годы,
Познаешь униженье и позор
И пагубную страсть…

Ш е й х-М а р в а н
(Наиму)
Ну, до сих пор
Речь не о счастье, а о бездне срама.

Ш е й х-Н а и м
(Марвану)
Речь о несчастье, говори уж прямо.

Шейх-Санан потрясен.
На миг он задумывается, потом со слезами припадает к ногам Шейх-Кабира.
Шейх-Кабир ласково поднимает его и кладет руку ему на плечо.

Ш е й х-К а б и р
Ты родился в Туране, но сюда
Последовал: Аравии звезда
Звала тебя красою величавой,
И смолоду ты здесь добился славы,
А в Грузии окончишь житие…
Последнее прибежище твое
Там, только там. И если ты безвольно
За страстью не пойдешь тропой окольной,
Твоя могила — знай о том, Санан, —
Святыней прослывет у мусульман.

Ш е й х-Са н а н
Мой шейх, спрошу, коли тебе угодно…

Ше й х-К а б и р
Конечно, сын мой, спрашивай свободно.

Ш е й х-С а н а н
Что за беда грозит мне, что за страсть,
Чтобы из-за нее так низко пасть?

З а х р а
Ах…

Ш е й х-К а б и р
Женщина — вот имя этой страсти…

Ш е й х-М а р в а н
(иронически, Шейх-Абузару)
Поздравь Захру, ей привалило счастье.

Ш е й х-С а н а н
(глядя в небо)
Великий боже, праведный господь
Ты изначала знаешь дух и плоть.
Кто от тебя укрыт горой иль бездной?
Все видит, все провидит царь небесный.
Я прожил тридцать лет, но я аскет
И с женщиной не знался. Я согрет
Возвышенной и животворной страстью,
Страсть плотскую считаю я напастью,
Мне чуждо то, что отравляет кровь,
Близка мне лишь духовная любовь,
И для иной я не открыл бы душу,
Страстям в ней места нет!

Вновь на сцене темнеет, в углу поднимается второй занавес,
виден тот же райский пейзаж.

Х у м а р
(лихорадочно)
Санан, послушай,
Как быстро ты забыл меня!

Ш е й х-С а н а н
О нет!
Я просто растерялся. Ты мой свет!

Х у м а р
Не верю.
(Отлетает.)

Ш е й х-С а н а н
О, вернись, прости ошибку!

Присутствующие растерянно переглядываются.

Ш е й х-К а б и р
Что это? Сын мой, с кем ты говоришь?

Ш е й х-С а н а н
Она! Ее небесная улыбка!
Прости меня…

Х у м а р
Теперь ты полетишь?
Лети ко мне, лети, пока не поздно!

Ш е й х-С а н а н
(Тщетно пытается лететь к Хумар.)
Она уходит. Светится стезя…

Ш е й х-К а б и р
Кто? Кто она?

Видение начинает меркнуть. Второй занавес медленно опускается.

Ш е й х-С а н а н
Ужель мы будем розно?
Не уходи! Мне без тебя нельзя!
(Устремляется, простирая руки к Хумар,
и, встретив пустоту, падает без чувств.)

Ш е й х-К а б и р
Чей это призрак, от него ушедший?

Ш е й х-М а р в а н
О господи, он просто сумасшедший!

Захра, безмолвно наблюдавшая все это,
с глубоким и горестным вздохом опускается на руки Азры.

Занавес

Сцена вторая

Большая дорога, ведущая к Великой Мекке. Вдоль дороги жилые дома, вдалеке минареты громадных мечетей. Выделяется покрытая черным Кааба. Действие происходит десять лет спустя, и участники его внешне изрядно изменились. Поднимается занавес и открывает юную аравитянку, идущую по дороге с сосудом для воды. Шейх-Садра и Абулула идут ей навстречу.

Ш е й х-С а д р а
Что за жарища в Мекке! Мы однажды
Здесь все умрем от зноя и от жажды.

А б у л у л а
(указывая на Каабу)
Не будь здесь расположен Бейтуллах,
Остался б в Мекке лишь каленый прах.
Как здесь живут? Ведь ни клочка прохлады!
Ушедшим из Медины нет отрады…

Ш е й х-С а д р а
(девушке с сосудом)
Ах, дочка, удели воды глоток!
(Девушка с веселой улыбкой подает сосуд.)

А б у л у л а
Я гибну…

Ш е й х-С а д р а
(девушке)
Дай тебе здоровья бог.

А б у л у л а
Ну, что вода?

Ш е й х-С а д р а
Я выпил — и жалею,
Она теплее крови, гуще клея,
Увы, аллах, дыхание твое
Здесь останавливает бытие.
Мне страшно. Я, как факел, полыхаю.
Мне кажется, что я огонь вдыхаю.

На дороге показываются Шейх-Марван и Шейх-Наим.

Ш е й х-Н а и м
(Марвану)
Как ты рассеян! Отчего, Марван,
Ты нашу дружбу словно оборвал
И стал после Медины как-то странен?

Ш е й х-М а р в а н
Не спрашивай. Ведь я навылет ранен.
Когда бы и единственный мой глаз
Захры не видел, он бы здесь погас.

Ш е й х-Н а и м
Но как же ты подобным красноречьем
Не покорил ее?

Ш е й х-М а р в а н
Гордиться нечем…
Старался, как умел, но ничего
Не вышло из старанья моего.
Ведь я урод — противный, одноглазый,
И это всех отталкивает сразу.

Ш е й х-Н а и м
Ну, внешность — лишь испод живой души.

Ш е й х-М а р в а н
Хоть ты крылатым вздором не греши.

Ш е й х-Н а и м
О нет, зачем ты морщишься брезгливо?
Абулула, Садра, Хади — красивы,
Умны, приятны, каждый хоть куда,
Но для Захры один Санан — звезда.

Ш е й х-М а р в а н
(с досадой)
Творец любви, наверно, знает дело…

Ш е й х-Н а и м
Ах, надо, чтоб судьба того хотела…

Ш е й х-Ма р в а н
(устало)
Но где ж они? Все пусто, все мертво…

Ш е й х-Н а и м
Помедлим. Не случилось ли чего…

Поворачивается лицом к Каабе. На дороге появляются двое слепых арабов. Один играет на уде, другой грустно поет газель на мотив мелодии «хиджаз».

В т о р о й С л е п е ц
Если б не было в мире влюбленных, любви
и мгновения злого разлуки!
Если б не было в мире творенья, творца,
и свиданья, и снова разлуки!
Если б не было в мире недугов, лекарств,
и рождений, и траура смерти!
Если б не было в мире убежища встреч
и бредущей без крова разлуки!
В моем сердце, увы, ослепительный свет
на глазах — одеяние ночи…
Если б не было в мире ни света, ни тьмы,
ни жестокого слова разлуки!
Ну, так в чем же тут смысл? Для чего это все?

Суть создания непостижима.
Почему, почему справедливости нет,
упоенья — без зова разлуки?
Не осталось терпенья и сил у меня,
Вопрошаю: о где справедливость?
Если б не был я счастлив вначале, теперь
Не гремели б оковы разлуки.

Мимо проходит араб в одежде погонщика верблюдов.

Первый Слепец
Прохожий, сделай милость, услужи!

Погонщик
Чего тебе?

Первый Слепец
Санана покажи.

Погонщик
Да вон он — вон выходит он из Мекки…

Первый Слепец
Ужели злой недуг нам дан навеки?
Ужели нас Санан не исцелит?

Погонщик
Чего вам надо? Что у вас болит?

Первый Слепец
Разнесся слух, глухие и немые,
Безрукие, слепые и хромые
Идут к Санану, и великий шейх
Господней волей исцеляет всех.
Лишь на него мы уповаем ныне,
Идем к святому шейху из пустыни.

Погонщик
(смеясь)
Увы, коль дар такой Санану дан,
Зачем же крив почтенный Шейх-Марван?
Пусть исцелит его второе око,
Да и ходить не надобно далёко.

Первый Слепец
Ты только покажи: мол, это тот.

Погонщик
Что ж, подождите. Он сейчас придет.
(Уходит.)

Появляются Захра и Азра в мужской одежде.
Захра изменилась, побледнела, грустна, задумчива.

Азра
Захра, ты таешь. Что ж это такое!
Ведь ты себя погубишь в диком зное.
Ты побледнела, ты в поту, в пыли…
Напрасно из Медины мы ушли!

З а х р а
Как быть, Азра? Я не могла иначе.
Я ничего не знаю — только плачу.
Увы, последний вздох мой будет сир…

А з р а
Чем тут помочь? Виновен Шейх-Кабир!
Ведь это он любви твоей перечил.
Твою судьбу и счастье изувечил.
Твердил Санану: «Женщин берегись,
Их избегай, смотри все время ввысь…»
Теперь бедняга святостью увенчан,
Но знать не хочет ни любви, ни женщин.
Я с горечью порой слежу за ним:
Как изменился! Стал совсем иным...

З а х р а
О чем тут говорить? Что было — было.
Он дал зарок, обет. Ему не милы
Мы, женщины, он презирает нас.
Наверное, он слышит божий глас.
(с горестным вздохом)
Хоть раз ему в глаза бы поглядела —
Тоска моя навеки б отлетела.

П о г о н щ и к
(возвращаясь к слепым)
Вот и Санан в толпе учеников.
Окликните — он любит простаков.

С л е п ц ы
Спаси тебя господь. Мы верим в чудо!

З а х р а
(Азре)
Ох, поддержи меня. Мне что-то худо…

А з р а
Сойдем с дороги. Станем в стороне.

З а х р а
Прости, подруга. Очень плохо мне.

А з р а
Захра, помилуй! Так нельзя терзаться!

З а х р а
(С помощью Азры отходит в сторону.)
Азра, откуда силы могут взяться?
Когда меня покинул Шейх-Санан,
Мой мир окутал сумрачный туман.

Появляются шейхи и мюриды.

Ш е й х-М а р в а н
К чему, зачем паломничество это?

Ш е й х-Н а и м
Нет смысла без конца бродить по свету!

А б у л у л а
Долг послушанья! Он один для всех.

Ш е й х-С а д р а
Долг послушанья! Все иное — грех.

Ш е й х-А б у л л а х ь я
Но эти бесконечные дороги
Лишат молитвы нашей очень многих.

Ш е й х-Д ж а ф а р
А между тем кто станет отрицать,
Что лишь в молитве — мир и благодать?

Ш е й х-С а д р а
Постигнете ль вы разумом и сердцем,
Что дан великий вождь единоверцам?
Кто слеп и непокорством обуян,
Тому вождем не будет Шейх-Санан.

А б у л у л а
Шейх чудеса творит, над прахом рея,
По-моему, нет никого мудрее.

П о г о н щ и к
Где Шейх-Санан? Измучились верблюды,
Заждался караван, и груз тяжел.

Ш е й х-М а р в а н
Естественно! Стоять под ношей — худо…

Ш е й х-С а д р а
Еще немного. Вот он отошел.

Погонщик быстро уходит.

П е р в ы й С л е п е ц
О милосердье молим мы!

В т о р о й С л е п е ц
О чуде!

А б у л у л а
Великий шейх идет. Склонитесь, люди!

Все расступаются. Быстро подходят Шейх-Санан, Шейх-Хади и Шейх-Абузар.

Ш е й х-Х а д и
(обращаясь ко всем)
Друзья мои, минуло десять лет,
Как Шейх-Кабир покинул этот свет
И Шейх-Санан, его преемник мудрый,
Над миром темным воссиял, как утро.
Знаток Ученья, выполнив наказ,
Уж десять лет он просвещает нас.
Теперь направит он стопы к Турану,
Потом пойдет в Иран, в иные страны;
Он цель избрал, и эта цель его —
Увидеть нашей веры торжество.
Я также в путь отправлюсь. Неустанно
Идти я буду в земли Индустана.

Намерены мы в самый краткий срок
Пройти, быть может, тысячу дорог,
Чтоб Мухаммед, пророк благословенный,
Над душами царил во всей вселенной
И темным стала Истина ясна, —
Заблудшие да узрят, где она!
Завеса тайны не нужна исламу,
Он обращен ко всем — светло и прямо.
Кто в дальний путь за истиной пойдет,
Того пророк господень поведет.

Ш е й х и
Да будет так!

М ю р и д ы
Великое наитье!

С л е п ц ы
О шейх, о шейх!

Ш е й х-А б у з а р
(слепцам)
Немного подождите.

Ш е й х-С а н а н
(указывая на солнце)
Друзья, сияет солнце — и оно
Свой излучает свет на всех равно:
На тюрка, на иранца, на араба —
И не слабеет; мы ж порою слабы.
А между тем дано светить и нам:
Светило духа — это наш ислам,
Он осветил лачуги и чертоги,
Он говорит об истине и боге.
Есть цель у нас, святыня, благодать,
Однако же не надо забывать,
Что суесловы тупо и упрямо
Стремятся извратить закон ислама,
Что лжеученых бесконечный спор
За буквой дух скрывает до сих пор.
Но так же как един творец вселенной,
Един Каабы камень несравненный, —
Един Коран… Коль нет на нас вины,
И мы единство утверждать должны.

Говоря, поочередно указывает на небо, на Каабу, на Коран,
висящий у него на груди в футляре.

Друзья, наш путь томителен и труден,
Нас ждет не отдых, а забота буден,
Я никого не понуждаю: тот,
Кто хочет отойти, пусть отойдет.

Абулула, Шейх-Абуллахья и Шейх-Джафар тихо переговариваются.

А б у л у л а
Учитель, Шейх-Джафар с Абуллахьей
Хотят остаться и уйти домой.

Ш е й х-Д ж а ф а р
О шейх, мы старики, уж ты прости нас,
Пути такого старец бы не вынес.

Ш е й х-А б у л л а х ь я
Когда ты нас отпустишь с поля битв,
Мы посвятим себя труду молитв.

Ш е й х-Х а д и
(Абуллахье, насмешливо и резко)
Кто ест да пьет, да причитает в голос,
Пройдет по мосту толщиною в волос, —
Так, что ли? Взоры всех сирот и вдов
Обращены на тех, кто в путь готов.
И сам пророк, и все его имамы —
Али, Омар — все воины ислама
Сражались за него, в поту, в пыли,
И людям слово истины несли.
К чему бы это? Отвечайте, что же,
Все заблуждались?

Ш е й х-Д ж а ф а р и Ш е й х-А б у л л а х ь я
Упаси нас боже!

Ш е й х-С а н а н
Ну, не беда. В Медину возвратясь,
Там совершайте не один намаз:
Одни слова пред господом бессильны,
Бог любит верных больше, чем умильных.

С л е п ц ы
Великий шейх, не дай нам умереть!

Ш е й х-С а н а н
Чего хотите вы?

С л е п ц ы
Хотим прозреть.
Мы слепы и не видим света солнца.

Ш е й х-С а н а н
О нет, еще такого чудотворца
Не посылал создатель в мир людей,
И я, увы, отнюдь не чудодей.
Я тоже раб, и слабый, и покорный…
Не верьте лжи бессмысленной и вздорной…
К тому же зренье — что за сладость в нем?
Скорей мученье, а не радость в нем.
Чтобы глядеть на мир, нужна отвага,
Не видеть — преимущество и благо.

П е р в ы й С л е п е ц
Не откажи нам, сжалься, помоги!

В т о р о й С л е п е ц
О мире не печалься, помоги!

Ш е й х-С а н а н
С каких вы пор лишились оба зренья?

П е р в ы й С л е п е ц
Увы, не вижу я со дня рожденья.

Ш е й х-С а н а н
Здесь несомненна матери вина!
Она была преступна и больна.
Зачем такие грешницы рождают,
Слепой и низкой страсти угождают?
(Второму Слепцу)
А что же ты? И ты с рожденья слеп?

П е р в ы й С л е п е ц
Его недуг печален и нелеп:
Он выплакал глаза в любви несчастной
К красавице жестокой и бесстрастной.

Ш е й х-С а н а н
И тут, как видим, женская вина —
Поистине вселенская вина.
Все зло, все преступления — от женщин,
Безумство, исступление — от женщин.
Праматерь Ева проложила путь,
С которого нам не дано свернуть.
Из-за нее лишились мы эдема,
Из-за нее теперь страдаем все мы.
От истины уводит женский зов,
От них страданья, беды, звон оков.
Из-за кого стенают эти двое?
Все то же здесь наследье роковое.

П е р в ы й С л е п е ц
Шейх, исцели нас, выведи из тьмы!

В т о р о й С л е п е ц
Шейх, пощади нас, исстрадались мы!

Ш е й х-С а н а н
Что вы хотите видеть, два безумца!
Весь мир в огне, в крови, сердца мятутся…
За то, что вы не зрите черных дел,
Хвалите бога, он вас пожалел!

П о г о н щ и к
(подходит)
Великий шейх!

Ш е й х-С а н а н
Идем. Сказать по чести,
Не должен странник застревать на месте.

Все уходят.

З а х р а
Они ушли, они ушли…

А з р а
Захра,
Пойдем и мы.

З а х р а
О, подожди, сестра!

А з р а

Смотри, смотри, Санан идет обратно.
Так радостен… Сияет… Непонятно!

З а х р а

Да, это он, прекрасен, окрылен…
Но для чего сюда вернулся он?

Отходят в сторону. Шейх-Санан, Шейх-Абузар, Шейх-Абуллахья, Шейх-Джафар возвращаются.

Ш е й х-С а н а н

Шейх-Абузар, и ты уже не молод,
Ветшает плоть, объемлет душу холод.
Ступай и ты. Медина ждет тебя.
Там сможешь ты, о грешниках скорбя,
Молиться в усыпальнице пророка.
Захра, увы, хворает, одинока,
И всем вам повеление мое —
Смотреть за ней, не оставлять ее,
Как подобает сироте-девице…

А з р а

(Подходит к Санану.)
О шейх, Захра пришла с тобой проститься.
(Указывает на Захру.)
Да, вот она стоит, не чуя ног,
Надломленный, трепещущий цветок.

Ш е й х-С а н а н

Захра, мое угасшее сиянье,
Молю, не думай плохо о Санане.
Склоняется Санан перед тобой,
Перед твоей высокою судьбой.
Ты ангел, но, увы, моя отрада…

З а х р а

Великий шейх, прошу тебя, не надо!
(Падает на руки Азры.)

Ш е й х-Са н а н

(после долгого и тяжкого безмолвия)
Шейх-Абузар, следи за ней. Она
Мучительно и тяжело больна.
Она больна… Увы, как это горько!
Следи за ней заботливо и зорко…
(Отходит.)
Простите все. Я ухожу. Пора.
Прощай, моя прекрасная Захра.

Занавес



ГУСЕЙН ДЖАВИД

*Дьявол**

Трагедия в пяти действиях

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Д ь я в ол.
А н г е л.
С т а р и к Ш е й х — седовласый отшельник.
Х а в е р — внучка Старика.
А р и ф — молодой человек, скромно одетый.
В а с и ф — турецкий офицер (младший брат Арифа).
М л а д ш и й о ф и ц ер — товарищ Васифа.
Р е н а — дивной красоты сестра милосердия.
И б н Е м и н — араб, офицер сорока пяти лет.
Р а н е н ы й о ф и ц е р р у с с к о й а р м и и — молодой человек.
Н е г р — денщик Ибн Емина.
П р и з р а к д е д а Р е н ы.
Э л ь х а н — офицер (дезертир и разбойник).
Офицеры, воины, разбойники, танцовщицы (аравитянки), богатыри, призраки, музыканты и другие.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Роща. Прекрасный уголок природы в окрестностях Багдада. Сбоку — покои, застланные циновкой, окруженные зеленью. Два окна. Слева и справа — двери. Книжные полки. Август. Близится вечер.

Рукой подперев голову, задумавшись, А р и ф лежит на деревянной тахте. Мглисто. Погромыхивает гром, посверкивают молнии. Грохот снарядов. Разрывы бомб. В глубине сцены два больших экрана в виде окон, в которых видны картины битвы, огонь и дым сражения. Группа офицеров с биноклями, наблюдающих за полем боя. Слышится чеканный слог команды...

На одном из экранов появляется Дьявол, на другом — Ангел.

После грохота наступает оглушительная тишина.

Д ь я в о л
(в радостном возбуждении, хохочет)

Беспокойные океаны,
Огнедышащие вулканы.
Кровь течет из всесветной раны.
Люди злобою обуяны.

А н г е л

Боже, боже, какой позор
— Этот ужас и этот мор.
Дьявол выскочил на простор
И царит, — до каких же пор?

Раскатистый хохот Дьявола. Гром и молния. Грохотанье залпов.
И снова—тишина.

---

* Фрагмент.

Д ь я в о л

(хохочет яростно)

Орудья сотрясают мир.
То ль судный день. То ль адский пир.
Снарядов бесконечный град
Сулит планете вечный ад.

А н г е л

О боже, пощади живых,
От гибели спаси ты их,
От гнусных Дьявола интриг —
Над миром власти он достиг.

А р и ф

(Точно очнувшись, протирает глаза, трет лоб. Поднимается, обращаясь к небу)

Творец, сотворивший землю, над ней
Развесивший неба плат,
Чем глубже я чувствую, тем сильней
Сомненья меня томят.
Хочу овладеть я тайной земной,
Истиной бытия,
Но тайна посмеивается надо мной,
А истина — не моя...
Соловьиная песня, цветов благодать,
Звезда у небес на краю, —
Больше не могут уже окрылять
Больную душу мою.
Бог, чье отсутствие много сильней
Присутствующих, нас,
Яви мне свой лик на пороге дней
Хоть на миг, хоть на час.
В законы и книги уверовал я,
Но чувствовал день-деньской
И зависть, и злобу, и смрад бытия,
И слабость натуры людской.
Ищет философ — куда идти.
А совести где поводырь?
Без света совести нет пути,
Закрыта мирская ширь.
Явись же мне, подними меня ввысь
Над равниной земной,
Долго я полз по земле, — явись,
Поговори со мной.
Дай оглядеть края красоты,
Ангельские края.
Возвысь меня и прислушайся ты,
Как стонет Земля моя.
О боже, из этих злосчастных сетей
Не вырваться мне. Беда!..
Быть может, есть смысл в созданье людей,
Но в Дьяволе что за нужда?..

Утомленный, задумчивый, садится на скамейку. На сцене полумрак. Из-под земли, сквозь пламя и вместе с пламенем поднимается Дьявол. Хохочет — громко, иронически.

Д ь я в о л

Ариф! Предаешься бесплодным и тщетным мечтам?
Восстать против Дьявола ты вознамерился? Срам!

Несчастный! Меня одолеть? Надорвешься, малец!
Пытались пророки, но — отошли, наконец.
И гении тоже давно отошли... Ты ворчишь,
Меня оскорбляя, смущаешь окрестную тишь.
Наступит денек и, несчастный, потерпишь ты крах.
Игрушкою станешь у Дьявола в сильных руках.
Я — Дьявол, я — пламень великого небытия.
Ты будешь рабом. Будет сломлена воля твоя.
Несчастный, тебе ведь никто не сумеет помочь,
И вопль твой о помощи канет в бездонную ночь.

Закрыв лицо полой плаща, исчезает. Сцена освещается снова.

А р и ф
(Растерянно-нервно ворошит волосы на голове.
С волнением обращается к входящему Старику)
Подойди и облегчи горе темное, как ночь!

С т а р и к
Что за горе у тебя, чем могу тебе помочь?

А р и ф
(с горькой улыбкой)
Мой мозг рассеки, сердце раскрой! Вряд ли сумеешь ты.
Беги от меня, но сможешь бежать от этакой маеты.
Не приближайся, безумец я, посторонись скорей.
Нет, погоди же, не убегай, горе унять сумей.

С т а р и к
Цивилизованный мир, сын мой, покинул ты.
К миру дикости ты пришел от презрения и тщеты.
Несправедливость забудь и произвол забудь,
Гнев уничтожь, злость уничтожь — выйдешь на праведный путь.
Не тысячи Дьяволу преданы. Все человечество с ним.
Губят друг друга люди — всюду огонь и дым.
Ариф! Обо всем позабудь и послушай, любя,
Иначе ты себя изведешь, иначе погубишь себя.

А р и ф
(с иронией, смеется)
А можно ли забыть? Как выдержать все это?
Нельзя терпеть того, что терпит вся планета.
Ты у зверей спроси, разгневанных от века, —
Потрясены они зверством человека.
(возбужденно, обращаясь к небу)
А можно ли забыть предательства и козни,
И горе отчуждения, и безысходность розни?
(в ярости)
Прикажи — и раскроется ад,
Пусть все твари в огне сгорят,
Пусть, жестокость испепеля,
Словно вздох, растает земля.

Страшное грохотанье грома. Сквозь этот гром все отчетливей слышится раскатистый хохот Дьявола. Печальный и озабоченный Старик выходит из покоев. Ариф, приложив руку ко лбу, прислушивается. Сцена в полутьме. Перед Арифом внезапно появляется Дьявол.

А р и ф
(напялив шапку, растерянно)
Кто ты, посланец темноты?
Как звать тебя? Откуда ты?

Д ь я в о л
(надменно хохочет)
Вначале Ангел, я теперь — огонь, прожегший ночи тьму,
Я знай одно: хвалил Аллаха и звал к покорности ему.
Вначале ангелы меня хвалили выше сил,
Но вот Адам, беспечный малый, мой облик исказил.
Но не унижен я, нет-нет, напротив, — восхвален,
И я сегодня брат Аллаха, среди возвышенных имен.

А р и ф
Довольно, понял все, не надо лишних объяснений,
Передо мною Дьявол, то есть злой и злосчастный гений.
Ты губишь мир своей предательской рукой.
Зачем явился ты, нарушив покой мой, — вечный непокой?

Д ь я в о л
Я увидал заботами истерзанный твой дух —
И я пришел, чтобы тебя призвать к свободе, друг.
Я увидал, что сотни дум твой разум замотали, —
И я пришел, чтоб озарить перед тобою дали.

А р и ф
Тебе не верю, знаю я: ты проклянешь меня.
К безумцам прочь! Так сгинь же в ночь! Хочу сиянья дня.
Меня к свободе никогда не сможешь привести.
Ты — враг, ты — мрак, и мне с тобой — уйди! — не по пути...

Д ь я в о л
(саркастически хохоча)
Ты ошибаешься, огонь готов принять за мрак.
Ариф, перевести — мудрец, но не поймешь никак,
Что я не враг, что я не мрак, мои слова — огонь,
Глаза — огонь, я каждой клеткой существа — огонь.

А р и ф
Зачем огонь мне, если я за светом в мир иду!

Д ь я в о л
А свет, как знаешь, от огня; имей в виду,
Что солнце есть огонь. Смотри. Огонь есть человек,
И человечество — огонь, всегда, из века в век.
Ты Заратустру не забудь, он повелел не зря
Огню нам поклоняться, он прекрасен, как заря.
Он гений света, огнелик прославленный мудрец.
Огонь — венок его любви и разума венец...

А р и ф
(возбужденно)
Скорей погибнуть я готов, чем за тобой идти.

Д ь я в о л
Что ж, я не задержусь, уйду, коль нам не по пути...
(С хохотом удаляется.)

А р и ф
Сгинь, уйди, исчезни, прочь, навсегда уйди.

Сцена освещается снова.

Х а в е р
(входит в тревоге)
Скажи мне, Ариф, что случилось опять?
Кто дух твой пришел своевольно смущать?

А р и ф
Хавер, ты прекрасна, но спрашивать больше не надо.
Терзанья души — вот для жизни счастливой преграда.
(Обнимает Хавер.)
Когда бы не ты, что я делал бы здесь без тебя?
Жизнь залита кровью, грядет она, лучших губя.
А знаешь ли ты, что шепнули мне эти глаза?

Х а в е р
А что же шепнули? Ты должен мне это сказать…

А р и ф
В сердечной своей глубине
О прошлом напомнили мне...
(в сторону)
О прекрасной Рене, о пройденном дне —
Как будто она предо мной в тишине...

Х а в е р
Ты что-то от меня скрываешь, кареокий?..

А р и ф
Не спрашивай, любимая!

Х а в е р
(в сторону)
Жестокий!..

Вместе со Стариком появляются Ибн Емин, Рена,
негр-денщик и воин с небольшой сумкой.

И б н Е м и н
(доверчиво положив руку на плечо Старика)
Почтеннейший Старик, как жив? Тебе привет!

С т а р и к
Живу я, Ибн Емин, покуда горя нет.

И б н Е м и н
(вытирая пот со лба)
Как жарко! До чего сегодня долог путь!
(воину)
Ну, сбегай поскорей, как кони там, взглянуть.

А р и ф
(в сторону, удивленно)
Рена! Как чудесна она, как прекрасна всегда.

Х а в е р
Ариф, не случилось чего-либо?

А р и ф
Да!
(подходит к Рене)
Скажите, Рена вас зовут, не ошибся?

Р е н а
(пожимает Арифу руку, удивленно и радостно)
Ариф!

И б н Е м и н
(в сторону, глядя на Арифа)
Ах, он не помешал бы нам, смутив
Покой наш!..

А р и ф
А откуда вы?

И б н Е м и н
(надменно)
С войны...
В бою мы были — там, где быть должны.

А р и ф
(с гордой усмешкой)
Когда убитым быть и убивать —
Достоинство, то уж зверье, как знать,
Достойней нас.

И б н Е м и н
(саркастически хохоча)
Я не согласен. Нет!
Вы ошибаетесь. Я дам такой ответ:
Ты хочешь жить — борись, воюй, убей.
Или тебя убьют. И — не робей.
Иначе цели не достигнешь ты, ей-ей...

А р и ф
(улыбчиво, с иронией)
Логично рассуждаете... О, да...
И с этим согласятся без труда
И каждый пехотинец, и народ.
Безумие убийственно цветет...

С т а р и к
(берет его за руки)
Ариф, мой сын, ты этот спор оставь теперь.
Пойдем, пойдем, хочу словцо сказать тебе…
(Уходят.)

И б н Е м и н
(в сторону)
Ах, хорошо…
(Рене)
Скажи, кто этот человек?
Мудрец или чудак, калека из калек?
Невежество — его наука, убежденье.

Р е н а
В любой душе живет свое ученье
И страсть своя… Таков из нас любой.

И б н Е м и н
Какие убежденья? Всюду бой!
Тут просто глупость, просто шутовство.

Видать, не разглядели вы его!
(Хавер недовольна.)

Р е н а
Нет, не безумец он, он ценит тишину.
И, кажется, всегда он проклинал войну.

И б н Е м и н
Откуда знаете его?

Р е н а
Соседом нашим был.

И б н Е м и н
(в сторону)
Беда! В ее словах есть пыл!

Р е н а
Он родом из Стамбула, но
Когда был малышом, давным-давно,
Родительский сгорел в пожаре дом,
Погибла вся семья в пожаре том.
Он с младшим братом был из племени спасен,
Но потерял его потом, к несчастью, он,
И вот, как перст остался одинок…

И б н Е м и н
(глядя на часы)
Друг друга вы уважьте, краткий срок
Нам дайте, выйдем, поглядим — что там,
В порядке ли и все ли по местам...

Р е н а
(показывает на две книги, лежащие на тахте)
Твои ли это книги?

Х а в е р
Книги? Да!
Ариф купил мне, видно, год назад.
Вот Насреддин — услада из услад,
А это, рядом с ним, Шехерезада...

Р е н а
(перелистывая книгу)
Воды! Глоток воды испить мне надо!

Х а в е р
Пожалуйста!

Передает кувшинчик, уходит.

И б н Е м и н
(денщику)
О чем мечтаешь ты?

Д е н щ и к
Мой бек, так растеклись мои мечты...
Для нас беда — Ариф... Да-да, беда.
Рене он близок, как звезде звезда,
А воин — тот опаснее для нас,

Куда опасней, — тайну в некий час
Он разгласит: предатель, видел он,
Как нами был загублен Ренин дед...

Появляется Ариф, подслушивает.

Ибн Емин
(с иронической ухмылкой)
Ведь за меня сражался легион
И — пал как жертва всех моих побед.
Мильоны я потратил на пиры,
По-прежнему мне доверяет власть.
Кто я? Араб! В моих руках миры.
Дитя ль заставит Ибн Емина пасть?
(Уходят.)

Ариф
(подходит к Рене, влюбленно)
Какая встреча! Счастье! Ты поверь:
Тебя увидев, в будущее дверь
Я приоткрыл, терпенье потеряв,
Я в снах тебя ласкал. И я был прав.
Тебя дождался я. И — победил.
Все это выразить нет слов, нет сил.
Блаженны все влюбленные сердца!
Наш звездный путь пройдем мы до конца,
И если вместе жить нам суждено,
Избыть печаль с тобою мне дано.

Рена
(в нерешительности)
Мечта! Как знать, что нам сулит судьба...

Ариф
Хочу спросить: куда твоя тропа
Ведет с кровавым офицером тем,
Что разгоняет свет и сеет темь.
Куда ты держишь путь свой?

Рена
Говорят,
Что где-то здесь больные ждут меня,
Невдалеке...

Ариф
Не верь, посулы — яд.
Не уходи. И бойся как огня
Коварных. Оставайся! Почему?
Не спрашивай. Преступнику тому
Не доверяйся!..

Рена
Может быть, ты прав,
Но трудно долг не выполнить, солгав.

Постепенно меркнет свет.
Появляется Призрак — седобородый величавый полковник.

(Рена — растерянно и возбужденно)
Ах, дед мой добрый, ах, мой славный дед!
Я за него не отомстила, нет.

Как жить смогу,
Не отомстив врагу!

П р и з р ак
Отомсти! Отомсти!
(Исчезает.)

Р е н а
(протянув руки к призраку)
Как мне быть? Тяжело!

Д ь я в о л
(за стеной, хохоча)
Отомсти! Отомсти!

А р и ф
Что здесь произошло?

Р е н а
Кто убийцу деда моего найдет,
Поклонюсь тому я низко, будет мной возвышен тот.
Жажда мести сотрясает мое существо,
Ярой мести, только мести, только и всего.

А р и ф
Вы, наверно, знаете, кто убийца?

Р е н а
Нет!
О, на мой больной вопрос где найду ответ?
Неизвестен мне ничтожный, где он, тот злодей?
Ибн Емин твердит: поверь мне, знаю я людей,
Где б убийца ни скрывался, я его найду.

А р и ф
Это ложь и хитрость это, ты имей в виду.

Х а в е р
(Приносит Рене воду.)
Пожалуйста, вот дивная прохладная вода.

И б н Е м и н
Появляется со стариком и денщиком.
(Рене, утоляющей жажду)
Ну что ж, пойдем!

Р е н а
Благодарю вас!
(Денщик берет дорожную сумку.)

И б н Е м и н
Да!
Коль суждено вернуться нам сюда,
Побудем здесь дня три, а может, пять...

С т а р и к
О, как приятно будет нам опять!
(*Трое уходят.)*

Х а в е р
(Рене)
Пришла, порадовала, но разлука
С тобою нежеланна. Просто мука!

Р е н а
Аллаха ради, в этот горький час
Скажу: побеспокоили мы вас.

Х а в е р
Постойте, ехать вам не надо, нет...

А р и ф
Да, это так... Не уезжай, мой свет.

Х а в е р
Ариф, да что с тобою, говори!

А р и ф
Рена — мой свет. Рена — костер зари.
Изнемогающая от тщеты земной,
Страдающая здесь, передо мной...
О, если не сумею ей помочь,
Мой день навеки превратится в ночь
От угрызений совести...

Х а в е р
Я знаю:
В нее влюбился ты?

А р и ф
Совсем иная
Моя любовь, и ей давным-давно
Назваться уважением дано.

Х а в е р
Не верится... Скажу: неправда это,
Нет на тебе лица. Что за примета —
Сулящая душевный перелом?
В тебе как будто громыхает гром...

А р и ф
Когда бы, как Ариф, помыслить ты могла
О том, что Ибн Емин несет из-за угла,
О том, что в замыслах его, — восстала б ты,
Кровь леденела бы твоя от немоты,
От ужаса...

Появляются безоружные Васиф и его товарищ Младший офицер.
Они волокут раненого русского офицера.

В а с и ф
(младшему офицеру)
Он изнемог, постой...

С т а р и к
(подбегает, хочет помочь)
Он ранен? Надобен ему покой,
Бедняга...

А р и ф
Это пленник иль беглец?

В а с и ф
Он пленник, ранен. Может, не жилец...

С т а р и к
Перевязать его нам надо, дочь...

Старик и Хавер перевязывают голову и руку раненого. Уносят его в другую комнату.

А р и ф
(Васифу и младшему офицеру)
Как милосердны вы! Смогли помочь...
Где офицера этого нашли?

В а с и ф
Нашли здесь, у дороги, невдали.
Глядим и видим — тяжело ему,
Несчастьями повергнутому в тьму.

А р и ф
Когда б таким, как вы, я видел род людской,
На свете не было б сумятицы такой.

Уходит в соседнюю комнату.

М л а д ш и й о ф и ц е р
Васиф! Да что с тобой? Мечты, мечты, мечты…
С характером таким Меджнуном станешь ты.

В а с и ф
Пока предатель Ибн Емин не будет пойман мной,
Не соглашусь и на счастливый жребий я земной.
Не успокоюсь! Грех большой обманывать. Рена,
Какой цветок! И негодяю достанется она?!

М л а д ш и й о ф и ц е р
Когда идут турецкие войска
На выручку Кавказу и Ирану
И перед нами русские пока
Отходят, я, Васиф, увы, не стану
Давать поспешные рекомендации.
Не ставит мудрый личность выше нации.

В а с и ф
Все тлен. И пусть турецкие войска
Захватят Индию с Афганистаном,
И на своем пути издалека
Придут к Алтаю, — злостным ятаганом
Им цели не добиться — до тех пор,
Пока их изнутри грызет предательства позор...

М л а д ш и й о ф и ц е р
Да, если предают — повсюду, ежечасно, —
Народ на это смотрит безучастно...

В а с и ф
Захватывает Турция страну, и тем не менее
Немедленно в политике терпит поражение.

Растерянность правителей, безумство вожаков...
Награбил и, бесчинствуя, ушел... И был таков...
(Задумался, затем — резко и сурово)
Но больше, чем могучий меч, народу
Нужна культура. Жаждущему — воду.

Младший офицер
(вернувшемуся Арифу)
Кто люди, что ушли отсюда?

Ариф
Это —
Арабский конный офицер и девушка одна.

Васиф
Мы опоздали. Не смогли поймать. Примета?

Младший офицер
Примета? Нет! Судьба догнать должна
Бегущего.

Васиф
Не медли, быстро — в путь!

Младший офицер
(смеясь)
Сегодня их догоним как-нибудь.
Считай, они уже в твоих руках.

Оба выходят из покоев и спешат по стопам бежавшего Ибн Емина. Ариф, удивленный, стоит, наблюдая за ними. Растерянного, его сокрушают печаль и скорбь. На сцене снова полутьма. Перед Арифом появляется хохочущий Дьявол.

Ариф
Опять явился?! Превратись ты в прах!
Сгинь!

Дьявол
Ты еще ребенок, дорогой!
Ариф, послушай, выбери другой,
Чем твой — наивный и бездумный — путь,
Не поддавайся чувству, храбрым будь!
Борись, безволие свое отбрось!
Хотя с тобой мы существуем врозь,
Я вижу все. Не будь ребенком, друг, —
Рена твой покорила мягкий дух
И властвует над чувствами Рена.
Как только с ней расстанешься, она
С твоим соперником тебе назло
Посмеет изменить…

Ариф
Мне тяжело…
Но ты меня не переубедишь.
Ты вероломен, зол, коварен… Кыш!

Дьявол
Из-за упрямства твоего страдать тебе.
Настанет день — раскаешься, судьбе

Ты покоришься, братец, но, увы,
Уж больше не поднимешь головы.
(В одной руке держит пистолет, мешочек с золотом — в другой.)
Возьми! Прижми, Ариф, к своей груди.
Возьми — успех увидишь впереди.
Бери! В одном — огонь, в другом — кумир.
(Стреляет.)
В огне тебе раскроется весь мир.
Огонь приводит в ужас всех врагов.
(Отдает Арифу золото.)
Ты слышишь звон монет — могучий зов.
Без них не слышно райских голосов.

А р и ф
(В ярости швыряет пистолет и золото.)
Довольно! Сгинь! Возьми свои дары!
Нужны Арифу звездные миры,
На что мне это золото-свинец!

Д ь я в о л
Оставь свой бред, смирись ты, наконец,
Тщедушие и слабость растопчи!
Мои заветы твердо заучи!
(С хохотом удаляется.)

А р и ф
(после колебаний и раздумий)
Возможно ль мне глядеть со стороны
На то, что погубить любимую должны?!
(с суровой решимостью)
Нет, должен я — и сей же миг — идти,
Чтобы любовь от гибели спасти.

Уходит.

Д ь я в о л
(Появляется, саркастически хохоча.)
Ступай, ступай ты, но имей в виду:
Любовь родит кровавую вражду.
Ступай, твой путь грозит тебе бедой:
Нет дружбы, что не стала бы враждой,
И жалость станет злобой неспроста,
И ненавистью станет доброта…
(Долгий раскатистый хохот.)

Занавес

Из книги «Пьесы», т. 2.
Гусейн Джавид. — Баку: Язычы, 1982.



ГУСЕЙН ДЖАВИД

Женщина Востока

Вчера и сегодня

Вчера еще цвела в очах огней игра,
Сегодня горечью они полны до дна.
И речь, веселая и бодрая вчера, —
Сегодня тягостным унынием полна.
И песня грустная чуть тронула уста,
Уснула в ней навек вчерашняя мечта.
На все тебе судьба нежданный шлет ответ,
Забудь скорее дни тяжелых неудач,
Еще вчера счастлив ты был — сегодня нет;
Вчера ты нищим был — сегодня ты богач,
Забудь же поскорей печальные мечты:
Никто тебя не знал — сегодня знатен ты.

Стал мир совсем иным — нельзя его узнать,
И превратилось в кровь вчерашнее вино.
Обеты прежних дней не может мир сдержать.
Руины, и дворцы, и хижины — одно.
Богатство потерял тот, кто вчера блистал,
Вчерашний лютый враг любимым другом стал.

Все в жизни движется, меняется, течет,
Законы новые сегодня жизнь ввела.
Наука за собой открытия влечет —
Сегодня новый день и новые дела.
Побед и поисков открылися пути —
К законам старым нам дороги не найти.
Величье прежнее лишь возбуждает смех,
Законы новые родятся каждый день;
Законы старые уходят без помех,
И поглощает их навек глухая тень.
Желанной истины возник слепящий свет
И прорезает мглу невежеству в ответ.

Безмятежная душа

О ты, властелин мой, источник сил,
Душа безмятежная, больно мне видеть тебя без крыл!
Когда бывает твой лик уныл,
Тогда мне грусть не одолеть!
Ведь знала счастье и радость труда:
Жила, вдохновленная песнею, молода.
А нынче в себя погрузилась, горда…
Зачем отвернулась от мира, ответь?

Во всем ты видишь презренную ложь,
Обманута ты, но солнце восходит все ж.
Любовь, и верность, и слезы найдешь,
Душа, — все будет нам дано судьбой!
Не быть обманутой — твой ли обет?
И разве грядущее и настоящее — лишь навет?
Не хочу я, чтоб ты горевала, нет!
Не могу я больше мириться с тобой!

Довольно сердиться! Тебя мне жаль.
Смотри: обмануты люди, а верят, стремятся вдаль,
На счастье надеются, гонят печаль,
И верят в счастье свое они!
Взлети в просторы, весельем дыша,
Отбрось сомненья и, крылья свои распрямив, душа,
Лети за любовью, неправду круша,
И радости жизни прочь не гони!
Бесстрашно борись со своей тоской:
Порой и в отчаянье можно найти покой, —
Люби и плачь — исцеленье в тебе самой.
Высокие чувства свято храни!

Перед богиней войны

О месть искрящая на огненных крылах,
О ты, богиня войн, дракон нещадно злой,
Ты нагляделась всласть на кровь, крушенья, прах:
Трагедию кончай и занавес закрой!
О гений катастроф, довольно сеять жуть,
Оставь свою игру! Пусть вольно дышит грудь!

От ужасов твоих трепещет белый свет,
Стенает под пятой не только род людской —
В земле и под водой живым пощады нет,
И даже хищники, объятые тоской, —
Пантеры, львы — вопят: «Спасения от бед!..»

О мечущая гнев, побед слепой творец,
Довольно! Мир устал! Устанешь ты когда?
Все в распрях и борьбе измучились вконец,
Дай кровь земле впитать, исчезни без следа!
Покоя жаждет мир, свободы ждет народ,
Надеждой сладкою на лучший день живет.

Пока здесь правит зло, — в загоне тишина,
Хоть свет, в конце концов, родится в тьме ночей…
Свобода — неженка, для счастья рождена:
Пока земля в крови, — не улыбнется ей.
А злой закон земли живет с седых времен;
Какой бы ни был бог, — до крови алчен он.

Но тьма рассеяна, зло втоптано во прах.
Надежды торжество в заре знамен цветет,
Лучат глаза тепло, улыбка на губах:
То справедливость к нам желанная идет!
Но вольность на земле — не сладкие ль мечты?..
Свобода, отзовись! На свете есть ли ты?..

Женщина Востока

Кем я была? Забитой женщиной Востока!
Кто я была? Не спрашивай об этом! Женщина Востока.
Жила я существом, никем не обретенным, женщина Востока.
И душу мне терзали когти
проклятого и грубого невежды, женщине Востока,
Не знала я ни счастья, ни надежды, женщина Востока.
Истории заржавленные цепи
меня безбожно молотили
и черной шалью суеверий
глаза мне застилали, женщине Востока.
Когда ж взывала к правде, —
закон и вера насмехались
над тем, что я томлюсь в печали, женщина Востока.
Нет, я не солгала, поверьте,
поклонники ко мне тянулись,
ведь я была красива, женщина Востока.
Я утопала в кружевах и шелке,
в чертоге, словно сказочное диво, женщина Востока.
Я плакала смеясь,
к тюрьме привыкнув, —
клетке золотой,
игрушка в лапах вожделенья, — женщина Востока.
«Прекрасна ты», — ласкал меня
султан,
но мог меня отдать
другим в час пресыщенья, женщину Востока.
Лениво усмехнется он:
«Она игрива, женщина Востока…»
О, сколь убога жизнь моя, — женщины Востока.
То бросят в бурный Нил меня, женщину Востока.
А то отправят на костер,
я — жертва равнодушья бога,
пылая, превращусь во прах я — женщина Востока.
Еще мне тягостней, коль я невзрачна, —
швырнут немедля,
и погибну в ямах, в колодцах иль во рвах я — женщина Востока.
Сносила все безропотно, без стона, женщина Востока.
Да, я была ничто,
пощечина — обычный мой удел,
была беспомощней букашки малой, женщина Востока.
Теперь же, от тех терний вдалеке,
смеюсь, играя,
и радость чувствую под сенью небосклона, женщина Востока.
Нет, не ползучее я существо,
Я саван тьмы не надеваю,
возвышен нынче мозг мечтою — женщины Востока.
Свободной женщиной Востока
я гордо воспарила в дали,
лечу сквозь необъятное пространство
я розовой звездою — женщина Востока.

Улыбнись

Цветок души, улыбнись! Твоя улыбка нежней
Всего, что в мире большом мне счастье дарит, пьяня,
А шелест крыльев твоих, мой утренний соловей,
На выси творчества вмиг всегда возносит меня.

Зачем на светлом лице туман неведомых бед?
Зачем течет по щекам слезинок нежных роса?
Ведь если сквозь стену туч проглянет солнечный свет,
Твоя улыбка взлетит, как радуга, в небеса.

Твоя улыбка равна странице жизни моей!
Тебе неведом самой предел твоей красоты!
Играет нежность в тебе, как волны в шири морей!

Цветок души, улыбнись! Сорви стесненья печать!
Меня своей красотой, как цепью, сковала ты!
Как раб стою пред тобой, как столп — я должен молчать.

Любовь цветка

Милая, золотоволосая девочка в саду
играла, ангелоликая, у матери на виду.
Заметив, что сеяла мать семена,
горя любопытством, спросила она:
— Что сеешь ты, мама?
— Я сею цветы.
Они над травою взойдут для тебя
такой сине-белой земной красоты,
что станешь ты с ними играть, их любя.
— Не стану… Отдельно хочу посадить…
В сторонке… И буду сама их растить.
— Возьми, мой ягненок, себе семена
и сей их… Сама ты, как цветик, нежна!
С восторгом девчушка сажала цветы,
раскидывала по земле семена.
Шли дни, и иные пришли времена —
сад буйно зацвел, и цветы, и кусты.
И солнце сияло, и грела весна,
улыбка смогла целый мир озарить.
А где нежный ангел?
В могиле она,
ее от сна уже не пробудить!

В женской школе

— Как звать тебя, голубушка?
— Гюльбахар меня звать.
— Есть у тебя родители?
— А как же! Отец и мать.
— Богат ли отец? Велика ли родня?
— Лишь бекского званья родня у меня…
— Коль так, отчего ж ты в нарядах простых?

Не вижу сережек, колец золотых, —
отвечай, не смущаясь…
— В доме немало добра,
но учительница нас учит, что это — мишура.
Украшение девушки — свет знания и чистоты.
— Верно, милая… Но кого же всех больше любишь ты?
— Всех больше люблю аллаха, сотворившего естество.
— А еще?
— Кроме аллаха люблю посланцев его.
— А нет ли еще любимых?
— Есть!
— Кто ж он такой?
— Мать, отец, учительница и весь род людской.

* * *

Той, с распущенными волосами, отдаю душу мою,
в темницу ввергла своими руками красавица душу мою,
просил я ее: «Отпусти на свободу душу мою!»
Но цепями волос оплела — зря молю я — душу мою.
Пленен христианской ее красотою,
сжигает, как бабочку, дивной свечою душу мою.
Вышел Юсиф любоваться цветами,
любимая душу закрыла камнями, душу мою.
Неверного дочь душа моя обожала,
но она в развалины превращала душу мою.
Все думы мои о встрече, живу я с тоской,
окрасила кровью она, сверкая красой, душу мою.
Она отвела мою верную руку,
она обрекла на бессонную муку душу мою.
И стал я у шейха мюридом, отвержен,
и в пламени боли я сжег, безутешен, душу мою.

Уходи

Не хочу я слышать слова про любовь и страстную дрожь,
Уходи! Я знаю тебя! Все твои уверенья — ложь.
Уходи, красавица, прочь! Знаю цену твоей любви,
Все понятно: скоро себе ты другого друга найдешь.

Если даже ты ангел — прочь, лицемерная, отойди!
У того, кто верит тебе, хаос чувств бушует в груди.
Понял я закон христиан! Мне довольно горьких обид!
Раны сердца, кафира дочь, понапрасну не береди.
Мне казалось, что ты проста, ангел ты — я думал всегда.
Что же делать? Душе моей ты все время была чужда.

Не могу я верить тебе и любить тебя не могу,
Или это была любви и влюбленности череда?
Не толкуй мне больше про страсть и про неги сладостный плен,
Я постиг, что это обман. Наслаждение мира — тлен.

Не видел

Оглушенный, я поддался крику сердца моего —
И, влюбленный, кроме боли, я не видел ничего.
Жаждет верности красавиц истомленная душа.
Кроме горемычной доли, я не видел ничего.

Розы без шипов не видел и сияния без тьмы,
Только влюбимся — и сразу жить должны в разлуке мы.
Верят в вечную усладу только жалкие умы,
Кроме ветра в чистом поле, я не видел ничего,

Я видал так много слабых исстрадавшихся сердец,
Я жалел людей, не зная, где двурушник, где подлец.
В тех, кого считал я другом, разуверился вконец.
Кроме гадов — им раздолье! — я не видел ничего.

Скрыта горечь за любовью, за улыбкой скрыта лесть.
Наше счастье — бледный отблеск зорь, которым не расцвесть.
Может статься, ошибаюсь? Все, что здесь привел я, — есть.
Кроме злобы и неволи, я не видел ничего.

Не радуйся чужому горю

Не радуйся чужому горю, милый,
Злорадство брось, не смейся над бедой,
И не встречай улыбкою постылой
Того, кто схвачен горькою нуждой.

Насмешка, едкое словцо порою
Ножом пронзают сердце на года.
И помни: тот, кто ранен был тобою,
Уже не исцелится никогда.

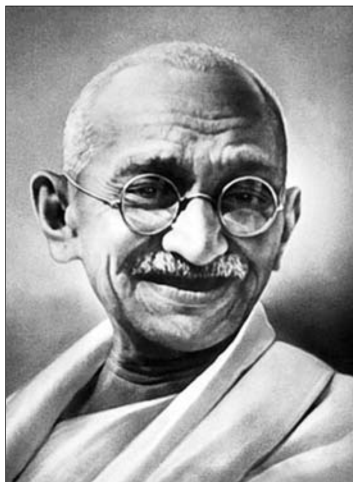
Не оскорбляй! А волю дашь гордыне
И оскорбишь — откроешь мести путь.
Заплачет завтра, кто смеется ныне.
Не рань других, всегда отзывчив будь!

Из книги «Женщина Востока».
Гусейн Джавид. — Баку: 1982.

От редакции

Редакционно-издательское учреждение «Литература и Искусство» в 2011 году в серии «Библиотека всемирной литературы» планирует издать книгу избранных произведений Г. Джавида, в которую целиком будут включены пьесы «Шейх-Санан», «Дьявол», а также другие произведения поэта. Кроме того, и журнал «Нёман» в одном из номеров следующего года, в рубрике «Сябрына», еще вернется к творчеству этого известного классика азербайджанской литературы.





Публикуемые ниже материалы, частично представляющие великую литературу Индии, приурочены к двум датам, широко отмечаемым в мире: Дню рождения выдающегося философа и гуманиста Махатмы Ганди (2 октября) и Международному Дню ненасилия (также 2 октября), учрежденному Генеральной Ассамблеей ООН в 2007 году в честь борца за независимость своей страны и его стратегии отказа от применения насильственных методов борьбы.

*Бхагавадгита, или Песнь вседержителя**

Глава 15

Йога высочайшего духа

Шри-Бхагаван сказал:
1. Древо есть: коренья — кверху, ветви — книзу, гимны — листья;
Чтут его нетленным; Веды знает тот, кто знает древо.
2. И вверх и вниз простерты сучья-гуны,
Объекты чувств — древесные побеги,
А корни, что, сплетаясь, вниз уходят,
Мир человеческий связуют кармой.
3. Нельзя постигнуть древо в этом мире —
Его конца, начала и основы,
Но корни, что ушли глубоко в землю,
Срубить оружьем отрешенья должно,
4. А после встать на путь, идя которым,
Назад уже никак не возвратиться, —
И там предаться истинному Духу,
Что древле дал основу проявленью.
5. Вне чванства, заблуждений, ложных связей,
Постигнув вечный Дух, отринув похоть,
Оставив двойственность несчастья-счастья, —

---

*Бхагавадгита» — памятник древнеиндийской литературы на санскрите, часть «Махабхараты», состоит из 700 стихов. Считается, что «Бхагавадгита» может служить практическим руководством как в духовной, так и в материальной сферах жизни. Часто «Бхагавадгиту» характеризуют как один из самых уважаемых и ценимых духовных и философских текстов не только традиции индуизма, но и религиозно-философской традиции всего мира. Текст «Бхагавадгиты» состоит из философской беседы между Кришной и Арджуной — воином и одним из пяти братьев-принцев клана Пандавов.

Идет познавший вечною стезею.
6. Попадают без возврата в горнюю Мою обитель;
Не блистают в ней ни солнце, ни луна, ни свет инакий.
7. Вечная Моя частица, тварь живая, в бренном мире
С чувствами шестью сражаясь, попадает в плен к природе.
8. И, как ветр уносит запах от истока, так Ишвара[1],
Захватив, уносит манас с чувствами, меняя тело.
9. Он, владея слухом, зреньем, осязаньем, обоняньем,
Вкусом, — окруживших манас, — пользует объекты чувства.
10. Его, что покидает плоть,
Живет в ней волхвованьем гун, —
Не может разглядеть глупец,
Но видят очи мудреца.
11. Да подвизавшийся йогин
Зрит явственно его в себе,
Но тот, кто бездуховен, глуп,
И подвизавшись — не узрит.
12. Осознай: сверканье солнца, что юдолье осеняет,
Свет луны, огня сверканье — только от Меня исходят.
13. Я, землею став, всю живность содержу Своею силой;
Я — растения питаю, став луной, дающей соки.
14. Я — огонь пищеваренья в теле всех существ живущих;
Я — сравняв апану с праной, емлю четверную пищу[2].
15. Я — расположен в сердце каждой твари
И от меня — забвенье, память, знанье;
Я — то, что познается через Веды, —
Творец Веданты и познавший Веды.
16. Существуют два Пуруши: грешный и непогрешимый.
Грешный — в существах живущих, а безгрешный — в горнем мире.
17. Есть иной Пуруша, высший — Сверх-Атман, Сверх-Дух верховный,
Что, объяв Собой три мира, держит их, господь нетленный.
18. Я — греховного Пуруши и безгрешного — превыше,
Потому и числим в Ведах и в мирах Пурушоттамой[3].
19. Тот меня, в том не колеблясь, знает, как Пурушоттаму, —
Знает все, и беззаветно служит Мне, о сын Бхараты.
20. Так сокровенный смысл всех шастр
Поведан, о безгрешный, Мной.
Познавший это — станет мудр,
В усильях станет совершен.

Так в святых упанишадах всеблагой Бхагавадгиты,
Поученьи о Брахмане, поучении о йоге,
В сокровеннейшей беседе Вседержителя с Арджуной
Часть сия гласит о Йоге Высочайшего Пуруши[4].

Перевод с санскрита Глеба Артханова.

---

[1] Ишвара — здесь господин тела.
[2] Пища, которую нужно: глотать, пережевывать, лизать, сосать.
[3] Пурушоттама – Высочайший Дух, Верховная божественная личность.
[4] Здесь Вселенская форма Бога (Пуруша) — вселенский человек, который включает в себя все планеты и всех полубогов. В теле наряду с индивидуальной душой пребывает и Сверхдуша, Параматма, которая и есть Владыка Жертвы.

ХАРИНДРА ДАВЕ

Перед тем как уйти

Повесть

Итак, в запасе у него только двадцать четыре часа. Неужели только двадцать четыре часа?

Он вспомнил факира. Что только не вытворял этот чудаковатый заклинатель змей! Курил какими-то удушливыми благовониями, от которых занимало дыхание и начинался кашель.

— Будь милосерден, господи! Будь милосерден, господи! Будь милосерден, господи! — шептал он, словно заклинание.

Потом он извлек что-то из кармана своей зеленой накидки, похожей на широченный балдахин, и бросил это на раскаленную добела жаровню. Дым моментально стал другим, но главное — утихла боль, а воздух сделался еще более удушливым.

Когда дым слегка рассеялся, он увидел, как заклинатель извлек из корзинки кобру и, усадив ее к себе на ладонь, стал что-то негромко нашептывать ей. А змея важно кивала ему в ответ, будто и в самом деле понимала язык, на котором к ней обращался ее хозяин.

— Хорошо, господи! Очень хорошо! — немного нараспев проговорил факир, покачивая головой в такт своим словам. — Да, понимаю! Это знает только пра-прапрадед, пребывающий ныне в царствии седьмого моря.

Он снова бросил что-то на жаровню, и все помещение заволокло дымом. Но на сей раз дым был сладковатым и пряным. Когда языки пламени угасли, факир виртуозным движением фокусника выхватил из огня кусок раскаленного угля и некоторое время беззаботно играл с ним, словно с цветком, перебрасывая с руки на руку, потом поднес его к губам и стал нашептывать какое-то заклинание, после чего приложил уголь к месту укуса на ноге Аалока.

Тот вскрикнул, скорее от ужаса, ибо боли он не почувствовал. Факир рассмеялся.

— На место! — скомандовал он кобре, и змея моментально свернулась в кольцо и исчезла в корзинке. — Этот укус, — продолжил он, обращаясь уже к Аалоку, — тебе послание от Варуна, бога воды. Особый знак! Часть смертельного яда уже вышла из тебя вместе с огнем. Но что-то все еще находится внутри. Я не знаю, как скоро эта отрава разольется по твоим жилам. Но думаю, что в запасе у тебя есть только сорок восемь часов, не более. Что будет потом, сказать не берусь.

— То есть?

— Потом будет так, как захочет Всевышний. Когда именно яд достигнет пуповины, связующей тебя с этим миром, я не знаю. Смиренно жди своей участи, бабу. Я слышал о нескольких счастливцах, которые выжили после такого укуса змеи. Правда, видеть этих людей воочию мне не довелось.

— Ты хочешь сказать, что были люди, на которых не подействовал смертельный змеиный яд?

— Это не яд, бабу! Не говори так! Тебе был послан божий дар, знамение свыше. Ты получил благословение небес. А с ним даже смерть превращается в награду.

— Смерть? Значит, я умру? — Аалок почувствовал, как у него непроизвольно задрожали губы.

— Неужели ты так дорожишь своим бренным телом, бабу? И потом, бог даровал тебе еще сорок восемь часов жизни! Воистину, бесценный дар! Вот я, к примеру, не знаю, что станется со мной уже в следующее мгновение. А у тебя в запасе целых сорок восемь часов! Прожить так долго — невероятная удача для любого смертного.

Да, целых сорок восемь часов, из которых двадцать четыре уже прошло. Он уже почти забыл все, что было в его жизни раньше, до приезда сюда, на побережье залива, в деревню Урад. Все произошло как-то очень внезапно, и решение приехать сюда у него возникло спонтанно. И почему именно в Урад?

А ведь еще несколько дней тому назад он готовился к собственной свадьбе. Но скончался какой-то родственник его невесты Манджари, и свадебные торжества пришлось отложить.

Они встретились накануне того дня, когда должна была состояться их свадьба.

— А ведь завтрашний день мог быть совсем иным! — грустно вздохнула девушка.

— Да, — коротко ответил он.

— Ты сегодня какой-то странный, совсем на себя не похож: сидишь с отрешенным видом и все время молчишь. Что-нибудь случилось?

— Ничего. Я просто слушаю.

— Кого? Я ведь тоже молчу.

— Я вслушиваюсь в те слова, которые мы с тобой говорили раньше.

— Разве ты помнишь их?

— Не уверен. Сейчас мне кажется, что я забыл даже то, что хорошо знал когда-то. Ладно, хватит печальных разговоров. Пойдем-ка лучше в кино!

— Что ты! Прошло еще только восемь дней после смерти дяди. А вдруг в кинотеатре будет кто-нибудь из знакомых?

— У тебя столько родни, все эти бесчисленные дяди, тети, братья, сестры… Тебе не кажется, что среди такого обилия близких можно легко затеряться?

— О, нет! Напротив! Когда рядом со мной нет никого из родственников, мне всегда так одиноко.

— Да, у тебя все в жизни по-другому. Ты родилась в большой семье, не то что я. А у меня в доме пусто, ни единой живой души. Ты не умрешь в моем доме от тоски, когда войдешь в него на правах жены?

— Но ведь ты же будешь рядом!

— Я? Кто знает, где я буду и что со мной станется! Жизнь так непредсказуема, Манджари, — Аалок тяжело вздохнул.

Они распрощались с тяжелым сердцем, а ночью он купил билет на поезд до станции Урад.

Поезд прибыл поздно ночью, на платформе маленькой железнодорожной станции горел тусклый свет, и было пусто.

— Когда начнут ходить автобусы? — поинтересовался он у начальника вокзала. — Мне нужно добраться до деревни.

— Первый автобус отправляется в восемь утра, по прибытии семичасового утреннего поезда.

— А зал ожидания у вас тут имеется?

— Нет, но можете устроиться на скамейке, правда, если найдете там свободную. Сейчас я помогу вам. — Он ткнул палкой в мальчишку, устроившегося на одной из скамеек. — Эй, ты! Вставай!

— Не трогайте его, пусть спит!

— Вы не знаете этих воришек, сэр! Кому сказано! Живо поднимайся! Освободи место для сахиба!

Полусонный мальчишка стал испуганно протирать глаза, потом торопливо сгреб со скамейки свои пожитки и перебрался к ограде.

— Устраивайтесь, сэр!

— Да, но этот мальчик...

— Ничего с ним не случится! Поспит и на земле! Чего его жалеть? Животное оно и есть животное!

К станции приближался товарняк. Начальник вокзала заторопился к путям, раздавая направо и налево команды засуетившимся рабочим.

— А зачем вам эта деревня? — вернулся он к Аалоку через некоторое время. — Она же буквально на корню вымирает… Сейчас там живут только старики, вдовы да сироты.

— Мне сказали, что в тамошних местах очень хорошее море и замечательные пляжи. В мире есть еще только два места, которые могут сравниться с этими пляжами: Брайтон и Марина.

— А больше вам ничего не сказали?

— Что именно?

— Вы, случайно, не любитель выпить? — напрямую поинтересовался у него начальник вокзала.

— Нет! С чего вы взяли?

— Тогда зачем вам этот Урад?

— Я не совсем вас понимаю.

— Да все проще простого! После того как в Дамане построили порт, в здешних местах жизнь умерла. Когда-то у деревенских был очень прибыльный бизнес: они гнали отличную самогонку из пальмового сока. Даже полиция смотрела на их занятия сквозь пальцы. Если полицейские и заглядывали в Урад, лишь затем, чтобы содрать с самогонщиков дань. А потом все изменилось. Сегодня тодди можно купить где угодно, на том же рынке в Дамане. Зачем тащиться в такую глухомань?

Аалок закрыл глаза, пытаясь уснуть. И в тот же момент почувствовал, как кто-то тяжело дышит возле самого его уха. Он снова открыл глаза: большой белый пес стоял возле скамейки и смотрел на него, высунув язык. Кажется, его тоже удивило появление незнакомого человека в этих забытых богом местах. Мимо с грохотом и свистом пронесся очередной товарняк. Аалок отогнал собаку и сделал еще одну попытку заснуть.

Он прохватился от шума. На перроне было полно людей: какие-то женщины с кувшинами молока, тщательно завязанными белыми тряпицами, крестьянин, еще один мужчина, по виду похожий на делового человека, между ними проворно сновал чумазый бродяга. Все эти люди с откровенным любопытством рассматривали его, словно какое-то диковинное животное. Аалок оглядел себя. Нет, с его одеждой все в порядке. Потом проверил карманы: бумажник тоже на месте.

— Вам куда? — участливым тоном поинтересовался у него человек, который показался ему похожим на бизнесмена.

— В Урад.

— И где же вы там собираетесь остановиться?

— В гостинице.

— Там их две. Одна принадлежит христианской миссии.

— И какая лучше?

— Та, которой ведает местный: пансион Пателя. Там, во всяком случае, хоть еда сносная. И своих постояльцев он потчует тодди в любое время дня: разливает по фирменным бутылкам и — пожалуйста!

— Меня не интересуют горячительные напитки!

Собеседник посмотрел на него с явным осуждением, будто он только что сказал откровенную глупость.

— А вы сами зачем туда едете? — спросил у него Аалок только затем, чтобы что-то спросить.

— По делам.

— И что за дела?

— Так, ничего особенного. Какие у нас тут могут быть дела? Городские все подобрали на корню. А что осталось, правительство душит налогами.

Аалок мысленно улыбнулся. Целая наука — уметь говорить так, чтобы ничего не сказать. Но вот подошел автобус, и люди бросились штурмовать его, торопливо занимая свободные места. Усевшись возле окна, Аалок стал разглядывать публику в салоне. Очень скоро он уже пожалел о том, что сел именно у окна, потому что от соседа справа невообразимо воняло. Он уже готов был встать и уступить место какой-то старухе, с трудом втиснувшейся в автобус в числе последних, но та стала отчаянно ругаться с кондуктором, который якобы обсчитал ее, оставив без внимания благородный жест Аалока.

Дорога была скверной: автобус все время швыряло из стороны в сторону, занося на поворотах. Аалока мутило от качки и от запахов вокруг.

Наконец показалась его деревня. Не успел он выйти из автобуса, как кто-то услужливо выхватил из его рук саквояж.

— Это весь ваш багаж?

— Да, это все.

— И куда мы направляемся?

— В гостиницу христианской миссии, — выпалил Аалок первое, что пришло ему в голову.

С громким лаем навстречу им выбежал пес. «Томми, Томми», — послышался негромкий голос, следом шла женщина, торопливо поправляя на себе фартук. Должно быть, в молодости она была настоящей красавицей, мелькнуло у него. Да и сейчас женщина еще очень хороша: правильные черты лица, статная фигура. Какое-то мгновенье она молча рассматривала Аалока, а потом сказала с улыбкой:

— Добро пожаловать!

Хозяйка лично проводила его в комнату, дав распоряжения мальчику-слуге отнести туда его вещи.

— Устраивайтесь! — обратилась она к Аалоку. — А я пока пойду заварю чай и приготовлю вам легкий завтрак с дороги. — Она подошла к двери в глубине комнаты. — Здесь выход на веранду. Оттуда открывается красивый вид на залив, можно поставить кресло и отдыхать там, любуясь морем.

Оставшись один, Аалок осмотрелся. Письменный стол с зеркалом свидетельствовал о том, что им можно, в случае необходимости, воспользоваться и как туалетным столиком. Возле стены легкая кровать, похожая скорее на походную раскладушку, с плотным сетчатым пологом от москитов, два стула, кресло на веранде. С веранды и в самом деле открывался потрясающий вид на море, которое плескалось буквально в двух шагах от дома.

Он сел на кровать и задумался. Как-то нехорошо он повел себя с Манджари, ничего не сказал ей и уехал, сам не зная куда. А ведь она станет звонить ему, начнет искать, узнает, что и на службе его нет, побежит к нему домой и увидит, что дом заперт снаружи. Ясное дело, Манджари будет волноваться. И ее отец, и мать, и тетушка, они все тоже начнут переживать вместе с ней. В конце концов, она узнает, что он в Ураде, попытается дозвониться ему сюда. Быть может, даже соберется и приедет.

Но что будет к тому времени, кто знает. Возможно, все тогда будет иным.

За завтраком к Аалоку снова подошла хозяйка гостиницы и уселась рядом. А она все же очень красивая, решил он, рассматривая женщину вблизи. И лет ей можно дать сколько угодно, от двадцати пяти до сорока, в зависимости от того, какими глазами посмотрит на нее мужчина. Впрочем, несколько тонких прядей седых волос, пробивающихся в копне густых, окрашенных в желтовато-коричневый цвет волос, говорили о том, что последняя цифра, скорее всего, более достоверная.

— Меня зовут Кристина, — легкая улыбка тронула ее губы. — Кристина Веллворт.

— А меня зовут Аалок. Просто Аалок. У вас здесь очень красиво.

— Вам нравится? Многие считают, что места здесь заброшенные и у нас тоскливо. Но лично я люблю, когда тихо. Я почти в полном одиночестве прожила тут уже целых двенадцать лет. Как вам наша еда?

— Все очень вкусно. Спасибо, — проговорил он, с трудом запихивая в себя кусок безвкусной лепешки из грубой пшеничной муки. — Присоединяйтесь, пожалуйста, к моей трапезе.

— Спасибо, но не сейчас. Как-нибудь в другой раз, если вы решите задержаться у нас подольше. Вы ведь впервые в Ураде?

— Да.

— Специально приехали?

— Нет, просто чтобы отдохнуть.

Кристина окинула Аалока изучающим взглядом, словно пытаясь определить по его внешнему виду, говорит ли он правду.

— А у вас в гостинице есть еще отдыхающие? — спросил он, не поднимая глаз.

— Господь с вами! Откуда? Кто потащится в Урад в такое время? Тем более, рядом Даман, портовый город.

— Такое красивое место и пустует. Жаль! Неужели люди не знают, как здесь красиво?

— Ах, мистер Аалок! Можно мне вас так называть? Не это считалось у нас главной достопримечательностью! Если вы хоть раз попробуете тодди, который варят в нашей деревне, то ни один, даже самый первоклассный ром не заменит вам впредь его вкус. Вот это настоящий напиток для мужчин!

— Боюсь, я не смогу оценить его вкусовые качества по достоинству, ибо не употребляю спиртного. Но о вашем тодди я уже наслышан.

— Раньше у нас тут от клиентов отбоя не было. Особенно в такую пору года. Мы даже ставили палатки во дворе, чтобы разместить всех желающих. Но после того как в Дамане построили порт….

Необычный разговор получился у нее с клиентом, подумала Кристина, заинтригованно глядя на Аалока. Раньше у нее таких разговоров не случалось. И сам этот человек какой-то необычный. Она перевела разговор на другое.

После обеда Аалок улегся в кресло на веранде и, закрыв глаза, стал вслушиваться в ритмично набегающие волны морского прибоя. Стоя по колено в воде, двое мальчишек пытались сетью поймать какую-то рыбу. До него долетали их азартные крики. Волны прибоя сливались с их голосами, создавая причудливый звуковой фон. Ему стало казаться, что все это он слышит и видит впервые. А потом безмятежность исчезла, и его вдруг охватило беспокойство. Он подхватился с кресла, вернулся в комнату и, усевшись за письменный стол, схватил перо и приготовился начать писать. Мельком увидел собственное отражение в зеркале и тут же отложил перо в сторону. Из зеркала на него смотрело совершенно чужое лицо. Лоб стал шире, глаза запали и смотрят печально. Скулы заострились, а некогда пухлые румяные губы сжались в одну узкую прямую полоску.

Аалок не помнил, сколько он просидел, бездумно пялясь на собственное отражение. Он вышел на улицу и направился к воде. Песок на берегу был мокрым, начинался отлив. Море отступало, оставляя после себя десятки маленьких крабов и прочих мелких обитателей глубинных вод. Такое впечатление, словно какой-то неизвестный художник взял и изобразил всех этих океанических жителей прямо на песчаной отмели. Аалок хотел подойти поближе к воде, но мысль о том, что для этого ему придется наступать на еще живых насекомых и моллюсков и давить их, заставила повернуть назад. Он отступил на ту часть пляжа, где песок оставался сухим, и сел там. Песок под его руками был мягким, сыпучим, послушным. Не из такого ли песка строят всякие замки, подумал он. Впрочем, он ведь и сам был почти готов начать строить для себя такой же вот сыпучий замок. Сзади послышались чьи-то шаги. Аалок повернулся и увидел старика. Старик подошел поближе и с любопытством уставился на него.

— Вы не здешний, — сказал он после некоторой паузы. — Давно приехали?

— Сегодня утром. Я в Ураде впервые.

— И надолго в наши края? — поинтересовался старик, устраиваясь на песке рядом с ним.

— Сам еще не знаю. Но какое-то время пробуду у вас точно.

— Вы ведь остановились в гостинице христианской миссии, не так ли?

— Да.

— Тогда советую вам внимательно сверять все счета, которые эта леди станет вручать вам каждый день. Речи у нее медоточивые, а вот сама она… — старик замолчал.

— А вы чем занимаетесь? — спросил Аалок у старика. Ему не хотелось обсуждать с незнакомцем свою хозяйку.

— А чем здесь можно заниматься? Хожу целыми днями туда-сюда. Из дома — к морю, с моря — домой. Все в моей жизни уже в прошлом. Видишь вон то новое здание на востоке? А когда-то там стояли наши дома. Семейство Патхака было уважаемым в этих местах. Нас считали образованными людьми, — он посмотрел невидящим взглядом на трехэтажное сооружение на восточной части побережья. Испещренное глубокими морщинами лицо старика напомнило Аалоку те же причудливые узоры, которые оставило после себя море на прибрежном песке. Одни и те же следы оставляет время и господь, подумал он, и все равно, где: на прибрежном песке или на человеческом лице. Аалоку захотелось отвлечь старика от его невеселых мыслей.

— Дада! Дада! — почтительно обратился он к старику.

— Слушаю тебя! — грустно улыбнулся тот.

— Это море очень опасное?

— Опасное? О, нет! Ничуть! Ты можешь отойти от берега на целую милю, а воды все будет по колено. А потому если ты задумал здесь утопиться, сразу же говорю тебе: для самоубийц эти места неподходящие.

Самоубийство? Странно, эта мысль как-то не приходила ему в голову. А может, и в самом деле прогуляться по мелководью? Пройти эту милю, глядишь, к тому времени и созреешь для того, чтобы сознательно свести счеты с жизнью.

Он внимательно поглядел на старика, и тот, не выдержав его испытующего взгляда, отвел глаза в сторону.

— А сами вы пытались когда-нибудь покончить жизнь самоубийством?

Старик закрыл глаза и долго молчал. Так они сидели, не замечая, как бежит время. Аалок уже и не рассчитывал получить ответ на свой вопрос. Негромко рокотали волны, море продолжало отступать вглубь. Тени от кипарисов на берегу становились гуще и длиннее, наступал вечер.

Вдруг старик встрепенулся, словно стряхивая с себя оцепенение.

— Да. Однажды.

Аалок вздрогнул от неожиданности.

— Однажды я зашел в эти воды и шел по ним долго-долго, намереваясь покончить с собой.

Внезапно стало очень тихо. Дети молча тянули на себя бечевку разорванного змея. Море тоже застыло в неподвижности.

— Но почему? — воскликнул Аалок.

— Да это давно было. Тебя еще, поди, тогда и на свете не было, — старик снова замолчал, словно собираясь с мыслями. — Вечером накануне того дня мы о чем-то повздорили с женой. Я уже и не помню, из-за чего. Гомти обиделась на меня и постелила себе отдельно, в дальнем углу комнаты. Помню, она свернулась на своей постели калачиком, а потом и вообще отвернулась с обиженным видом к стенке. Я тоже был зол на нее и долго не мог уснуть. А среди ночи услышал непонятный шум. Вначале подумал, что это начинается шторм, но потом почувствовал, как заходила подо мной кровать. Будто какие-то страшные силы вырывались из земли. Я увидел, что Гомти тоже проснулась и в испуге уставилась на потолок. Внезапно земля содрогнулась, и раздался страшный скрежет. Жена попыталась встать, но в ту же минуту ее отбросило в сторону, а уже в следующее мгновение пол под ней разверзся, и она провалилась в бездну вместе с кроватью, полом, стеной дома и всем остальным.

Старик замолчал, потом заговорил снова, с трудом подбирая слова. Как его придавило сверху чем-то тяжелым и он потерял сознание. Как очнулся уже в полевом госпитале, который развернули сразу же после землетрясения: туда сотнями свозили людей, обнаруженных под завалами. Большая часть их деревни была стерта с лица земли. Вокруг него были чужие люди, все незнакомые лица. Несмотря на строжайшие запреты докторов подниматься с постели, он встал и даже попытался выбраться на улицу. Однако молодой солдат на вахте остановил его. Вместе с сестрой милосердия они кое-как отвели его назад, в палату. Сестра дала ему какую-то таблетку, и он забылся тяжелым сном.

Во сне ему снились исполненные ужаса глаза Гомти, тщетно пытающейся встать с лежака. Он проснулся среди ночи. Вокруг стонали тяжелораненые люди. Сестра дремала на посту. Он медленно поднялся с кровати, голова раскалывалась от боли и была тяжелой, словно камень. Невдалеке стояла колонна военных машин, прибывших для эвакуации людей.

Выбравшись за пределы лагеря, он медленно побрел в сторону моря. Он шел, а перед ним все время маячило лицо Гомти. Зачем она ушла от меня так? — снова и снова спрашивал он себя.

Он не заметил, как дошел до моря. Холодная вода обожгла ноги, и он побрел по отмели, размышляя о смерти. Он представил себе, как сейчас погрузится в морские пучины и вода начнет заполнять его легкие, вытесняя из них воздух, как станет трудно, а потом и невозможно дышать, и как, наконец, душа его покинет бренное тело. Разве это не просто?

Хруст ломающихся под его ногами ракушек вернул его к действительности: бесчисленное количество морских тварей лежало на мокром песке, и все они надеялись выжить.

— И тогда я повернул назад, — сказал старик. — Мелководье в этих местах тянется на мили от берега. Поневоле расхочешь умирать, пока дойдешь до глубины.

Аалок слушал его со смешанным чувством жалости и ужаса.

— А потом я женился во второй раз, построил новый дом, правда, уже в другом месте. У нас были дети, но бог не дал им долгой жизни и забрал всех еще в детстве. Два года назад тяжело заболела жена, и недавно я похоронил ее. А вот теперь жду, когда смерть, наконец, придет и за мной.

Старик с трудом поднялся с земли.

— Скажите! — вдруг неожиданно вырвалось у Аалока. — Скажите, а если бы в ту страшную ночь уцелели не вы, а ваша жена, она бы стала пытаться покончить жизнь самоубийством?

— Гомти? — у старика задрожали губы. — О, нет! Ни за что! — ответил он твердо. — Она бы просто сошла с ума.

В гостиницу Аалок вернулся далеко за полночь и долго не мог заснуть. Вначале мешала негромкая музыка, льющаяся откуда-то из внутренних покоев дома. Вполне возможно, из комнаты Кристины. Потом ходили какие-то люди, тихо переговариваясь между собой. Он даже услышал голос Кристины, а следом короткое рычание Томми. Потом стало тихо, и тогда стало слышно, как работает водяной насос, непрерывно качая воду. Интересно, кому это понадобилась вода в такое время, подумал он с раздражением. С моря подул свежий ветер, предвестник приближающегося утра. Он укутался с головой в одеяло, закрыл глаза и постарался заснуть.

— Вам не мешал наш насос? — спросила у него за утренним чаем Кристина. — Временами он работает с таким шумом. Но зато сегодня у нас заполнены водой все емкости. Как вам наша деревня?

— Красивая деревня.

— Да, у нас хорошо. Только вот жизнь умерла. Видели бы вы, что здесь творилось всего лишь каких-то десять лет назад. Мы с мужем валились с ног от усталости, обихаживая клиентов. Я в те годы была еще совсем девчонкой, только-только замуж вышла.

Аалоку хотелось спросить у хозяйки, что сталось с ее мужем, но он посчитал подобное любопытство бестактным. К тому же разговор был прерван появлением на крыльце пожилого господина, явно из местных.

— Доброе утро, Рустомджи! — приветствовала его Кристина. — Как поживаете?

— Спасибо, все хорошо. Слышал, у вас появился новый постоялец. Вот, хотел предложить ему покататься в моей повозке. Я бы показал ему пальмовый лес, в котором мы добываем сок для нашего тодди.

— Мой постоялец не из тех, кто интересуется выпивкой, — рассмеялась хозяйка. — А потому едва ли он захочет составить вам компанию.

— Напротив! — возразил ей Аалок. — Я с удовольствием прокачусь и взгляну на окрестности. Все равно ведь здесь больше нечем заняться.

Все дорогу его спутник живописал ему, какие благословенные времена были в Ураде раньше. Жизнь в деревне била ключом. К прибытию поезда на станцию там уже стояло не менее двадцати пяти повозок, поджидающих приезжих.

— А теперь, — с вздохом закончил свой рассказ Рустомджи, — на всю деревню осталась только одна моя повозка. Дети зовут меня к себе, в Бомбей. Но я не могу вот просто так взять и покинуть родную деревню. Очень я к ней привязан. Да и жена сильно болеет. У нее рак. Врачи говорят, что больше года не протянет. Куда же мне ехать сейчас?

Аалок подавленно молчал, не зная, что ответить. Вот была бы рядом с ним Манджари, она наверняка сумела бы найти какие-то слова утешения. Может быть, даже изъявила бы желание навестить умирающую женщину, чтобы хоть как-то приободрить ее.

— А правду говорят, что шестьдесят лет тому в ваших местах было страшное землетрясение? — спросил он, вспомнив ночной разговор со стариком на берегу моря.

— Да! Но мне повезло тогда! — Рустомджи снова тяжело вздохнул. — Я как раз гостил у своих родственников в соседней деревне. Там тоже были слышны толчки.

Обошлось без разрушений. Зато когда я вернулся сюда! Боже! Что я тут увидел… — Внезапно он остановил повозку возле одного из домов. Навстречу ему тотчас выбежала молодая женщина лет двадцати пяти в ветхом, но чистом сари. — Дживабхаи дома?

— Нет, он уехал в город. Проходите в дом, дядюшка. У меня уже готов свежий тодди.

Аалок тоже сошел с повозки.

— Идите-идите! — поощрил он своего спутника. — Я вас здесь подожду. Пить я точно не стану. Разве что, если в доме есть чистая вода.

— От нашего тодди вам вреда не будет, сэр! — засуетилась женщина, торопливо смахивая пыль со скамейки, прежде чем предложить ее гостям. — Вот дядюшка Рустом! Он может выпить полбочонка тодди за один присест!

— Э, нет, дорогуша моя! Те времена, когда я мог позволить себе такую роскошь, уже давно в прошлом! — усмехнулся Рустомджи. — Я Джамму знаю с пеленок, — пояснил он Аалоку. — Когда-то она работала у нас в доме. А потом вышла замуж, ее муж Джива занялся этим бизнесом и ее вот приохотил.

Джамма поставила перед ними два наполненных до краев стакана с тодди, и Рустомджи залпом осушил свой стакан до дна.

Аалок молча подвинул ему свой.

— Хотите, сэр, взглянуть, как мы готовим тодди? — обратилась к нему женщина.

Аалок посмотрел на осоловевшего Рустомджи, который уже начинал дремать, сидя на лавке, и молча кивнул головой.

Джамма подвела его к одной из пальм, растущих прямо во дворе, и показала, как сок стекает в сосуд, привязанный на некоторой высоте к стволу дерева.

— Вот вернется отец из города и снимет полный чан пальмового сока.

— А муж?

— Я с мужем не живу уже давно. Он у меня увлекается азартными играми. Напьется тодди до беспамятства, а потом днями играет в гади. Это у нас игра такая. Двое сходятся друг против друга, между ними проводится линия, за которую никому из них нельзя переступать. Вначале игроки что-то неразборчиво напевают себе под нос, а потом начинают колошматить друг друга до полного изнеможения. Проигрывает тот, кто первым начинает харкать кровью. Вот мой однажды выжрал целый бочонок тодди, а потом пошел играть и, конечно, проиграл. Прибежал домой и стал кричать, что это я во всем виновата, что это он из-за меня проиграл. А он ведь на кон поставил ни много ни мало, а наш дом. Так мы остались без дома. Тогда я собрала свои пожитки и вернулась к отцу. Хватит с меня такой замужней жизни! Уж лучше я стану старого отца досматривать.

Когда они снова вернулись в дом, Рустомджи все еще спал. Аалок решил не будить старика и отправился в гостиницу пешком. Деревня и в самом деле казалась вымершей. Сонное царство какое-то, подумал он, вышагивая по пустынной улице. На верандах некоторых домов были натянуты гамаки, и там предавались сладкой дреме пожилые мужчины и женщины. Остальные, видно, спали, укрывшись уже за стенами своих жилищ.

Этот день показался Аалоку бесконечным: он все длился и длился, упираясь на одном месте, словно упрямый вол. В своей комнате он снова уселся к столу с твердой решимостью написать письмо Манджари. Но в последний момент снова передумал. Ему захотелось провести в Ураде еще несколько дней, побыть в полном одиночестве. А ведь если Манджари получит от него письмо, то обязательно примчится сюда. А потом их начнут атаковать телеграммами ее родители, пришлют за ними автомобиль с каким-нибудь кузеном за рулем. И в довершение всех бед родственники захотят устроить пикник на берегу моря, захотят отведать местного тодди. Словом, начнется обычная светская круговерть.

Аалок поймал себя на мысли, что когда размышляет о невесте, то обязательно вспоминает и других женщин. Сегодня это были Кристина и Джамма. Интересно, как бы смотрелась Манджари рядом с Джаммой? Он никогда не видел ее в подобной обстановке. Он вообще мало чего знает о ней. Чем она живет, чем заняты ее мысли? Ну да! Она всегда так преданно слушает его, и речи ее полны участия. А что дальше? И что скрывается за завесой ее невинности? Какова она на самом деле? А ка-

кова Кристина? Или ее муж? И где он? Умер или живет в другом городе, как и муж Джаммы? Несчастной хватило и двух месяцев, чтобы пресытиться всеми прелестями супружеской жизни.

Манджари, Кристина, Джамма… Он припомнил и других женщин, которых встречал в своей жизни. Мохана, Сулу, Ниланджана… В сущности, все они — одна женщина, которая то живет жизнью Манджари, то Кристины, то Джаммы. Вернее, ее частица есть в каждой из них.

Стук в дверь прервал этот бессвязный поток его мыслей.

— Мадам приглашает вас к себе на чай, — сообщила ему служанка, появившись на пороге комнаты.

Ночью он устроился на веранде. Насос был отключен и не мешал ему своим рокотом. Радио тоже не работало. Где-то в третьем часу ночи небо постепенно стало бледнеть. Предрассветный час, полный какой-то особой, неуловимой загадочности и мистики.

В это время ночи, вспомнил он слова школьного друга, безраздельно царствуют лживые духи. А потом наступает настоящее утро, и они исчезают, растворяясь в воздухе. Он взглянул во двор и увидел, как чья-то фигура в белом маячит возле колодца. Тогда он энергично потер глаза. Никого! Но стоило ему снова уставиться на колодец, как опять возникла эта же фигура.

Он уже готов был выйти на улицу и выяснить прямо на месте, что это за чертовщина такая, но вовремя вспомнил о Томми. Пес спал беспробудным сном прямо за дверью. Разбудишь его, и он своим лаем поднимет всех остальных. Тогда он начал бесцельно разглядывать звезды, силясь вспомнить их названия. В юности он хорошо ориентировался в звездном небе, с легкостью отыскивая на нем любую звезду. А это не так ведь и просто: все равно что найти в огромной толпе знакомого человека. Почему-то эта мысль его успокоила.

Утром он пил чай с Кристиной, потом прослушал по своему транзисторному приемнику отчет спортивного комментатора о последних соревнованиях по крикету. И снова пошел к морю. Он решил, что сегодня не воспользуется советом нанести визит местному врачу. По ее рассказам, доктор и его жена — единственные по-настоящему интеллигентные люди в их деревне. И что если он с ними познакомится, то, по крайней мере, один приятный вечер в их обществе ему обеспечен. Но настроение у него с утра было такое, что лучше пока повременить с визитами вежливости. Схожу-ка лучше вечером на представление бродячей труппы, которая накануне приехала в деревню, подумал он. Но тоже не пошел, сам не зная почему. А вместо этого просидел весь вечер на берегу моря, размышляя о собственной жизни.

Вспомнил детство, потом первые годы, проведенные в Бомбее, и то, как он познакомился с Манджари. Все в его жизни с раннего детства складывалось удачно, жизнь была слишком гладкой и ровной, и никакие повороты и зигзаги, если они и случались на его пути, не выбивали из колеи, не вносили сумятицы в размеренное повседневное существование. Наверное, я просто устал от этого однообразия, решил он. Быть может, здесь, в Ураде, я смогу что-то изменить и в себе самом, и в своей жизни. А что, если здесь остаться навсегда? При всей фантастичности такой идеи она не показалась ему абсурдной. Он чувствовал, что этот причудливый, призрачный мир с каждым днем затягивает его все глубже. И не хотелось даже подумать, что в один прекрасный день надо будет вернуться к привычному для него, монотонному течению городской жизни.

— Вы сегодня что-то очень уж припозднились! — поднялась из-за стола Кристина при его появлении. Она читала при свете керосиновой лампы, сидя на веранде своей комнаты. — Пить что-нибудь будете?

— Да. Что-нибудь.

— Горячее? Холодное?

— Что есть.

Кристина жестом пригласила его проследовать за ней в комнату. В комнате тускло горели два фонаря, заливая ее каким-то призрачным светом.

Женщина открыла бар и достала оттуда бутылку, на которой было написано «1868 год».

— Дедушкин подарок, — пояснила она ему. — Налить?

— Кристина, вы же знаете, я не пью.

— Вы такой стойкий противник алкоголя?

— Вовсе нет. Просто у меня нет привычки к выпивке, только и всего. А сейчас уже поздно обзаводиться новыми привычками. Думаю, в запасе у меня не так-то много времени.

— О чем вы, Аалок? Вы еще так молоды! Можно сказать, что вы еще только-только постучали в дверь, за которой-то и начинается настоящая жизнь.

— Кто знает, что там, за этой дверью, возле которой мы стоим!

— Ах, не говорите, пожалуйста, загадками! Но как хотите, принуждать я вас не буду. Присаживайтесь! Я сейчас вернусь.

Аалок снова вышел на веранду и сел там. Странная эта женщина, Кристина. Хозяйка местной гостиницы, но разительно не похожа на всех остальных обитателей деревни. Скорей всего, она тоже приезжая. И каким ветром занесло ее в эти края?

Размышления его были прерваны появлением Кристины. Она несла поднос, на котором стояли два стакана. Перехватив его взгляд, она засмеялась.

— Не пугайтесь! В вашем стакане обычный прохладительный напиток. Да и у меня — то, что называют «дамским питьем».

Она взяла свой стакан и села напротив. На ней был пеньюар изумрудного цвета с богатой вышивкой. Лицо ее было печально, и это меланхоличное выражение одновременно подчеркивало ее красоту и возраст. Некоторое время она молча вертела стакан в руке. Светло-красная жидкость, попадая в луч света, становилась розовой, потом снова темнела, приобретая пурпурный оттенок.

— Вам ни о чем не хочется расспросить меня? — неожиданно сказала она. — Время более чем подходящее. Глухая ночь. Я сижу перед вами с бокалом вина. Женщина, распивающая спиртное в присутствии постороннего мужчины! Вас это не удивляет?

Аалок смущенно улыбнулся.

— Не скрою, меня многое удивляет в вас! И я часто о вас думаю. Сказать с уверенностью, кто вы, я не могу, но вот что вы собой представляете, мне так, во всяком случае, кажется, абсолютно ясно.

— Правда? И что же я собой представляю, по-вашему?

— Вы — прекрасная женщина: красивая, добрая, порядочная. Любая приличная женщина может только позавидовать вашим многочисленным достоинствам. С другой стороны, женщина, которая сидит напротив меня и в полночь пьет вино, наверное, переживает сейчас не самый простой момент в своей жизни. Не в моих правилах проявлять любопытство. Да это и не пристало приличному мужчине, но скажу вам, Кристина, что вы напрасно пытаетесь утопить в вине свои проблемы. Ничего, кроме тоски, оно на вас не нагонит. Вы так печальны. Хотел бы я знать, кому же под силу стереть эту печаль с вашего лица!

— Вы сказали, что я порядочная? Вы боитесь, что я могу оступиться и однажды перестать быть порядочной женщиной? Так вы хотите предостеречь меня, да?

— Кристина! Когда женщина поздно ночью не стесняется пить в присутствии мужчины, то, следовательно, она полностью доверяет ему. А потому скажу вам так: вам некого бояться в этой жизни, разве что себя самой.

— Да, это правда! Вы действительно вызываете у меня доверие. Возможно, потому, что вы один из немногих моих постояльцев, кто с первых же дней не стал приставать ко мне с расспросами. Почему я живу одна? Где мой муж? Есть ли у меня дети?

Аалок бросил на женщину внимательный взгляд. Она полностью владела собой, но вино уже подействовало, и язык развязался сам собой.

— Ах, Аалок! Иногда я спрашиваю себя, зачем живу! Я словно попала в какой-то лабиринт, из которого нет выхода, сколько бы ты ни метался по его коридорам. Вот и я чувствую себя таким пленником. Нет, хуже! Загнанным зверем, которому нет спасенья.

В свете лампы длинные тени кружили в хороводе по дорожкам вокруг дома.

— Кристина, уже поздно! Вам лучше пойти к себе и постараться заснуть. Вы ведь и так намаялись за целый день.

— Да, устала! И поздно уже, вы правы! Но утром мне не станет лучше. Вот в чем беда. Если б вы только знали, в каком страшном напряжении я живу все последние годы. В постоянном страхе, что муж вернется ко мне в любую минуту. Я засыпаю

спокойно только тогда, когда приходит последний ночной поезд, а его среди пассажиров нет.

— Но что страшного в том, что ваш муж снова вернется к вам?

— Он слишком любит меня. Боюсь, вам этого не понять. А я не могу видеть его несчастным. Он же всегда несчастен, когда рядом со мной. Правда, последние восемь лет его здесь не было. Я даже не знаю, где он сейчас. Где-то раз в полгода я получаю от него денежные переводы, и всякий раз — с нового места. Однажды даже из-за границы. Наверное, он уже снова женился. Так я думаю. Он ведь принадлежит к тем мужчинам, которые не мыслят себе и единой ночи без женщины. Порой, когда я гляжу на нашего мальчика, который прислуживает в гостинице, на Шанкара, то нахожу в нем много сходства с моим мужем. Но, возможно, я ошибаюсь, и это мне только кажется.

— Не понимаю! — растерянно пробормотал Аалок. — Он вас любит. Так почему же не может вернуться?

— Именно поэтому! Потому, что любит меня больше жизни! — Кристина залпом допила вино и поставила пустой стакан на стол. — И в самом деле, уже очень поздно! Ступайте к себе, Аалок.

Она так резко оборвала беседу. Почему? Или ей просто мучительно говорить о своем прошлом?

— Аалок! Я передумала. Останьтесь! Лучше закончим этот разговор сейчас. Вы хотите знать всю правду? Вот она! — Легким движением она потянула за халат, и он соскользнул с ее плеч. — Смотрите!

Аалок вскрикнул от ужаса и закрыл лицо руками.

— Это невыносимо, Кристина!

— А я с этим живу! Вам трудно даже смотреть на меня без содрогания, а ему, моему мужу, надо было жить рядом с этим, любить такую женщину, желать ее. Все началось с небольшого пятнышка на груди. Потом оно стало разрастаться во все стороны, образовав вот этот страшный нарост. Злокачественное поражение кожи. Печать уродства, которую поставила на мне природа в таком месте, куда не заглядывает посторонний глаз. Но не муж! Я видела, в какой ад превратились для него наши ночи. О, как я молила бога, чтобы их вообще не было, этих ночей. Муж пытался забыть о моем уродстве, хотел любить меня, как и прежде, но не мог. Он стал приходить ко мне все реже и реже, а потом и вообще забыл дорогу в мою спальню. Никто из нас не заводил разговор на эту тему, но оба мы понимали, что, наверное, так будет лучше. Часто ночами напролет я лежала без сна и думала, с кем он сейчас. В объятиях какой женщины находит забвение и хорошо ли ему с ней?

Кристина замолчала. Потрясенный Аалок облизал пересохшие губы. Какие слова утешения может он найти для этой несчастной женщины? Он повернулся и молча вышел из комнаты. Высоко в небе светила луна, но ее свет тоже был каким-то тревожным. Аалок вдруг вспомнил, как безобразна была грудь Кристины в лунном свете, и снова содрогнулся.

У себя в комнате он долго валялся без сна, а когда, наконец, забылся, то ему снились всякие кошмары под аккомпанемент каких-то непонятных звуков, долетавших из комнаты Кристины. Или они ему только мерещились во сне?

За завтраком он не видел Кристины, и это было настоящим облегчением. События минувшей ночи все еще были свежи в его памяти: Кристина с бокалом вина в руке, и это страшное уродство на ее теле. Как это она тогда сказала ему? «Вам трудно даже смотреть на меня без содрогания! А ему, моему мужу, надо было жить рядом с этим, любить такую женщину, желать ее».

Но разве только физическая близость связывает мужчину и женщину? Разве только этим измеряется смысл их совместной жизни? А как бы это было у них с Манджари, если бы она оказалась на месте несчастной Кристины? Разумеется, он еще ни разу не видел Манджари обнаженной. Разве можно обнажать прекрасное тело молодой женщины до того, как она станет твоей женой? Да, он мог обнимать ее, целовать, сидеть с ней рядом часами напролет, но не более того.

Но случись такая беда с его женой, повел бы он себя так же, как и муж Кристины? А Манджари? Что делала бы она в подобной ситуации? Уединилась бы там, где

ее никто не знает, и вела бы жизнь затворницы? И смогла ли бы она улыбаться, как Кристина, пряча свою боль за маской показной безмятежности?

Он просидел у себя в комнате почти целый день, пытаясь найти ответы на мучительные вопросы. Днем Шанкар принес ему чай в комнату.

— А что делает мадам? — спросил он у мальчика.

— Хозяйка спит, — ответил тот. — Разбудить?

— Нет-нет! Пусть отдыхает.

Вечером он отправился с визитом к доктору Мехервану. Кристина была права. Доктор и его супруга Пило оказались милейшими людьми. Трудно было поверить, что такая интеллигентная чета может жить в этом забытом богом месте.

— А Кристина нам уже рассказывала о вас! — приветствовала его Пило.

— Добро пожаловать в наш дом! — присоединился к ней доктор Мехерван. — Если бы вы не пришли к нам сегодня, мы бы сами пошли знакомиться с вами. Кристина нам столько о вас говорила!

— Боюсь, она нарисовала чересчур радужный портрет моей персоны, — вяло пошутил Аалок, разглядывая картину на стене. На ней был изображен огромный айсберг, дрейфующий в открытом море. На айсберге стоял человек. Ему показалось, что он уже где-то видел нечто подобное.

— Я срисовал ее с одной картинки в журнале «Лайф», — пояснил хозяин, перехватив заинтересованный взгляд гостя. — Она мне так понравилась, и вот в часы досуга я стал копировать ее.

— Да, но вы внесли в картину свое видение, — заметил Аалок, вспомнив и саму фотографию в журнале, и тот материал, который ее сопровождал. — Вы расставили совершенно иные акценты.

— Верно, мне хотелось как-то выразить неизбежность того, что всех нас ожидает. Человек стоит на айсберге, который тает и с каждой минутой уменьшается в размерах. Но он стоит и ждет, когда погибнет вместе с этой глыбой льда. А вы рисуете?

— Всего лишь как любитель, не более того.

— Ну, и как вам в нашей глухомани? — не удержалась от вопроса Пило.

— Вы знаете, я готов остаться здесь до конца своих дней! — воскликнул Аалок и сам же себе не поверил. Он не смог бы жить в этой умирающей деревне всю свою жизнь. Да и что означает это словосочетание «вся жизнь»?

— Все зависит от того, сколь много дней у вас осталось в запасе! — засмеялся хозяин. И Аалок понял, что тот мгновенно уловил фальшь в его словах.

— Вы правы! — смутился он под проницательным взглядом доктора Мехервана. — Но, с другой стороны, наша жизнь, она так похожа на мираж. Порой я спрашиваю себя, неужели я и в самом деле еще живу?

— О, это уже настоящий философский разговор. Но боюсь, вам придется продолжить его без меня. У меня срочный визит. У ребенка высокая температура. Мне нужно обязательно навестить его перед сном, дать лекарство на ночь, посмотреть, как он. Постараюсь обернуться побыстрее. А вы пока занимайтесь всякими умными разговорами без меня.

Доктор надел пиджак, взял свой медицинский чемоданчик и исчез за дверью.

Аалок скользнул взглядом по убранству комнаты. Мебели мало, но все вещи очень красивые. На столике возле окна фотография мальчика. Возле стены полка с книгами.

— У вас много книг, — заметил он, обращаясь к Пило. — Кто из вас любитель чтения? Вы или ваш муж?

— О, это все книги Мехервана. Я читаю мало. И только то, что он мне порекомендует.

— У него большая практика в этой деревне?

— Мы постоянно молимся, чтобы больных было меньше, чтобы все люди вокруг нас были здоровыми. Но — увы! — пока наши молитвы остаются без ответа, и работы у мужа много.

— Что совсем не удивительно! — пробормотал Аалок. — Тут ведь сама деревня больна, а не только люди, ее населяющие. И Мехервану, как врачу, это видно с особой очевидностью. Впрочем, боюсь, его компетенции в данном случае хватит лишь на то, чтобы поставить диагноз, и только. Деревня умирает, и вылечить ее невозможно. Рано или поздно она умрет сама по себе, своей естественной смертью.

— Ваш прогноз звучит чересчур пессимистично, — не согласилась с ним Пило. — Вы просто не успели еще познакомиться как следует с нашей деревней. Да, это верно. Жизнь в деревне течет медленно. Мы никуда не торопимся, живем своей неспешной, быть может, однообразной, с точки зрения горожанина, жизнью. Но что в городе? Куда торопятся все эти люди? Разве не на встречу с собственной смертью? У деревенских же людей жизнь более полнокровная, в ней меньше суеты и нервного напряжения.

Аалок не нашел, что возразить. Возможно, в один прекрасный день они возобновят эту дискуссию, и тогда у него найдутся нужные аргументы. Но не сейчас!

— О чем вы задумались? — вернула его к реальности Пило.

— Да так, ни о чем конкретно. Но мне, пожалуй, пора. Ваш муж задерживается у больного. А потому не смею более докучать вам своими праздными разговорами.

— Посидите еще немного. Возможно, доктор Мехерван уже на пути домой.

В эту минуту в комнату зашла служанка.

— Доктор прислал записку. Сообщил, что у ребенка опять поднялась высокая температура и он останется с ним до тех пор, пока не собьет ее. Господин просил передать гостю, чтобы тот дождался его.

— Бедный мальчик! — Аалок увидел, как задрожали губы у женщины. — Дети! Это единственная ценность в жизни, правда? — Пило повернулась к нему. — Я так люблю детей. Разве может что-то сравниться с беззаботным детским смехом?

— Не переживайте так сильно! — попытался успокоить ее Аалок. — Ваш муж — хороший врач. Он сумеет помочь мальчику.

Две слезинки выкатились из глаз Пило и покатились по ее щекам.

— Когда-то я тоже так думала!

— Когда это было?

— Когда заболел наш сын. Шиавакша родился таким красивым ребенком. Мы и подумать не могли, что с ним что-то не так. Болезнь дала о себе знать только тогда, когда ему исполнилось семь месяцев и он начал ползать. Однажды ребенок упал ничком на пол и заплакал так горько, что я поняла, что случилось что-то нехорошее. И моментально опухла ножка. Муж в это время был на дежурстве в больнице. Я вызвала другого врача, и сына немедленно отвезли в больницу, сделали рентген и обнаружили, что у него сломана ножка. Там же врачи поставили страшный диагноз: у нашего ребенка так называемая «мраморная кость», то есть все кости у него очень хрупкие и ломаются при первом же усилии или напряжении. Тогда мы с мужем бросили все и поехали в Женеву, в надежде найти помощь там. Мальчик три месяца пролежал в одной из лучших швейцарских клиник, и за это время у него случилось еще шесть переломов. Ему было противопоказано любое движение, ибо малейшая неосторожность грозила обернуться новой травмой. Муж хорошо понимал, что ждет мальчика в будущем: он был обречен на то, чтобы вырасти калекой и провести всю свою жизнь в инвалидном кресле. Но Мехерван не стал посвящать меня в эти мрачные прогнозы. А я все время твердила, как заклинание: «Мехерван! Ты — такой замечательный врач! Ты одним своим прикосновением исцеляешь людей. Ты ведь сумеешь поставить на ноги нашего сына».

Пило замолчала, а потом с трудом продолжила свой рассказ. События развивались так.

В один прекрасный день швейцарские врачи поставили несчастных родителей перед фактом: болезнь сына неизлечима. В мире не более трех или четырех случаев такого страшного заболевания, и медицина пока бессильна помочь этим больным. Единственное, что может облегчить страдания ребенка, это постоянное переливание крови и регулярный прием витаминов.

Мехерван не захотел возвращаться с сыном в Индию. Он увез его в небольшой французский городок в предгорьях Альп. Было уже лето, обычно в такое время в горах полно отдыхающих и туристов. Но Мехерван выбрал очень спокойное и тихое местечко, скорее похожее на большую деревню.

Шиавакша целыми днями сидел у окна в кресле, специально сконструированном для него, и любовался красивым видом на Альпы, который открывался из окон их отеля. Он уже почти не двигался, разве что, поддерживаемый под руки, мог добрести до обеденного стола, но и это доставляло ему нестерпимую боль. Но ребенок

научился мужественно переносить свои страдания. Более того, он вообще пребывал в полной уверенности, что жизнь — это одна сплошная боль.

Однажды вечером он по своему обыкновению долго-долго смотрел в окно, а потом вдруг спросил у отца:

— Папа, а мы могли бы перебраться через Альпы?

— Конечно, сынок. Скоро ты поправишься и сам убедишься в этом. А если вдруг устанешь, то я посажу тебя на плечи и понесу дальше.

— И все же, как жаль, что я не умею летать!

Мехерван украдкой взглянул на сына. Ребенок, как завороженный, не сводил глаз с самой высокой вершины горной гряды.

— Ты только представь себе, папа! Я бы смог взлететь тогда высоко-высоко в небо и приземлиться прямо на макушке вон той горы. Интересно, что там, на самом верху?

— Да ничего особенного, сынок, один снег.

— Такой же, как у нас на подоконнике?

— Не совсем. Здесь он мягкий и пушистый. А на высоте он твердый, как камень.

— Неужели только это? Нет, там должно быть что-то еще! Я обязательно расскажу тебе, когда слетаю туда.

А двумя днями позже к ним в спальню прибежала перепуганная сиделка и сказала, что мальчику внезапно стало плохо. Родители бросились к сыну, но было уже поздно. Мальчик не дышал. Пило стала тормошить сына, обнимать его. Тогда Мехерван взял ее за плечи и отвел от кровати.

— Пило! — начал он прерывающимся от рыданий голосом. Слезы градом катились по его лицу. — Шиавакша улетел от нас. Вон туда! — и он кивнул головой в сторону заснеженной вершины. — В один прекрасный день мы встретимся с ним там.

Аалок посмотрел на фотографию мальчика и почувствовал, как слезы подступают к его глазам. А потом фотография вдруг расплылась и исчезла. В комнате повисло тяжелое молчание.

Но в эту минуту в прихожей раздались оживленные голоса. Вернулся хозяин. Мехерван был в приподнятом настроении. Он даже не обратил внимания на мрачные лица жены и гостя.

— Прошу простить меня, Аалок, за то, что заставил вас ждать! — начал он прямо с порога. — Но, слава богу, ребенка удалось спасти. Температура спала, и теперь я за него спокоен. — Он взглянул на заплаканное лицо жены, потом на Аалока, нервно комкающего свой носовой платок, и сразу же догадался, о чем они беседовали в его отсутствие.

За кофе, когда жена уже ушла к себе, он вдруг неожиданно сказал:

— Знаете, о чем я думаю, Аалок? А может быть, наш Шиавакша был прав, и там, на самом верху горы, есть действительно что-то еще кроме снега. Последние три года мы прожили здесь, вдали от всех. И вот какая странная штука! За все эти три года у меня не было ни одного летального исхода у маленьких пациентов. Ни один ребенок не умер, понимаете? И вот я думаю, что, наверное, это мой сын помогает мне спасать детей. Это он отдает свою жизнь им, а может быть, даже и живет во всех этих спасенных мной детях.

Домой Аалок вернулся далеко за полночь, но в комнате Кристины еще горел свет. Он не рискнул заглянуть и спросить, почему она не спит.

Когда он завтракал, она сама подошла к нему. Глаза у нее были красные от бессонницы.

— Аалок, в чем дело? — спросила она у него как-то совсем по-домашнему.

— А в чем дело? — не понял он.

— Вы абсолютно ничего не едите. Так нельзя! Шанкар сказал мне, что вчера за обедом вы вообще не притронулись к еде. Вы что, решили уморить себя голодом? Так вот! Сегодня я сама приготовила вам завтрак. И сама прослежу за тем, чтобы вы съели все до последней крошки.

Аалок глянул на заставленный закусками поднос, который Шанкар поставил перед ним.

— Неужели я должен съесть это все?

— Именно! А с учетом того, что вы не ели уже почти сутки, — это сущие пустяки. Даже маленький ребенок с легкостью осилит такой завтрак.

— Сдаюсь! — безропотно согласился с ней Аалок и вдруг вспомнил, что точно так же с ним когда-то разговаривала его мать. А еще в интонациях голоса Кристины он узнал знакомые нотки. Так разговаривала с ним Манджари, и его тетушка тоже. Да и у бабушки Манджари были те же интонации. Наверное, так разговаривали с ним все женщины, которые любили его.

— О чем вы задумались, Аалок?

— Я вспомнил маму, — честно признался он.

Кристина мягко улыбнулась и подлила ему свежего чаю.

— Когда вы уезжаете от нас?

— Я вам уже надоел?

— Ни капельки! Просто мне нужно знать точную дату, чтобы подстроиться под вас. Дело в том, что мне нужно съездить в город.

— Что-то срочное?

— Нет. Периодически я езжу в Даман и посещаю тамошнюю церковь. Мне нужно на исповедь.

— С удовольствием составил бы вам компанию. Но боюсь, нам не совсем по пути. У вас — паломничество, а я хотел бы наведаться в этот город, о котором столько слышал, с обычной увеселительной прогулкой.

Кристина бросила на него изумленный взгляд.

— Как странно, Аалок, что вы говорите почти теми же словами, что и отец Валант. Правда, у него эти слова имеют несколько иной смысл. Помню, во время одной из своих проповедей он сказал так: «Многие паломники отправляются в путь, словно в увеселительную прогулку. А бывает так, что увеселительная прогулка превращается в самое настоящее паломничество, исполненное особой благодати».

Некоторое время Аалок молчал, потом сказал:

— Пожалуй, я поеду вместе с вами. Да и вообще, мне уже пора возвращаться в Бомбей.

— Тогда поехали прямо после завтрака. Я распоряжусь насчет экипажа. Хочу завезти вас по пути в храм Ма Бхавани.

— В храм? Вы верите в наших богов?

— Достаточно того, что в них верите вы. Тут существует поверье, что если человек перед отъездом не наведается в храм Ма Бхавани, то тогда он обязательно вернется сюда снова, чтобы встретиться с богиней.

— Мне нравится это поверье! И я совсем не прочь вернуться к вам снова.

Всю дорогу до храма они ехали молча. Но настроение у Аалока заметно поднялось. Он вдруг снова почувствовал себя счастливым, словно узник, которого неожиданно для самого себя выпустили на волю.

Когда повозка остановилась возле храма, навстречу к ним вышла женщина.

— Вы привезли своего гостя, дабы он мог лицезреть богиню?

— Да! — улыбнулась ей Кристина. — Сегодня утром мой гость вспомнил свою мать, и я подумала, что ему следует навестить богиню перед отъездом.

У входа в храм они сняли сандалии и омыли ноги. Храм был небольшим, похожим скорее на часовню, с узкой балюстрадой наверху, вокруг самого купола. Прямо за храмом плескалось море.

— Совершайте обряд поклонения, — сказала ему Кристина, — а я подожду вас пока на террасе.

Когда Аалок вышел из храма, женщина отрешенно смотрела на морскую гладь. Она была настолько занята собственными мыслями, что даже не заметила его появления. Некоторое время Аалок молча глядел на нее. Какая необыкновенная женщина эта Кристина! Он почти забыл Манджари. И вообще, готов бросить все и поселиться здесь навсегда. Он подошел к ней и стал рядом. Она вздрогнула от неожиданности и взяла его за руку.

— Аалок! Вы только взгляните, какая красота — это море!

— Я смотрю на него вашими глазами, Кристина! И вообще, я веду себя, как молодой муж во время медового месяца.

— Не понимаю вас!

— Не беспокойтесь, Кристина. Просто я хочу разобраться до конца со своими чувствами к вам.

— Какие чувства, Аалок? О чем вы? — в ее голосе послышалась тревога.

— Именно так! Со своими чувствами к вам. Но одно меня тревожит и даже мучит. Вы полностью доверились мне и поведали о своей жизни. А вот обо мне вы не знаете ничего. Боюсь, вы посчитаете меня хитрым лицемером. Ведь и у меня есть что рассказать вам!

— Нам надо возвращаться, Аалок. Уже скоро полдень!

— Да! Но прежде я должен рассказать вам о своей невесте. О Манджари. Если бы не ряд досадных обстоятельств, то сегодня я был бы уже женатым человеком, мужем Манджари. И именно сегодня я вдруг понял, что совершил бы страшную, непоправимую ошибку, женившись на ней. Ибо я увидел главное: мы совсем разные с ней, и я никогда не смогу влиться в ее семью на равных, не смогу принять их образ жизни.

— Ах, Аалок, сейчас совсем не время разбираться со своими чувствами! Поверьте мне, у вас еще будет время подумать обо всем этом по пути домой.

На обратном пути они вдруг стали свидетелями удивительного по своей красоте зрелища. Повозка катила по песчаной дороге, раскаленной в лучах полуденного солнца. Внезапно они увидели, как вдалеке, по обе стороны дороги, вознеслись ввысь золотистые колонны. Аалок замер от неожиданности. Кристина взглянула на него и поняла, что такое он видит впервые в жизни.

— Аалок, вам приходилось видеть миражи?

— Нет.

— Тогда любуйтесь! Один из них перед вами.

Вечером он разговорился с одним из местных жителей, который признался ему, что с удовольствием уехал бы из деревни куда глаза глядят.

— Но почему? — вполне искренне удивился Аалок.

— Все вокруг стало другим, сэр! — ответил тот. — Сегодня встретить по-настоящему доброго человека — это такая редкость. Вот и в нашей деревне они наперечет. Раньше люди пили, чтобы забыться, чтобы уйти в мир собственных фантазий. А сегодня пьют исключительно ради того, чтобы обмануть других. Иногда к нам сюда еще кто-то забредает, чаще всего молодые, такие, как вы. То ли ищут острых ощущений, то ли хотят отведать нашего тодди. А так все здесь мертво. Почти ни у кого из местных нет работы. Дети разъехались по крупным городам. Сыновья нашли там работу, дочери вышли замуж. А старики доживают свой век в Ураде, забытые всеми и никому не нужные.

— Это не совсем так, — прокомментировал последнюю мысль Аалок, пересказывая разговор Кристине. — Они ведь охраняют свои дома. Значит, хоть какая-то польза от их существования все же есть.

— А вот вы, как мне кажется, охраняете собственное одиночество, разве не так?

— Кристина! Охранять можно только то, что имеешь. А мне еще только предстоит выстроить свой мир одиночества.

Ему хотелось сказать больше. Рассказать ей о том, как неожиданно для самого себя он уехал из Бомбея, как расстался с Манджари, ни словом не обмолвившись в разговоре с невестой о своем отъезде, как искал уединения здесь, даже не представляя себе, что же это такое — одиночество. И что с ним будет потом, когда он снова вернется в город и попытается вернуться к привычной жизни? Не этот ли страх неизвестности побуждает его медлить с отъездом? Но как выразить словами эти неясные страхи?

Кристина поднялась со своего места.

— Прошу прощения, но у меня дела. В гостинице появились новые постояльцы. Мне нужно проверить, как их устроили. Так что не буду более мешать вам обустраивать свой одинокий мир.

— Не смейтесь надо мной, Кристина. Вот уж не думал, что встречу в этой забытой всеми деревушке человека, который может так легко смутить меня. И который меня так волнует!

— О, это все пустяки! Вернетесь в свой город и через пару дней забудете обо всех своих переживаниях.

— Кристина, помните этот мираж, который мы видели с вами на дороге? Он ведь вас совсем не удивил тогда.

— Да, а что тут такого? Миражи — вполне привычное явление среди песков и дюн.

— Согласен! Но миражи — это нечто такое эфемерное, такое мгновенное: увидел чудо, и оно тут же исчезло. Вот так бывает и с некоторыми людскими настроениями. Их еще не успеешь облечь в слова, а они уже проходят.

— Тогда не стоит и пытаться говорить о том, чего на самом деле нет. Знаете, Аалок, как-то раз муж рассказал мне забавную историю об одном из своих друзей. В общем-то жестокий человек, судя по его рассказу. У него есть своя фабрика. Так он обращается с рабочими, как со скотами. При всяком удобном случае бьет их, стегает кнутом. И при этом человек — крайне чувствительный, я бы даже сказала, сентиментальный. Представляете, он никогда не сядет за стол, пока не накормит голубей. Такая вот тонкость чувств. Наверное, скармливая каждый раз по полкило зерна птицам, он пребывает в полной уверенности, что являет собой пример удивительной щедрости и бескорыстия. Стоя в окружении воркующих голубей, он думает, что душа его полна сострадания ко всем слабым и сирым. А разве это не тот же самый мираж? Вот и у нас с вами, Аалок, одни сплошные миражи в разговорах. Так всегда бывает, когда начинаешь рассуждать о том, чего не знаешь или в чем не уверен до конца. Но вот и Шанкар с чаем! Извините за то, что не составлю вам компанию. У меня, и правда, полно дел.

Слова Кристины оставили неприятный осадок в душе Аалока. Ведь, в сущности, она тоже выстегала его кнутом, только словесным.

Вечером доктор Мехерван повел его знакомиться с одним из своих приятелей по имени Тикекар.

— Вот, специально привел к вам своего гостя, — пояснил хозяину Мехерван, — чтобы он послушал, как читает гимны несравненная сестра Шила.

— Шила! Ты только взгляни, кто к нам пришел! — обрадовался старик.

Из внутренних покоев вышла женщина лет сорока пяти, абсолютно седая. Впрочем, седина придавала ее лицу особую величавость.

— Мехерван! Рада вас видеть!

— Здравствуйте, сестра! Пришли послушать, как вы замечательно исполняете религиозные гимны, если вы не возражаете. А это мой друг Аалок.

— И откуда же приехал ваш гость? — приветливо улыбнулась Аалоку Шила.

— Из Бомбея. Аалок занимается там бизнесом. Но у меня сложилось впечатление, что наш друг не чурается духовных ценностей. А вот мир материального, напротив, тяготит его. С ним можно рассуждать о высоких материях ночи напролет. И не заметишь, как летит время.

— Доктор, вы преувеличиваете! — улыбнулся Аалок. — На самом деле я пришел к вам, отец, — обратился он к Тикекару, — потому что много наслышан от своего друга и о вас, и о сестре Шиле.

Мехерван и в самом деле рассказал ему историю жизни Тикекара, и история эта, как и большинство из тех, что он услышал в деревне, была грустной.

В свое время Тикекар занимал крупную чиновничью должность, знался с сильными мира сего, имел огромный дом, кучу слуг, и все в городе знали, каким важным господином является Тикекар. Все свои надежды на будущее Тикекар связывал с единственным сыном Ашвином. Получать образование он отправил сына в Англию, а потом сам выбрал ему в жены Шилу. Девушка происходила из богатой и знатной семьи, и ее родители не имели ничего против такого удачного союза. Вскоре после свадьбы Ашвин вернулся в Англию, дабы продолжить свою учебу. А Шила, получив степень магистра, стала преподавать языки в одном из колледжей в городе Барода.

Приезжая на каникулы, Ашвин всячески пытался европеизировать свою молодую жену. Шила же, будучи индианкой до мозга костей, не была в восторге от претензий мужа, но, как послушная жена, безропотно подчинялась ему во всем. А Ашвин был неистощим в своих требованиях. После окончания университета он решил получить еще одно образование и остался в Европе на новый срок. Шила переехала в другой город и стала работать в местном колледже.

Шли годы, но Ашвин и не помышлял о возвращении домой. Тикекар уже вышел на пенсию и купил себе дом в Ураде. Он не смел даже показаться на глаза своей невестке или ее родственникам, ибо имел неопровержимые сведения о том, что в Европе его сын женился вторично и уже успел обзавестись детьми. У него хватило

даже наглости прислать свое семейное фото родителям, но отец разорвал фотографию на мелкие клочки и сказал жене:

— Хочешь есть из рук самозванки, этой твоей новой невестки? Я не возражаю! Пожалуйста! Я выправлю тебе паспорт, и можешь ехать на все четыре стороны. Но их ноги в моем доме не будет, пока я жив.

Жена, истосковавшись по сыну за долгие годы разлуки, вскоре уехала к нему. Так Тикекар остался совсем один. Еще одна история об одиночестве, на сей раз об одиночестве человека, у которого есть деньги, слуги, огромный дом, сын и даже две невестки.

Вскоре Тикекар получил известие о том, что его жена умерла. Шила, узнав о смерти свекрови, немедленно переехала в Урад, чтобы досмотреть одинокого старика, своего свекра. Ей казалось, что она сумеет скрасить его жизнь, а заодно и облегчить собственные страдания. Так под одной крышей сошлись уже два одиночества, два одиноких несчастных человека, пытающихся утешить друг друга.

Аалок украдкой рассматривал лица Тикекара и Шилы. Да, печать страданий лежит на каждом из них. Просто они тщательно маскируют чувства, стараясь хранить собственные переживания в секрете друг от друга.

— Я видела смерть, — пела между тем Шила. — Я видела свою смерть собственными глазами, и я знаю, как я одинока в этом мире.

Она пела, а слезы катились по ее щекам. Тикекар слушал ее, закрыв глаза, но по тому, как дрожали его губы, было видно, сколь трогает его душу пение Шилы.

Аалок подумал, что только те, кто имеет мужество достойно встретить свой конец, кто не страшится смерти, могут с такой отрешенностью идти по жизни, как эти двое. И не столь уж важно, где ты живешь, в маленькой ли деревушке под названием Урад или в большом городе.

— Мы уходим из этого мира, — пела Шила, — как угасает пламя догорающей свечи, и никто не знает, в какую минуту она погаснет навсегда.

И снова Аалок брел к себе в гостиницу далеко за полночь, и снова размышлял по пути о жизни и смерти. Свеча догорает, воск размягчается, пламя гаснет, но никому не известно, когда точно это произойдет.

Залаял Томми, и Аалок встрепенулся от своих тяжелых мыслей. Он машинально глянул на веранду Кристины. Там было темно. Томми залаял еще громче.

— Аалок, вам что-то надо? — услышал он голос из темноты. Кристина сидела на веранде, не зажигая огня. Когда Аалок подошел ближе, она зажгла свечу и поставила ее на стол рядом с собой. В тусклом пламени свечи ее лицо сияло каким-то поистине неземным светом.

— Прошу простить, что потревожил вас.

— Пустяки! Я еще не ложилась спать. Так что у вас за дело ко мне?

— Кристина! Я уезжаю завтра утром. Вот хочу предупредить вас, чтобы вы подготовили счет к утру.

— Хорошо! Я подготовлю, — сказала она ровным голосом. А потом вдруг выпалила, словно на одном дыхании: — Приезжайте к нам еще! Милости просим! Такие клиенты, как вы, Аалок, одно удовольствие для гостиницы. И вообще, вы привезли с собой жизнь. Но только в следующий раз приезжайте уже не один. Приношу извинения за все те неудобства, которые, быть может, мы вам доставили.

Что это? Боль или сарказм? Аалок слишком устал, чтобы разбираться в хитросплетениях чужих слов. Какое-то время он стоял молча, опершись на колонну, но Кристина тоже молчала. Тогда он повернулся и побрел к себе. Он услышал, как за его спиной женщина тихо задула свечу. Ему хотелось обернуться, бросить еще один прощальный взгляд на нее, но усилием воли он заставил себя сдержаться. Он молча зашел к себе в комнату и закрыл дверь. До утра у него еще есть время, чтобы разобраться со своими чувствами к Манджари.

Если быть предельно откровенным с самим собой, то следует признаться, что с невестой он обошелся крайне несправедливо. В конце концов, чего он хотел от нее? Чего добивался? Ведь Манджари выросла совсем в иной среде, ее воспитывали совсем не так, как его. Подумал ли он хоть раз о том, что случится с ней, если он ее бросит? И каково это — оказаться в положении женщины, которую бросили?

С другой стороны, та же гора проблем и в случае, если он все же женится на Манджари. Вдруг он не сможет сделать ее счастливой, в том понимании счастья, которое привили ей родители. А он-то уж заранее знает, что никогда не сможет жить по тем стандартам, которые приняты в семье Манджари. Более того, он станет всячески избегать общения с ее родней и превратится, в конце концов, в нелюдимого мизантропа. И уж конечно родственники Манджари начнут во всем винить ее, а в результате, страдать они будут оба. И тогда под одной крышей будут жить уже не просто два одиночества, а два совершенно разных, но одинаково несчастных человека.

Итак, завтра он уезжает отсюда, вот только вопрос — куда? Всю ночь он не сомкнул глаз, и утро застало его за теми же невеселыми размышлениями о собственном будущем. Он с трудом заставил себя подняться с постели и умыться.

Шанкар принес ему завтрак прямо в комнату. На подносе лежал конверт. Вначале Аалок решил, что в нем — тот самый счет, о котором он вчера просил Кристину, но когда он вскрыл его, то увидел там коротенькое письмо, написанное ее рукой.

«Дорогой Аалок!

Не все в этом мире можно измерить с помощью рупий. Вот и я ночь напролет пыталась высчитать, сколько же Вы мне должны за те скромные услуги, которые были оказаны Вам в нашей гостинице, но так и не смогла определить точную сумму. Приношу свои извинения за то, что не совладала с арифметическими расчетами.

Более того, я виновата еще и в том, что сделала те четыре дня, которые Вы провели у нас, морально тяжелыми для Вас. Вы ведь приехали сюда в поисках новой жизни, а вместо этого погрузились в атмосферу тлена и смерти. Понимаю, что в этом повинна не только я, но какая-то доля вины есть и на мне. И за это тоже я прошу у Вас прощения.

А еще я прошу Вас, забудьте все, о чем я рассказала Вам в ту ужасную ночь. Несмотря на то, что это — правда, но это — далеко не вся правда, а потому забудьте все, как будто ничего и не было.

И последнее. Сделайте мне одолжение и не пытайтесь рассчитаться за проживание. Будем считать, что Вы просто были моим гостем.

С уважением,
Кристина».

Аалок молча пробежал глазами письмо. Оно потрясло его своей безыскусной простотой и нежностью.

— Шанкар! — обратился он после затянувшейся паузы к мальчику. — А где мадам?

— Она уехала в Даман рано утром, самым первым автобусом. А еще хозяйка приказала мне, чтобы я лично отвез вас на станцию и не забыл напомнить вам, что поезд отходит ровно в двенадцать часов дня.

В полном смятении духа Аалок отправился после завтрака на пляж. Был час прилива. Волны набегали одна на другую и рассыпались в мириады брызг, искрясь и переливаясь всеми цветами радуги в лучах восходящего солнца. Но в этом веселом шуме ему вдруг почудились дикие вскрики несчастной Гомти в последнюю минуту ее жизни, перед тем как земля поглотила ее навсегда.

Он разделся, аккуратно сложил одежду на песке и вошел в воду. Чтобы найти место, где можно будет уже начать плавать, идти придется далеко. Набегающие волны легко касались его ног, омывали их и неслись дальше, к берегу, а он все шел и шел вперед, не оглядываясь. Вот на горизонте замаячила рыбацкая лодка. И тогда он впервые оглянулся: опоясанный лентой из темно-зеленых кипарисов, перед ним простирался Урад. Вся деревня была видна как на ладони.

Наверное, Мехерван и Пило уже встали, подумал он, пьют свой утренний чай, ведут неспешные разговоры за завтраком. Или сидят молча, погруженные в воспоминания о своем умершем сынишке. А его душа, вознесшаяся высоко-высоко в небо, возможно, сейчас вольготно резвится на одной из вершин Альпийских гор.

— Ступайте ко мне! — говорит он с улыбкой, обращаясь к родителям. — Неужели вы все еще не можете подняться сюда? Здесь так хорошо!

А Тикекар и Шила? Что делают они? Чем заняты их мысли в этот утренний час? Ждут по своему обыкновению, когда за ними придет смерть? Но смерть никогда не

приходит к тем, кто ее ждет. Колеблющееся пламя свечи будет гореть и гореть до тех пор, пока не погаснет само. И никто не знает, когда это случится.

А Кристина? Что делает она? Наверное, уже исповедуется у отца Веланта. В чем?

Очередная волна ударилась о ногу и вдруг сжала ее со всех сторон. Он попытался оторвать ногу от илистого дна и не смог. Еще одна попытка, и с огромным усилием он приподнял ногу над водой. Длинная толстая змея обвилась вокруг ноги тугим кольцом, сжимая ногу все сильнее и сильнее. Аалок с трудом опустил ногу в воду, но змеиная хватка не ослабла. Тогда он попытался стряхнуть змею прямо под водой, но в этот момент его тело пронзила страшная боль, а уже в следующую минуту кольцо распалось, и он потерял сознание.

…Рано утром Кристина проснулась с дурными предчувствиями. Сегодня должно произойти что-то плохое, мелькнуло у нее. Даже в шуме доносящихся до нее звуков прибоя ей слышалось что-то грозное и неотвратимое, как рок. Она отправилась на автобусную остановку с тяжелым сердцем.

— Шанкар! — предупредила она мальчика, уходя из дома. — Сахиб сегодня уезжает. Передай ему за завтраком вот этот конверт и обязательно проводи до остановки. А если он изъявит желание, чтобы ты сопровождал его до железнодорожного вокзала, поезжай вместе с ним. И, пожалуйста, проследи, чтобы в гостинице был порядок, а все постояльцы были накормлены. Я вернусь поздно вечером, последним автобусом.

На автобусной остановке было пусто. Полусонный водитель пытался завести машину. Помимо нее в салоне сидело только два пассажира. Кондуктор обилетил всех троих и, устроившись на одном из пустых сидений, тотчас погрузился в дрему. Было еще темно, и Кристина, бесцельно глядя в окно, за которым все равно ничего не было видно, пыталась разобраться в своих смутных предчувствиях. Потом она стала думать о том, как вернется домой и все в ее гостинице будет таким же, как и прежде. Она спросит Шанкара: «Гость уехал?» И мальчик лишь молча кивнет ей в ответ. А она побоится начать расспрашивать его, как именно это было, в каком настроении уехал Аалок, был ли он весел, или, напротив, мрачен и хмур. Да и кто ей скажет правду? Кто знает, что на самом деле творилось в душе Аалока, когда он покидал их деревню? А потом она пойдет в его комнату и станет искать в ней следы его недолгого пребывания здесь. Тщетно! Разве что в гнетущей тишине все еще будут витать звуки тех слов, которые он когда-то говорил ей. Печальный, ни на кого не похожий человек так неожиданно ворвался в ее жизнь, и всего лишь за каких-то четыре дня. А потом уехал. И навсегда!

Когда автобус, наконец, приехал в Даман, уже рассвело. При свете первых лучей восходящего солнца все ее страхи стали казаться Кристине пустыми и надуманными. Пассажиры, которых по пути набился полный автобус, с веселым гомоном стали расходиться, каждый по свом делам. Кристина сошла в числе последних и сразу же направилась в церковь. Отец Велант служил утреннюю мессу. Его звучный голос разносился по всему храму, долетая до самых дальних его уголков.

— Слава Отцу и Сыну, — читал он слова молитвы, — и Святому Духу. Аминь!

После окончания службы Кристина подошла к священнику.

— Отец Велант! Хочу получить у вас благословение.

— Сегодня воскресный день, дочь моя, и многие пришли в храм специально, чтобы исповедаться. А потому только после того, как я исповедую всех желающих, — отец Велант перекрестил женщину. — Приходите после десяти. Думаю, к этому времени я уже управлюсь.

Кристина вышла на улицу и молча побрела по тротуару, все еще переживая те чувства, которые у нее вызвала сама служба и та проповедь, с которой сегодня выступал перед прихожанами отец Велант.

Внезапно она услышала резкий звук тормозов. Рядом с ней остановилась машина. Кристина подняла голову и увидела Мехервана и Пило.

— Какими судьбами? — радостно воскликнул Мехерван.

— Сегодня же воскресенье, — пояснила ему Кристина. — Вот я и приехала в церковь на службу.

— Тогда просим к нам, на утренний чай!

Кристина знала, что доктор приобрел себе в Дамане дом и они с женой часто проводят выходные в городе. Просторное бунгало располагалось прямо на берегу моря. На террасе уже был сервирован стол к завтраку. Кристина молча уставилась на морскую гладь. Сами собой вдруг всплыли в ее памяти слова Аалока, которые он сказал ей в первый же день их встречи. «У меня такое чувство, что для обитателей вашей деревни Даман — это нечто вроде пугала. Название этого портового города обязательно всплывает в каждом разговоре с местными. Вы к нему относитесь, как к живому человеку».

А ведь если вдуматься, то чем Даман лучше их Урада? Такой же грязный, разве что электрическое освещение по ночам делает его похожим на город.

— Вот не знал, что Аалок собрался сегодня уехать! — сокрушенно вздохнул Мехерван. — Иначе бы обязательно остался, чтобы попрощаться с ним.

— По-моему, он принял решение о своем отъезде внезапно. Вчера ночью, — ответила Кристина.

— Хороший человек! — сказала Пило. — Мы сегодня утром как раз вспоминали его, пока ехали сюда. Нам всем будет не хватать Аалока.

— Да! — поддержал ее муж. — Мне он очень нравится. И то, как он относился к вам, мне тоже пришлось по душе.

— Не понимаю вас! — немного растерялась Кристина.

— Мне нравилось, с каким уважительным почтением он всегда отзывался о вас. Не сочтите мои слова за дерзость, но у меня такое чувство, что он влюбился в вас.

— Ах, доктор! Все эти разговоры о любви хороши до определенного возраста. А потом, — Кристина вздохнула и продолжила, стараясь быть предельно убедительной: — А потом ты уже смотришь на все совершенно иными глазами. Кончено. Аалок — очень милый и обходительный молодой человек. И беседовать с ним было одно удовольствие. Но именно беседовать, и ничего более! А вы не хуже меня знаете, как редко люди влюбляются в тех, с кем им приятно разговаривать.

Кристина замолчала и снова обратила свой взор к морю.

— Прошу простить меня, — начал несколько сконфуженным тоном Мехерван, — если я чем-то обидел вас. Мне не стоило заводить этот разговор.

— Вы ничем меня не обидели, доктор! — успокоила его Кристина. — Просто у меня сегодня с самого утра тяжело на душе, сама не знаю, почему.

— Кристина, приходите к нам на обед! — пригласила ее Пило. — А вечером мы можем вместе вернуться в Урад.

Кристина поблагодарила ее за приглашение и сразу же после завтрака снова отправилась в церковь. Народу внутри было уже совсем мало. Кристина подошла к лику Девы Марии и молча преклонила перед ней колени.

«Вспомните, как страдал наш Спаситель на кресте, — вдруг вспомнила она слова священника из утренней проповеди. — И что значат наши страдания в сравнении с Его крестными муками?»

Она закрыла глаза и представила себе человека, несущего крест. Крики разъяренной толпы, пинки и удары палками стражников, ведущих Его на Голгофу, и Его глаза, полные всепрощения и любви ко всем этим грешникам. Его глаза! Они так поразительно похожи на…

Она резко поднялась с колен. Разве сейчас она думала об Иисусе? Разве Его видела в своем воображении?

— Господи! — прошептала она испуганно. — Я грешна пред Тобой! Я грешна!

С побелевшим лицом она перекрестилась и вошла в комнату священника. Отец Велант был один. В распахнутые окна врывалась свежесть утреннего сада, пахло зеленью и травой. На столике подле окна лежало деревянное распятье.

Еще никогда Кристина не входила в эту комнату в столь подавленном состоянии духа, такой растерянной и жалкой. Лицо ее было мертвенно белым, губы дрожали. Она преклонила перед священником колени и тихо сказала:

— Каюсь, отец, грешна. И все же прошу вашего благословения.

Священник одарил женщину ласковым взглядом.

— Успокойтесь, Кристина. И, пожалуйста, садитесь. И да поможет вам Матерь Божья.

— Отец, я согрешила.

— Искреннее раскаяние — уже есть первый шаг к искуплению своих грехов. Покайтесь, и будете прощены!

— Отец! Недавно в моей гостинице появился новый постоялец. Я никогда раньше не видела этого человека. И вот…

Священник молча выслушал рассказ Кристины, включая события той ночи, когда она показала Аалоку свое уродство на теле.

— Это все? — спросил он ее, когда та замолчала.

— Отец, мне кажется, я люблю этого человека.

— Любите своим телом?

— Нет, но…

— Вы связаны с этим мужчиной какими-нибудь обязательствами?

— Нет, но он нашел место в моем сердце… и в моих мыслях тоже.

— Вы знаете, где находится в настоящее время ваш муж?

— Нет. Я не видела его уже восемь лет.

— Восемь лет — огромный срок. Вы все еще любите его?

— Не знаю. Недавно мне казалось, что да. Но сейчас я в этом не уверена.

— Этот молодой человек, он — христианин?

— Нет.

— Женат?

— Нет, но он помолвлен.

— Кристина, дитя мое! Любить такого человека — большой грех. Но если вы сейчас покаетесь от всего сердца, то Господь, конечно же, простит вас по милости Своей.

— Отец, мне можно выйти за него замуж? — вопрос сорвался с ее уст сам собой. Кристина вовсе не хотела спрашивать священника о столь очевидных вещах, умом понимая всю бесплодность своих желаний.

— Кристина! Вы — замужняя женщина и христианка к тому же, а следовательно, обязаны хранить верность своему мужу. Гоните прочь от себя греховные мысли!

— Тогда накажите меня, отец! Дайте мне возможность искупить свой грех.

— Дочь моя! Вы уже искупили его своими страданиями! А впредь держите свой ум в чистоте. Господь даровал вам жизнь, чтобы вы наслаждались красотой этого мира. Верьте в Бога, и Он не оставит вас в беде. И помните, у каждого из нас — свой крест, и нам предстоит нести его до конца своих дней. Все в руце Божьей. Кто знает, быть может, ваши теперешние страдания обернутся особой благодатью. Некоторые в погоне за эфемерным счастьем легко вступают на путь греха, но те, кто живет скорбями, никогда не собьются с пути истины.

Что ж, собственное будущее представлялось Кристине после разговора со священником вполне определенным. Счастье для нее — это грех, ее путь — это дорога страданий и скорби. Она вышла из церкви в глубокой задумчивости, даже не заметив поджидающих ее Пило и Мехервана.

— Почему вы здесь? — удивилась Кристина.

— Быстро садитесь в машину! Мы срочно выезжаем в Урад.

— Что случилось? — испугалась она.

— Пока сами ничего толком не знаем. Шанкар передал записку с одним из пассажиров утреннего автобуса. Аалока укусила змея. Даст бог, все обойдется, и там нет ничего серьезного. Но надо ехать и смотреть на месте.

Кристина молчала, окаменев от ужаса. И только слезы брызнули из ее глаз.

— Кристина! Прошу вас! — обняла ее за плечи Пило. — Не переживайте вы так сильно. Вот увидите, все будет хорошо.

— Да! — подхватил ее муж. — Ведь это же морская змея. А они, по большей части, совсем не ядовиты. Надеюсь, заражения крови не произошло, и мы успеем как раз вовремя, чтобы помочь ему.

Вот они, пророческие слова напутствия, с которыми ее сегодня отпустил отец Велант. Ее путь — это путь скорбей и горя, и надо идти по нему до конца. А она греховна. Греховна в том, что позволила молодому человеку влюбиться в себя. И это несмотря на то, что она старше его, что у него впереди карьера и собственная жизнь. А что его чувства к ней? Не похожи ли они на те молоденькие зеленые листочки,

которыми покрываются некоторые деревья по весне, чтобы уже осенью с легкостью уронить их на землю? Да и что она, в сущности, знает о нем? Например, как он поведет себя в сложных или даже критических обстоятельствах. И эта его печать меланхолии на лице, не маска ли это, за которой скрывается совсем другой человек? И вместе с тем, Аалок так не похож на остальных мужчин. Для него понятие женщины гораздо шире, чем просто ее тело или физическая красота. Иначе зачем бы ему оставаться в обществе обезображенной женщины?

А ведь она дала ему так мало, так ничтожно мало! Всего лишь рассказала пару забавных историй из прошлого да навела на него тоску собственными воспоминаниями.

Все пространство вокруг Аалока было заполнено голосами. Ему казалось, что там, за пологом его постели, собралась огромная толпа людей, и все они галдят, шумят, теснят его, обступая со всех сторон.

— Уберите их! — воскликнул он в агонии. — И опустите полог.

— Расслабьтесь и лежите спокойно, сэр! — сказал ему чей-то до боли знакомый голос. — Сейчас вам станет легче и все будет хорошо.

Аалок мечтательно улыбнулся. Все будет хорошо! Он смутно помнил цепь предшествующих событий: укус змеи, потом нестерпимая боль, забытье и бесконечные кошмары, сливающиеся в один непрерывный бред.

Неужели у смерти такое же острое и ядовитое жало, как и у той змеи, что его укусила? Он с трудом открыл глаза и обнаружил, что лежит у себя в комнате, а рядом с ним Шанкар и еще какие-то незнакомые люди. Но среди них не было Мехервана!

— Доктор! — прошептал он с трудом, разжимая губы.

— Сэр! Он уехал в Даман. Но мы послали ему записку. Он должен вот-вот вернуться.

— Вы, образованные люди, мало верите в наши допотопные способы лечения, — проговорил мужчина, стоящий рядом с ним. — Я знаю это. И все же, прошу вас, сэр! Позвольте мне пригласить сюда знакомого заклинателя змей. У этого факира на счету десятки спасенных жизней тех несчастных, которых покусали змеи. Он действительно знает, как разговаривать с верховным богом змеиного царства. Ведь мы, в любом случае, ничего не теряем, сэр! Пока доктор Мехерван еще не приехал, пусть этот старик продемонстрирует нам свое искусство.

— Пусть! — согласился Аалок. В самом деле, что ему терять, если смерть уже стоит рядом с ним. Ах, какое нестерпимо горячее солнце сегодня. И цвет у него необычный. Солнечный диск напомнил ему раскаленную медь. Разве у солнца может быть такой странный цвет?

А потом появился факир и неспешно начал готовиться к своему представлению. И даже Аалок, словно зачарованный, наблюдал за легкими движениями его рук, за его виртуозными пассами, за тем, как он разговаривал с коброй, шепотом пытаясь выяснить у нее нечто очень важное, касающееся будущего Аалока. А потом все заволокло туманом, дым от благовоний заполнил комнату, и, словно во сне, он услышал слова своего приговора:

— У тебя в запасе сорок восемь часов, бабу. Боги даровали тебе целых сорок восемь часов жизни. Радуйся!

Вот так! Целых сорок восемь часов, и все эти часы, до последней минуты, он проведет здесь, лежа вот на этой кровати. Заклинатель прижал горящий уголек к месту укуса. На какое-то мгновенье боль отступила, но тотчас же по всему телу разлилась невыразимая тяжесть. Будто к рукам и ногам его привязали тяжеленные гири, и он не может пошевелить даже пальцем. А потом боль вернулась и стала еще более нестерпимой, чем прежде. Аалок скрежетал зубами, с трудом сдерживая крики. Самодельные обезболивающие, которые наперебой предлагали те, кто собрался в комнате, не помогали: боль не отступала.

— Сэр! — над ним склонилось лицо, в котором он с трудом узнал бродячего актера, того самого, с кем познакомился на пляже в первый день после приезда в Урад. Господи, как же давно это было! Он тогда еще рассказывал ему о своей труппе, которую возглавляет, и даже приглашал на вечернее представление. — Сэр! Продиктуйте мне, пожалуйста, свой адрес. Я отправлю телеграмму вашим близким.

— В этом нет нужды! Скоро приедет Мехерван. Он мне поможет. Все говорят, у него золотые руки. Лучше прочитай мне какой-нибудь свой монолог.

— Мне ничего не приходит в голову, сэр! Я не вспомню сейчас ни единой строки. Разве что, как молился царь Бабур у постели умирающего сына. «Господи! Отдай мою жизнь ему, а я возьму на себя его страдания».

Глаза бродячего актера наполнились слезами. А ведь он сейчас не играет, подумал Аалок. Такое не сыграешь. Да и разве можно играть перед лицом смерти? Перед ней меркнет все, даже искусство. И искусство врачевания тоже. Мехерван, спасший стольких людей, не сумел помочь собственному сыну. Даже самый опытный врач никогда не может сказать со всей определенностью, имеет ли он дело в данный момент с болезнью своего пациента или это смотрит ему в лицо уже сама смерть.

И что толку звать сюда Манджари? Она примчится в Урад с кучей родственников, которые будут тут стенать, отравляя своими рыданиями его последние часы. Нет-нет! Он совсем не готов к встрече с Манджари, тем более, в его нынешнем состоянии. Уж лучше ему раствориться в вечности, провалиться сквозь землю, как несчастная Гомти.

А актер между тем все говорил и говорил, стараясь не дать Аалоку заснуть до приезда врача.

— Сэр, я уже много лет колешу по окрестностям со своей труппой. У нас в репертуаре по двенадцать — пятнадцать спектаклей, и мы играем каждый день. Я устал. Я очень устал. Мне все это страшно надоело.

— Но почему?

— Судите сами. Каждый спектакль длится всего лишь три часа, а остальные двадцать один час актер варится в реальной жизни. На сцене ты играешь пылкого любовника, а в жизни вынужден препираться со своей партнершей, потому что артистку не устраивает ее собственное жалование. Или еще что-нибудь. Вот и получается, что переходы от любви до ненависти мы порой совершаем на такой головокружительной скорости, что не успеваешь этого даже заметить. А все это так омерзительно. Издержки профессии, одним словом. Но чтобы не умереть с голоду, мы обязаны играть и играть, что ни день давая новое представление, постоянно переезжая с места на место.

А ведь он уже не молод, подумал Аалок, бросив сочувственный взгляд на собеседника. И конечно же устал. Еще пару лет, и он уже не сможет играть главные роли в своих спектаклях, перейдет на характерные роли. Станет появляться в эпизодах, а потом у него не хватит сил и на то, чтобы руководить труппой. Что ждет его тогда? Внезапно он увидел в дверях Кристину. Из-за ее спины выглядывала Пило. Удивительно, как меняются лица у тех, кто стоит у постели умирающего, мелькнуло у него. Ведь лицо Кристины было совсем другим, когда они беседовали с ней вчера. Впрочем, тогда они говорили о жизни, о будущем, а сегодня вокруг него только смерть. Он взглянул на Пило. Женщина значительно лучше владела собой, хотя лицо ее тоже было встревоженным и печальным.

— Мехерван побежал домой за своими инструментами и лекарствами, — пояснила она отсутствие мужа.

Кристина подошла к кровати и, сев рядом, осторожно коснулась рукой его лба.

Аалок изобразил вымученную улыбку. Даже легкое прикосновение ее руки доставило ему невыносимые страдания. В эту минуту в комнату вошел Мехерван со своим неизменным чемоданчиком в руке.

— Ну, что у нас тут? — деловито поинтересовался он у Аалока и немедленно стал прослушивать его пульс. Лицо его сделалось озабоченным, и это не ускользнуло ни от Аалока, ни от Кристины. Потом он внимательно осмотрел место укуса, пощупал ступню ноги и икру. Они полностью онемели. Мехерван приготовил шприц.

— Все не так страшно! — обнадежил он больного после укола. — Потерпите еще немного, Аалок, и скоро вы поправитесь. А теперь постарайтесь заснуть.

— Кристина! — обратился он к хозяйке гостиницы уже за дверью комнаты Аалока. — Возле его постели нужно организовать постоянное дежурство. До четырех утра с ним останусь я. Буду делать ему инъекции каждый час, а потом нам следует очень внимательно следить за реакцией его организма. Если все пойдет, как я надеюсь, то тогда у него есть шанс выкарабкаться.

— Значит, он не умрет?

— Я на это очень надеюсь, но кто знает?

— Как вы считаете, мне следует известить его близких о случившемся?

— Думаю, да.

Они снова вернулись в комнату.

— Аалок, дайте мне, пожалуйста, ваш адрес. Я хочу известить вашу семью о случившемся.

— У меня нет семьи, Кристина. Я же говорил вам об этом.

— Хорошо! Но у вас есть друзья, партнеры по бизнесу. Наконец, у вас есть невеста. Позвольте мне написать Манджари!

— Только не сейчас! — сказал, как отрезал, Аалок.

— Послушайте меня, Аалок! Сейчас я разговариваю с вами, прежде всего, как хозяйка гостиницы. Если у кого-то из моих постояльцев случается беда, моя прямая обязанность уведомить его родственников о том, что произошло.

— У вас еще будет достаточно времени исполнить свои прямые обязанности, Кристина. Но не сейчас!

— Но что плохого в том, если она отправит телеграмму вашей невесте? — вмешался Мехерван.

— Доктор, вы тоже, как и факир, считаете, что жить мне осталось не больше сорока восьми часов?

Вопрос, заданный прямо в лоб, испугал Мехервана.

— При чем здесь это? — постарался он уйти от ответа. — Да, случай тяжелый, и я не скрываю своих опасений. Заражение сильное, и вам придется провести в постели, по меньшей мере месяц, если не больше. Родственники смогли бы организовать ваш переезд в Бомбей.

— Во всем Бомбее не сыщешь врача лучше вас, Мехерван! — слабо улыбнулся Аалок. — Подождем до завтрашнего утра, ладно? А там посылайте свою телеграмму, я не буду возражать.

Наступило утро, за ним день. Страдания не утихали. Аалок чувствовал, как силы его угасают, даже говорить ему стало трудно. Но Мехерван предупредил Кристину заранее, что реакция на уколы может быть самой разной, в том числе и такой: полнейшая апатия и безразличие ко всему.

Кристина дежурила возле его постели неотлучно. В одну из коротких пауз, когда боль немного ослабла, Аалок взял ее за руку.

— Кристина! Не стоит так убиваться обо мне. Ведь все, что было между нами, — это всего лишь иллюзия, не более того. Подумайте сами! Такая разница в возрасте, социальные различия и все такое. Разве мог я помышлять о чем-то серьезном? С Вами? С Манджари? Поэтому я играл с Вами. Да, вот такой я, жестокий и бессердечный человек. Смахнул рукой бумажные фигурки, и нет их вообще, словно и не было. Но вот и сам превратился в марионетку, которую жизнь смахивает рукой со своей сцены.

— Вы сказали все что хотели? — холодно спросила у него Кристина.

— Да. То есть, почти все! — самообладание женщины вернуло Аалока к действительности.

— Тогда послушайте и вы меня! В том, что вы только что мне сказали, нет ни единого слова правды. Это — во-первых. Во-вторых, я, со своей стороны, тоже хорошо понимала, чем могли бы закончиться мои отношения с вами, дай я волю своим чувствам. Но я этой воли не дала! Разве вы не знаете, Аалок? Те, кто бдительно стоят на страже собственных чувств, никогда не влюбляются. Никогда! К тому же, я уже зрелая женщина, и хорошо знаю, что такое любовь и что такое физическое желание, которое для большинства мужчин и является главным в любви. Так что после этого значат для меня ваши слова?

— Да, вы правы, Кристина! — Аалок слушал ее словно в трансе. — Вы тысячу раз правы! Осторожные люди, слишком внимательно отслеживающие все, что происходит вокруг них, они никогда не влюбляются. Это правда!

Так прошел день, и снова наступила ночь. Ближе к полуночи пришел Мехерван и осмотрел больного. Отек ноги не спадал. Он распорядился, чтобы Аалоку сделали припарку, и заставил его выпить чашку горячего молока.

Случай действительно был очень тяжелым. Ведь змея укусила Аалока прямо в воде. И какое-то время он пролежал без сознания тоже в воде. Это способствовало быстрейшему заражению всего организма. Пожалуй, в такой ситуации нужно переливание крови, но для этого больного нужно транспортировать хотя бы в Даман, где есть больница и имеются все условия для подобной процедуры. Выслушав предложение Мехервана, Аалок наотрез отказался ехать в Даман. Он даже соврал, сказав, что ему полегчало и он постарается заснуть.

Маленький Шанкар мирно дремал в кресле подле него, Кристина устроилась в соседней комнате, а он лежал без сна, прислушиваясь к звукам, доносящимся с улицы. В этот полуночный час было тихо, разве что водяной насос по-прежнему делал свою работу, медленно качая воду. Но этот звук уже больше не пугал его своей таинственностью: секрет раскрыт, и все понятно. Вот так и человеческая жизнь, его жизнь, которая казалась ему похожей на головоломку, на хитроумную шараду, придуманную бог знает кем. А в итоге все оказалось до обидного просто и банально. И совершенно бессмысленно.

Где-то вдалеке прокукарекал петух. Почему-то принято считать, что петушиное пение предвещает начало нового дня. Но в этом сонном царстве, каким является деревня Урад, даже среди белого дня кукарекающий петух вряд ли разбудит ее спящих жителей. Кто же будет с ним в тот момент, когда погаснет его свеча? Кто, снова и снова спрашивал себя Аалок. Кто благословит мой переход в иной мир, прикоснувшись к моему холодному лбу? Пусть бы это была Кристина! И тогда бы я ушел отсюда умиротворенным, без сожаления и страха.

Кажется, я понял, в чем состоит суть любви, удивился собственным мыслям Аалок. Все ведь так просто. Каждый из нас очерчивает вокруг себя круг, а потом два круга пересекаются во Вселенной, накладываясь друг на друга. Именно в этом месте пересечения и зарождается любовь, ибо в какой-то определенный момент двое оказываются в одной плоскости, в системе одних и тех же пространственных координат, они начинают чувствовать друг друга и жить один одним. Как они с Кристиной. С Манджари у него все было не так.

— Кристина! — позвал он ее слабым голосом, и когда она вошла в комнату, сказал: — Дай мне слово, что если я умру, ты выполнишь мою последнюю просьбу!

Ответа не последовало. За окнами забрезжило утро. Тусклый свет пробивался сквозь плотно задвинутые шторы, в слабом свете ночника лицо Аалока казалось неестественно желтым.

Чего он хочет от нее, думала она, медля с ответом. До каких глубин ее души хочет он докопаться в этот предрассветный час?

— Кристина! — повторил он. — Если я умру, то …

Кристина безмолвно смотрела на него.

— Если я умру и мои глаза останутся открытыми, прошу тебя, закрой их своей обезображенной грудью, — прошептал он, с трудом подбирая слова. — Быть может, я сумею тогда помочь тебе, сумею забрать с собой всю твою боль, твое уродство, твои страдания. Пусть все это отлетит от тебя прочь вместе с моей душой. Обещаешь?

Неужели он только что признался в любви ко мне? Или им движет лишь жалость, подумала женщина, но сказала вслух:

— Последнее желание умирающего — закон для тех, кто остается жить. Но, Аалок, что, если ты…

Она не докончила свой вопрос, и его недосказанность повисла в комнате, наполнив ее самыми разнообразными звуками. Что, если ты, услышал он в мерном стуке работающего насоса. И шум прибоя эхом повторил этот же вопрос. Аалок с напряжением вслушивался в далекие раскаты эха. Кажется, там было продолжение.

— А что, если ты останешься жить?

Перевод с английского Зинаиды Красневской.



В объятиях умной Души

Современная индийская поэзия утверждает те же духовные ценности, что и великие индийские поэты, такие, как Утпал К. Бандерджи, Шри Ауробиндо Гхош, Рабиндранат Тагор. Духовность человеческого бытия, любовь к своему ближнему, стремление к совершенству, просветлению, которое еще в в древней «Брихадараньака Упанишах» сравнивается с тем, что чувствует человек «в объятиях умной Души», поиск истинного пути к Богу. Постоянно меняющаяся жизнь вносит, безусловно, свои интонации в современную поэзию, но неизменным в ней остается главное: попытка разобраться в сущности времени, смысле всего живущего, думающего, страдающего и радующегося. Из такой духовной материи состоит философский камень современной индийской поэзии, в чем мы предлагаем убедиться читателю на примерах ее лучших представителей.

НАВАЛ

Осознание

Я в зеркале на физию свою
С почтительным взираю удивленьем:
Подумать! — ни следа минувших бурь,
И безмятежность, даже апатичность,
Опять нашла пристанище свое.
Событий вихрь улегся, как котенок,
Как будто их и не было совсем.
Так ничего не происходит с телом,
Которое на дрогах похоронных
Под саваном плывет в последний путь.
А, собственно, зачем ждать от лица,
Чтобы оно, как чурка, выдавало
Кому ни попадя всю жизнь души?
Я не молчун, но голос мой не станет
Теряться в какофонии толпы.
Да я и не примкну к несчастным — к тем,
Чей труд ходьбы в процессии наемной
Оплачен не скупясь: шик похорон
Минувших дней немалых денег стоит.
Идеалистов тоже не люблю:
Материю словами не измеришь;
Вот, скажем, время — голову сломя
Летит оно, скажи-ка, почему?
В привычные не верю толкованья
Того, кто не умеет примечать
И, постигая, слишком уж ретив.
Такой, признаньем общим, — не мешок
С костями-мясом, но без глаз, однако,
А это значит — что без головы.

СУНИЛ КУМАР НАГ

Поэзия вечна

«Да разве ты еще стихи не бросил?» —
Мой старый друг был изумлен.
«Да нет, а что? Вот несколько
Последних. Может, взглянешь?
Спустя минуту-две
В глазах его сверкнули
Косые лучики сарказма —
Уставшее так светит солнце,
Которое о нас побольше знает,
Чем мы предполагаем.
Он сказал:
«Ты уж почти старик, мой друг...
И времена совсем не стали лучше.
А у тебя семья. Кроме всего...» —
«Кроме всего...» Я оборвал его нравоученье:
«Есть у меня еще немного лет и сил,
Чтобы прожить в союзе с милой Музой.
Ты знаешь, что такое жизнь.
Ведь это постоянная растрата,
Пусть по чуть-чуть, но каждый час,
И день, и месяц, год и годы.
Теряя их, теряемся мы сами.
А голод вечный, нищета?
Они, как пули, нас изрешетят
Еще до старости.
По ранам люди судят о судьбе.
Но-тем-не-ме-нее!
Средь всех невзгод и бедствий
Моя душа стремится каждый день
Час или два из жалких будней вырвать
И, форму вылепив, их в вечность превратить.
И что бы в центре сущности моей
От мира ни скрывалось до поры —
Беспомощное, как пузырьки
На море, что себя забыло,
Или смущенное, расстроенное, как вода,
Разрушившая без толку плотину, —
Покуда жив, я буду жаждать
Плыть за мечтою сердца иль лететь
За ней в словесном оперенье формы.

ОНКАР СИНГХ АВАРА

Что наша жизнь?

Что наша жизнь?
Предлинный реквием?
Личинка златки грушевой
Или еще какой-то тли?
Зуд унизительный?
Почешешься — такое наслажденье!

Не прикоснулся — нет мученья злей.
Что наша жизнь?
Здесь каждый сам на сам.
По мне — бесценный розы лепесток,
Изящный, привлекательный и нежный;
Слепящий луч невинного влеченья;
Миг ожиданья острой новизны;
И бритвы лезвие, наточенное так,
Что о него обрежется и взгляд.
А вызволение от разных пут
Не означает жить на всю катушку?
Что наша жизнь?
Пить горькое и сладкое из этого сосуда?
(Хоть ощущенью, вкусу все равно,
В неволе ты иль на свободе.)

ДОКТОР КРИШНА СРИНИВАС

Огонь везде

Красный огонь — сумасшедствие солнца.
Белый огонь — белая кровь месяца.
Темный огонь — томный хмель ночи.
Серый огонь — бессмертие пыли.
Голубой огонь — свет волны и неба.
Непроницаемый огонь — гордость небес.
Мрачный огонь — тяжелый сон облаков.
Зеленый огонь — вдохновение растений.
Черный огонь — приходящий муж полуночи.
Холодный огонь — колкая трезвость утра.
Долгий огонь — быстрое колесо велосипеда.
Мертвый огонь — завтрашняя месть чурки.

БАРНИК РОЙ

Глаза бы не смотрели на нее!

Я должен буду уйти.
Передо мной земля,
Приятно потягивающаяся,
Как поле после сенокоса.
Свирепой зелени в лесах-чащобах гибель.
Потоки мутные дождя,
Провозгласившие ручей рекой
На сходке темных облаков.
Метанья радостные теней —
Незримых крыльев в полуночи —
На фоне изгороди или кустов;
Парадное свечение неона,
Он в сердце отражается моем
Лучом, на лезвие подобным.
Крылоплесканья утреннему солнцу;
Сиянье непорочных женских глаз;
Одна мелодия владеет миром,
Она и суть его и форма.

Затем... все разлетается в кусочки,
И на воде холодной моего сознанья
Пустые лопаются пузыри,
И бывшее (еще вчера живое)
Безвольно погружается на дно.
И ничего взамен не остается —
Потери нет и нет приобретенья.
Беззвучно музыка в крови моей течет;
Приходит смерть ко мне, садится рядом.
Глаза бы не смотрели на нее!

ДЖАЯНТ ПАТХАК

Любовь

Нет, любовь вовсе не рабство.
Она — биение исполинского сердца
В широкой груди Мирозданья.
И вовсе не буря эмоций —
А умиротворение сердца,
Похожее на счастливое оцепенение.
Нет, любовь вовсе не милость,
Не снисхождение иль потаканье капризам,
Но — благостное проникновение
Души в душу.
Любовь не только влечение,
Она — отказ от себя
Для блага всего мира.

ПАРТХА БАНДИОПАДХАЯ

Не бойся, мой мальчик

Не бойся,
Не бойся, мой мальчик.
Эта змея — не кобра
И не гадюка;
Явно из рода неядовитых.
Если она укусит в ногу,
Ну поболит у тебя шрамчик
День или два.
А если ты схватишь палку, мой мальчик,
И замахнешься отважно,
Ты вдруг увидишь, как эта змея
Лежит, холодно поблескивая,
И свернувшись колечком,
У твоих ног.
Поэтому не бойся,
Не бойся, мой мальчик.

Перевод с английского Юрия Сапожкова.



АЛЕКСАНДР КАРСКИЙ

*Академик Карский**

Глава 3. Минская Духовная Семинария

В первом классе Семинарии

Все поступавшие предварительно осматривались семинарским врачом, который обязан был письменно донести Правлению, кто из осмотренных им и почему не может быть принят. Штатным врачом Семинарии в те годы был опытный Иван Иванович Архангельский (в должности с 1868 года). Думается, здоровье физически очень крепкого Евфимия Новицкого не вызвало у него никаких сомнений.

Евфимию уже давно исполнилось 16 лет, а это был предельный возраст для поступающих, поскольку в § 121 Высочайше утвержденного Устава Православных Духовных Семинарий прямо говорилось: «В первый класс поступают в возрасте от 14 до 16 лет, основательно знающие предметы, преподаваемые в Духовных училищах». Для того, чтобы ненароком не зачислить переростка, в семинарской канцелярии требовали от поступающих вместе с прошением о приеме предъявлять и метрическое свидетельство (или выписку из метрической книги).

У Евфимия Новицкого был в жизни единственный шанс продолжить образование. Поступать надо было с первой же попытки.

Отбор осуществлялся строгий, поскольку желающих поступить было гораздо больше, чем мест: в Минск съезжались наиболее способные выпускники и других уездных Духовных училищ Минской епархии — Слуцкого, Пинского и Божинского. Приемные испытания производились согласно § 139 Устава приемной комиссией, избранной Правлением в педагогическом собрании Семинарии из числа его членов. Протоколов вступительных экзаменов 1877 года в моем распоряжении нет, однако не вызывает сомнения, что отличник Минского Духовного училища Евфимий Новицкий показал хорошие знания и потому был зачислен без каких-либо проблем.

«Определение Правления Минской Духовной Семинарии.

…разрядной список на 1877/78 учебный год представить в следующем порядке и виде:

…Класс I. Разряд первый.

…**Новицкий Евфимий**…».

В списке Евфимий Новицкий четвертый по счету. Всего из вновь поступивших в первый разряд записаны 7, во второй — 43. Таким образом, всего в классе оказалось 50 учеников, как и требовал § 130 Устава. При этом более половины класса — это выпускники Минского Духовного училища, с большинством из них Евфимий проучился уже шесть лет. Но были и способные, неплохо подготовленные ребята из Слуцкого и Пинского училищ.

Согласно § 9 Устава плата за обучение в Семинарии не взималась. Но за пребывание в общежитии, за питание, за одежду, разумеется, следовало платить. В отличие

* Продолжение. Начало в № 9, 2010 г.

от Духовного училища, здесь не было полупансионеров. Казеннокоштные жили на полном казенном обеспечении, пансионеры обязаны были вносить такую плату, которая должна была покрывать все расходы на проживание в корпусе и питание.

«Сведения о личном составе Начальников, Наставников и воспитанников Минской Духовной Семинарии за минувший 1877 год.

1. Начальников и Наставников в Семинарии было 16.

2. Воспитанников в Семинарии было 161; из них 83 пользовались полным казеннокоштным содержанием, 47 состояли пансионерами (с платою 70 р. в год) и 31 воспитывались на собственные деньги их родителей».

Следует заметить, что плату с 50 до 70 рублей повысили как раз к началу нового учебного года. При этом за форменную одежду и обувь следовало платить еще отдельно.

Конечно, поступившие в Семинарию мечтали попасть в число казеннокоштных и тем облегчить положение родителей, поэтому все подали соответствующие прошения. Подал его и Евфимий Новицкий. §10 Устава: «Сироты и дети бедных родителей, отличающиеся успехами в науках и добрым поведением, принимаются на казенное содержание по числу определяемых от Святейшего Синода ваканций, соответственно потребностям каждой епархии». Семья Новицких, несомненно, жила очень бедно: детей много, а Феодор все еще был и. д. псаломщика. Видимо, от голода спасала только церковная земля. Платить 70 рублей в год — страшное бремя!

Отбор на казенное содержание был очень жестким. Оказалось очень много сирот и выходцев из прямо-таки нищих семей. Так, например, один отличник, Николай Будзилович, был сыном заштатного дьячка без жалованья.

«Определение педагогического собрания правления семинарии.

...6. Слушали прошение о принятии на казенное содержание учеников…

I-го кл. — **Евфимия Новицкого**…

Определили: 1) Объявить вышеозначенным ученикам, что все казеннокоштные вакансии замещены; 2) прошения беднейших и лучших из упомянутых учеников иметь в виду при имеющих открыться казеннокоштных вакансиях».

На казенный кошт претендовали и получили отказ 19 поступивших в Семинарию. Евфимий Новицкий в этом списке стоит первым, то есть у него, благодаря успехам в учебе, были наибольшие шансы, но ни единой вакансии за целый год так и не открылось.

Семинарские порядки и правила

Полный курс Семинарии в то время составлял 6 лет. Первые два класса по старинке, с дореформенных времен, назывались «словесность» или «риторика». Средние классы — третий и четвертый — «философия». А два старших — «Богословие». Только окончившие полный курс по первому разряду получали звание студента и могли затем успешно строить карьеру по духовному ведомству — поступать в Духовную Академию, становиться настоятелями церквей либо устраиваться преподавателями в Духовные училища.

Учиться было очень непросто. От семинаристов требовалось многое знать, что называется, назубок. Классы «словесников» и «философов» были довольно большими, допускалось до 50 человек, преподавание носило лекционный характер. Часто устраивались письменные проверки знаний: сочинения, решение математических задач, переводы с латыни и древнегреческого. Далеко не все выдерживали напряженную учебу, многих отчисляли. После первого года учебы в классе Евфимия Новицкого осталось 43 юноши, еще через год — всего 29. Недоучившиеся в Семинарии уже никогда не могли стать священниками, их удел — причетнические должности.

Отчисляли не только за слабую успеваемость, но и за недостойное поведение. «Нарушение учениками приличия и общепринятых условий вежливости,

неучтивые, грубые, оскорбительные шутки и подобные проступки, особенно ложь, должны быть строго преследуемы» (§ 156 Устава). «Меры исправления воспитанников избираются Правлением Семинарии… со строгою разборчивостью в отношении к их роду и качеству…» (§ 157). «Высшее наказание в Семинарии составляет исключение…» (§ 159).

В Минской Духовной Семинарии были разработаны свои «Правила поведения для воспитанников». За основу, конечно, был взят все тот же Устав, но некоторые положения его конкретизированы и дополнены. Приведу несколько выдержек из этих «Правил».

«1. Правила поведения в часы, назначенные для молитвы и Богослужения.

§ 6. Ежедневно воспитанники в назначенные часы должны являться на молитву, утреннюю в 7 часов утра и вечернюю в 9 часов вечера.

§ 7. Молитвы утренние и вечерние читаются по очереди всеми учениками; некоторые же, по указанию семинарского начальства, поются совместно всеми.

§ 8. Во все воскресные и праздничные дни все ученики, как живущие в семинарии, так и вне оной, должны неопустительно присутствовать при Богослужении всенощном и литургии непременно в семинарской церкви.

§ 11. Во время всенощной и литургии все ученики, по назначению семинарского начальства, участвуют в чтении и пении на клиросе и исправляют служебные обязанности в алтаре.

§ 19. Все ученики должны в точности соблюдать все посты, установленные св. церковью, и каждый год, на первой и страстной неделях Великого поста, говеть и приобщаться Св. Таин».

Согласно § 20 семинаристов будили в 6 часов утра, а летом они сами могли вставать и ранее. Они должны были ложиться спать в 10 часов вечера, однако им не запрещалось, в случае необходимости, заниматься и до 11 часов, в специальной комнате. На занятия нельзя было опаздывать, пришедшие в класс после наставника подвергались взысканию (§ 23). Перед началом каждого урока и по окончании его дежурный обязан был благоговейно читать молитву (§ 24). После обеда, в отведенные для занятий часы, все учащиеся должны были находиться в специальных комнатах и, без шума и разговоров, готовить уроки и писать сочинения на заданные темы, причем, всякие сторонние занятия, не вытекающие из ученических обязанностей, строжайше воспрещались (§§ 27—31). «Спать после обеда воспрещается и спальные комнаты должны быть закрыты» (§ 41). Вообще не дозволялось очень многое: разговаривать в столовой, посылать за лишними порциями, вставать из-за стола без разрешения, выходить на прогулку без фуражки и, напротив, находиться в комнатах в фуражке, как-либо переделывать казенную одежду, кричать и свистать, носить бороды, усы, бакенбарды или длинные волосы, ночью тушить лампы, а также выходить из спальни более чем на четверть часа (разделы II—V). Более того, на улицах города семинарист не должен был засматриваться в окна, всматриваться в лица прохожих (§ 75). Конечно же, запрещались карточные игры и курение табака (§ 38), посещение трактиров и портерных (§ 73). Последнее, думается, Евфимия Новицкого нисколько не волновало, курение и выпивка его не влекли никогда.

Несомненно, жизненно важным для Евфимия Новицкого являлся § 71 «Правил»: «Ученики, желающие преподавать урок у городских жителей, получают от ректора семинарии… билет, в котором обозначается срок и время сих занятий». Очевидно, поступив в Семинарию, он продолжал давать частные уроки — только так можно было скопить деньги на оплату пансиона. А ведь юноша рос, развивался, и надо было приобретать еще и одежду, которая очень скоро становилась мала.

«Форменная одежда учеников Минской духовной семинарии состоит из черного суконного сюртука и таковых же брюк, фуражки или картуза из черного сукна с козырьком, черного галстука или косынки при белой манишке, теплого

пальто из черного сукна, и сюртука и брюк черной или темной материи для комнатных занятий». (МЕВ[1], 1874 г.)

О питании семинаристов в 1877 году красноречиво говорит такой фрагмент из «Определения распорядительного собрания Правления семинарии относительно улучшения содержания учеников»:

«…в настоящей семинарской кухне, кроме простых щей, супа и каши, никакого другого блюда приготовить невозможно, каков бы ни был повар знаток своего дела. …для предоставления возможности хотя на несколько улучшить ученическую пищу… произвесть предварительно к тому приспособления: 1) вместо настоящего очага в кухне устроить плиту, с одним котлом и духовыми печами… 2) настоящие медные котлы и трубы продать, а приобрести потребное количество кастрюль… 3) устроить в кухне деревянный пол и вообще привести оную в благообразный вид; 4) вместо куба для нагревания воды для чая купить два самовара… 5) нанять повара, знающего свое дело; 6) потребовать от пансионерных учеников соответственной прибавки к плате…».

Отчасти и этими последними требованиями было вызвано увеличение взносов до 70 рублей. Однако кормили семинаристов по-прежнему скверно.

Преподаватели и однокашники

Перечислю руководителей и наставников Минской Духовной Семинарии, основываясь на «Памятной книжке Минской губернии 1878 года».

Во время поступления Евфимия Новицкого в Семинарию должность ректора исполнял ее инспектор, выпускник Санкт-Петербургской Духовной Академии, магистр богословия архимандрит Анастасий. Это был очень уважаемый в Северо-Западном крае человек широких интересов, автор многих ученых трудов, причем, он находился в расцвете творческих сил — ему недавно исполнилось 46 лет, из коих в должности инспектора состоял 12. Конечно, он имел награды: орден Св. Анны 3-й степени, бронзовый крест в память войны 1853—56 гг. и бронзовую медаль за усмирение мятежа 1863—64 гг. Впрочем, известно, что он «выступал против насильственного «обрусения» западных губерний Российской империи, противопоставляя ему нравственное влияние» (ПЭ, т. II, Москва, 2001 г.). Как раз в то время, в конце 1870-х годов, архимандрит Анастасий подготовил и опубликовал в столице свои знаменитые «Проповеди», «принесшие ему широкую литературную известность, некоторые из них были переведены на английский язык» (ПЭ, т. II, 2001 г.).

Преподавателем Всеобщей и Русской церковной истории был кандидат Киевской Духовной Академии Павел Семенович Мышкин. Служить он начал недавно, в 1874 году, но уже исполнял должность инспектора. Его помощник — еще более молодой выпускник той же Академии Федор Венедиктович Щуровский, в должности с 1876 года.

Среди преподавателей Семинарии вообще насчитывалось немало выходцев из Киевской Духовной Академии: это и читавший в старших классах курсы гомилетики, литургики и практического руководства для пастырей Митрофан Петрович Елиновский, и разбиравший в младших классах Священное Писание Сергей Осипович Кваснецкий, и, наконец, Николай Иванович Антипович, кавалер ордена Св. Станислава 3-й степени, вот уже двенадцать лет преподававший психологию и педагогику, а также обзор философских учений. Всеобщей гражданской истории и французскому языку обучал кандидат Киевской Духовной Академии Фавст Варфоломеевич Прокопович.

Евфимий Новицкий, как известно, с французским как-то разошелся. Из новых языков он хорошо знал немецкий, и это потому, видимо, что изучал его под руководством выпускника столичного университета Карла Александровича Вельса, опытного, с пятнадцатилетним стажем, педагога-немца.

---

[1] Минские Епархиальные Ведомости.

Пожалуй, самым авторитетным и неординарным наставником был преподаватель логики, словесности и истории литературы — кандидат Санкт-Петербургской Духовной Академии Иван Андреевич Пигулевский. В этой должности он состоял с 1869 года, а общий стаж его, имевшего орден Св. Станислава 3-й степени и две медали, к тому времени превысил уже 25 лет. Вероятно, это он разглядел в юном Евфимии Новицком интерес к древним памятникам словесности — и подсказал ему путь к призванию.

Впрочем, в начальных классах Семинарии строить далекие планы было, разумеется, еще рано. Следовало осваивать основы знаний, особенно напирая на древние языки, без знания которых в то время невозможно было и помыслить о высшем образовании.

Латынь семинаристам преподавал кандидат Московской Духовной Академии Александр Григорьевич Шелепин (служил второй год). А часы, отведенные на греческий язык, поделили между собой два педагога, оба кандидаты Санкт-Петербургской Духовной Академии: опытный, работавший с 1859 года, Николай Маркович Быстрицкий и молодой, служивший всего третий год, Александр Иванович Черницын.

Физике и математике обучал недавний выпускник Императорского Санкт-Петербургского университета Антон Иванович Доброхотов. Он был уроженцем Минска, здесь окончил городскую гимназию. По окончании университета в 1876 году получил степень кандидата физико-математических наук. В домашнем архиве академика Е. Ф. Карского сохранилась пожелтевшая старая фотография. На ней, в центральном большом овале, виден симпатичный бородатый мужчина в строгом сюртуке. Мелкие буковки под фото еле читаются, но все-таки удалось разобрать: ***А. И. Доброхотовъ***. Вокруг центрального овала расположены овалы поменьше, в них молодые лица, в основном безусые. Всего 29 фотопортретов, причем, от одного, в правом нижнем углу, осталось менее половины. Надпись на карточке: **3 класс 1880 года Минской Духовной Семинарии**.

Приглядевшись, можно под увеличительным стеклом прочесть некоторые фамилии: в верхнем ряду — ***Лукашевич***, ***Комар***, ***Верниковский***, внизу — ***Будзилович***, ***Маньковский***, ***Квачевский***, ***Гомолицкий***, ***Хлебцевич***, ***Воронец***, ***Станкевич***… Далее угадывается ***Новицкий*** под фотографией молодого человека с широким волевым лицом и вьющимися светлыми волосами. К сожалению, эта часть карточки сильно потерта и запачкана. Но все совпадает! Все эти юноши учились в 1879/80 учебном году в III классе Минской Семинарии. И никакого другого лица, столь же похожего на известные фотопортреты Евфимия Федоровича, нет.

По какому поводу сделана эта памятная фотография? В расположении овалов с фотографиями нет никакой системы: и не по алфавиту, и не по разрядам, и вообще отличники перемешались с отстающими… Удалось установить, что с 1 января 1880 года А. И. Доброхотов перешел работать в Минскую мужскую гимназию. Следовательно, эта коллективная фотография была сделана на прощание. Возможно, съемку и печать оплатил сам Антон Иванович — откуда у семинаристов на это деньги? Зато теперь есть возможность вглядеться в лица однокашников Евфимия Феодоровича, почувствовать дух ушедшего времени.

И еще несколько слов о преподавателях и их учениках. Каждый, кто учится по духовному ведомству, просто обязан уметь петь. В Минске на Семинарию и Духовное училище был один учитель церковного пения — Фаддей Викентьевич Костюкевич. Под его руководством отобранные в хор юноши пели на клиросе во время богослужений, к чему прямо призывал § 100 Устава училища и § 152 Устава Семинарии. Евфимий Феодорович, обладавший от природы хорошим музыкальным слухом, видимо, неоднократно пел в этом хоре.

А вот § 161 Семинарского Устава требовал: «Для надлежащего развития и укрепления телесных сил воспитанников назначаются в каждой семинарии под руководством особого учителя и наблюдением врача, гимнастические упражнения, а также садовые занятия и игры, способствующие развитию сил». Поэтому

в Минской Семинарии был специальный преподаватель гимнастики, старший адъютант Управления Губернского Воинского Начальника, Василий Иванович Акимов, кавалер орденов Св. Анны и Св. Станислава 3-й степени, доблестный ветеран, награжденный медалями за защиту Севастополя и в память войны 1853—56 гг. В должности этой он оказался с 1874 года, как раз с того момента, когда начал вводиться в действие новый Устав и появилась новая вакансия.

Минск во время войны

Летом 1877 года на фронтах развернулись тяжелейшие, кровавые сражения. В конце августа стали поступать сведения о потерях.

Как раз в те дни Евфимий Новицкий, только что сдавший приемные экзамены, осваивался в двухэтажном корпусе Семинарии. Здание это возводилось по частям, строительство началось еще в 1811 году, а завершено было только к 1 сентября 1864 года. Располагалось оно на так называемой Троицкой горе, в квартале между Семинарским и Пред-Семинарским переулками, фасадом на Александровскую улицу и на площадь, а сад уходил к Набережной улице, к излучине реки Свислочи. В середине здания находилась семинарская церковь, где в то время постоянно служились молебны во славу православного воинства и за упокой павших.

Сообщения о серьезных потерях стали появляться в августе. «Минские Губернские Ведомости» в приложении поместили «Именной список нижним чинам 54-го пехотного Минского полка, убитым в сражении против неприятеля 15-го июня 1877 года». Это сражение — бои при переправе через Дунай у Зимницы. В списке 150 человек, в основном рядовые, призванные из Полтавской, Харьковской и Черниговской губерний, а сам полк квартировался в Кишиневе. Тем не менее огромные потери Минского полка произвели на всех в городе тяжелое впечатление. Затем в газете стали регулярно появляться сведения о погибших воинах, уроженцах Минской губернии, а также о потерях в Серпуховском и Костромском пехотных полках, которые, казалось, совсем недавно жители города проводили в поход.

Осенью в губернской газете появляется сообщение о доставленных в Минск первых раненых. Затем в разделе «Местные известия» новость:

«В Минск 27 числа прибыли 95 ч. пленных турок, в том числе две женщины».

Вскоре пленных стало больше:

«В Минском предместье Комаровке, или по старому названию «Комаровом болоте» проживает 7 офицеров, более 600 нижних чинов и 2 женщины. Теперь многие из пленных работают на обеих железных дорогах, получая по 40 коп. в сутки; по отзыву управления железных дорог турки очень хорошие, усердные работники, дурных поступков за ними не замечено».

Только в середине осени стали, наконец, поступать сообщения о действительно крупных победах:

«**Минская хроника**. В воскресенье, 9 октября, в Кафедральном соборе, Преосвященным Евгением, епископом Минским и Бобруйским, после Божественной литургии, отправлено было, соборне, при участии всего городского духовенства, благодарственное Господу-Богу молебствие, по случаю победы наших войск, 3 октября, над армиею Мухтара-паши, близ Карса».

27 октября по случаю побед в Азиатской Турции в Минске впервые была устроена праздничная иллюминация.

Тем не менее конец года выдался трудным: сообщения о тяжелых потерях, холод… Морозы в Минске начались с 22 ноября, снега было мало, но Свислочь замерзла, и семинаристы, спешившие дать урок, теперь срезали путь по льду.

В конце ноября — новые радостные известия. Теперь, верилось, война пошла к концу.

«Ура! Плевна взята, Плевна наша со всею армиею и Османом-пашою во главе…

Телеграмма Прав. Вестн. получена вечером 29, а на другой день 30 ноября, с утра — казенные здания и многие частные дома украсились разноцветными флагами; во всех

церквах отправлено молебствие, а в Кафедральном соборе молебствие с особенною торжественностью совершено в 12 ч. дня Преосвященным Евгением, епископом Минским и Бобруйским, в присутствии начальственных лиц, военных и гражданских чиновников, воспитанников и воспитанниц учебных заведений».

А 12 декабря по всей Российской Империи широко отмечалось столетие со дня рождения Александра I. Вот что происходило в Минске:

«…После богослужения в доме духовной семинарии, в 1½ по полудни, было публичное собрание, на котором кроме приглашенных лиц участвовали тоже воспитанники и воспитанницы учебных заведений. Зала семинарии была украшена цветами, зеленью, флагами и портретом Императора Александра I. Собрание началось пением архиерейского хора стихиры: “Днесь благодать Святаго Духа нас собра”…».

Затем, как сообщает губернская газета, последовали речи и экскурсы в историю, перемежаемые пением. Думается, в том зале должен был присутствовать и семинарист Евфимий Новицкий.

А тем временем в Ятре произошли изменения. Священник Василий Янушевский был переведен в Городище, где, разумеется, сделался еще и законоучителем в народном училище; объявления о вакансии в Ятре стали регулярно печататься в «Минских Епархиальных Ведомостях» с 20 октября, затем появилось сообщение, что с 1 декабря на это место перемещен настоятель староельненской церкви, Новогрудского уезда, священник Адам Неслуховский. Феодор Новицкий попрежнему оставался и. д. псаломщика. Его, должно быть, больше всего тревожили виды на урожай: мороз, а снега почти нет…

И все-таки зима завершалась на радостной ноте. Главное, война подходила к концу!

«Достославный мир с Турциею подписан, и в какой же день — в незабвенный день 19 февраля… В Минске известие о заключении мира с Турциею и освобождении христиан мы получили 20 числа… И вот дома опять украсились флагами, в Кафедральном соборе 21 числа, в 12 часов пополудни отправлено благодарственное молебствие… Радость общая, радость несказанная… Таких дней в жизни народов немного!»

Отличные успехи!

Первый класс Семинарии Евфимий Новицкий окончил с блестящими результатами: в первом разряде — первый!

Привожу «Выпись из ст. X педагогического журнала Правления Минской Духовной Семинарии от 24 Августа сего 1878 года»:

«…разрядной список на 1878/9 учебный год представляется в следующем порядке и виде:

…Класс II.

Разряд первый.

Евфимий Новицкий

Михаил Вержболович

Николай Будзилович…»

Возглавляют список выпускники Минского Духовного училища. Всего в первом разряде этого класса 7 человек, во втором — 36.

Надо заметить, что выпускники Минского Духовного училища в основном занимают верхние строки, а вот принятые из Слуцкого и Пинского училищ, напротив, опустились на дно списка. Так, во втором разряде из первых 14 мест — 11 за «минскими», а среди отстающих их всего 2 из 13. Это говорит о том, что уровень подготовки в уездных училищах резко различался, и Евфимию Феодоровичу повезло, что отец в свое время отвез его именно в Минск.

Михаил Вержболович и Николай Будзилович учились вместе с Евфимием Новицким давно, с первого класса училища. Они хорошо знали друг друга, возможно, дружили. По крайней мере Вержболович в дальнейшем, как я покажу, следил за судьбой Евфимия Феодоровича, и видимо, они даже переписывались.

Различие замечается лишь одно: Вержболович и Будзилович были казеннокоштными, им не приходилось ломать голову, как оплатить учебу. Хотя в общем, конечно, их положение было незавидным; как я уже отмечал, отец Будзиловича, дьячок, вовсе не получал жалованья.

А вот в жизни Феодора Новицкого, наконец, появилась полная определенность. Он успешно прошел аттестацию и был причислен не просто к первому разряду, а к высшей категории этого разряда. Дело в том, что тогда была разработана довольно сложная система оценок, и в итоге получились разряды 1, 1+, 1-, 2, 2+, 2-, 3, 3+, 3-…

О том, что аттестация благочинническими советами псаломщиков была очень дотошной и принципиальной, говорит следующая выдержка:

«…Его Преосвященство от 9-го Февраля за № 587 изволил записать следующую резолюцию: «Вменить в обязанности советам, кроме общих сведений о способностях, исправности и благоповедении подробно донести: 1. имеет ли такой-то голос громкий или тихий, бас или тенор, обработанный или нет? 2. все ли службы может петь, как то будничные, праздничные и великопостные? 3. поет ли по нотам, или понаслышке? 4. читает как толково ли, т. е. понимая читаемое и делая остановки, повышения и понижения там, где требует смысл речи, или безотчетно и бессознательно, останавливается где придется? Свободно ли читает всякую церковную книгу, например, каноны, месячную минею, или некоторые с затруднением? 5. чтение его раздельно или слитно, т. е. отделяет ли буквы и слова одни от других или сливает в один невнятный гул? 6. не подслеповат ли? и не глуховат ли? старость, малосилие или какие-нибудь недуги не препятствуют ли ему быть вполне исправным псаломщиком? 7. знание устава вообще и триодного Богослужения в частности каково? 8. как пишет и понимает ли формы церковно-приходских книг? 9. не имеет особых каких-либо качеств, делающих его не вполне пригодным псаломщиком? 10. занимается ли сам хозяйством и каким? 11. не знает ли какого ремесла? 12. не отличается ли кто какими-либо хорошими качествами? 13. обходителен ли с прихожанами и может ли разумно и удобопонятно беседовать с ними? 14. понимает ли настолько катехизис и Священную Историю, чтобы мог на какой-либо вопрос отвечать складно своими словами, а не по заучке. Для предоставления мне сведений назначить Март и Апрель» (МЕВ, 1878 г.).

И вот итог аттестации:

«Определение Минской Духовной Консистории 23/26 минувшего Октября, утвержденное Его Преосвященством, относительно распределения причетников.

А. К первому разряду причислены и. д. штатных псаломщиков церквей:

Новогрудского уезда.

…52. Ятранской, **Феодор Новицкий**

Л. Сверхштатные и. д. псаломщиков причислены к разряду 1.

…5. Ятранской, **Семен Манкевич**».

Если проанализировать перечень требований, которым должен был удовлетворять псаломщик первого разряда, то можно прийти к выводу, что отец Евфимия Феодоровича был человеком очень трудолюбивым, одаренным, прекрасно выполняющим свои служебные обязанности и умеющим искренне и просто общаться с людьми. Как видно, второй кандидат на должность псаломщика, из пономарей, Семен Манкевич (в предыдущей главе уже отмечалось, что в разных документах его фамилия пишется то Манькевич, то Малькевич, то Мальцевич, а то и Малевич), тоже был отличным церковнослужителем. Однако отныне в каждом причте сельской церкви должен был остаться лишь один штатный псаломщик, и он был определен сверхштатным (об этом и говорит его перенесение из раздела А в раздел Л). Жалованье псаломщику было назначено, как я уже указывал, 122 рубля 40 копеек в год.

В самом конце 1878 года Феодор Новицкий с семьей переезжает из Ятры.

«*Назначения, перемещения и увольнения.*

И. д. псаломщиков церквей Новогрудского уезда, Березовецкой **Иосиф Слаута** и Ятранской **Феодор Новицкий**, согласно прошениям, перемещены один на место другого, с 1 января» (МЕВ, 1879 г.).

Село Берёзовец

Вероятно, восемнадцатилетний Евфимий, приехав на Рождественские каникулы, активно помогал родителям в этом переезде. Семья к этому времени еще увеличилась — на руках у матери была семимесячная Вера. Трое братьев были еще малы: Коле — восемь лет, Ване — пять, а Саше — всего три годика. Только сестра Маша была чуть постарше — ей уже исполнилось 13 лет. Непросто было переезжать с такой оравой детворы!

Село Берёзовец расположено примерно в 25 верстах на северо-восток от Ятры, на правом берегу реки Сервечь. Река эта, извиваясь между холмов, плавно течет с юга на север, к Неману (зимой, во время переезда, она, понятно, была подо льдом и снегом). На протяжении более двух десятков верст река образует болотистую, заливаемую в половодье и высыхающую летом долину. В районе села Берёзовец, стоящего на возвышенном месте, пойма достигает трехверстной ширины. В этом месте даже не существовало моста, потому что на противоположном сыром берегу, на обозримом пространстве, не было населенных пунктов. В верховьях Сервечи имелось двенадцать водяных мельниц, но в среднем течении, у Берёзовца, их, конечно, уже невозможно было ставить, поэтому отсюда, и даже чуть выше по течению, начинался сплав леса.

Церковь в селе Берёзовец по внешнему виду очень походила на Ятранскую. Вот что о ней сказано в «Описании церквей и приходов Минской епархии»:

«Приходская Свято-Троицкая церковь, расположенная в селении, когда и кем построена, не известно; но в 1863 г. капитально перестроена на отпущенные Правительством средства и потому в настоящее время находится в прочном и благовидном состоянии. Зданием деревянная, на каменном фундаменте; устроена продолговатым крестом с одним глухим куполом, гонтовою крышею, одним рядом окон и тремя дверями. Наружные стены и кровля с куполом покрашены масляною краскою… Внутри стены также покрашены масляною краскою, потолок подшит тесом, пол деревянный, к отоплению не приспособлена. Солея возвышена на одну ступень, — на ней устроены и клиросы. Нового устройства дощатый иконостас, покрашенный в белый цвет, с золочеными карнизами и рамами, состоит из семи московского письма икон, поставленных в один ряд. Кроме сего в церкви находится местночтимая икона Божией Матери, величиною в 5 вершков, писанная по золотому фону, на деревянной доске. По народному сказанию икона сия найдена на существующем возле села Березовец земляном вале, где, по преданию, когда-то существовал замок Воеводы Кмиты…».

На колокольне, устроенной отдельно от церкви, самый большой колокол весил 11 пудов, а еще четыре — до пуда каждый. Внутренняя площадь этой церкви была 15 квадратных саженей, меньше, чем у Богородицкой в Ятре, но тем не менее она считалась более высокого, четвертого, класса. Прихожан здесь оказалось несколько больше: 1291 мужчина и 1246 женщин. И земли, переданной церкви князем Радзивиллом по фундушевой записи 1627 года, тоже было больше: прежде вообще числилось около 80 десятин, а к 1879 году осталось пахотной земли 44 десятины, сенокосной 13 и усадебной 2.

А вот еще сведения, которые, думается, смогут прояснить причину переезда псаломщика Новицкого. В «Описании церквей…» далее читаем:

«Церковного дохода в год поступает до 250 рублей. Причт кроме штатного жалованья получает значительный доход, простирающийся до 400 рублей, от богомольцев, собирающихся в значительном количестве во все новолунные недели, а также пользуется церковною землею… Причт получает еще 14 руб. и 17½ коп. за отошедшее в казну имение. Необходимые для помещения причта строения имеются; но домы находятся в ветхом состоянии».

Итак, перевод Феодора Новицкого в село Берёзовец был, очевидно, формой поощрения. Епархиальное начальство, видимо, приняло во внимание и успешную аттестацию, и многодетность, и то, что старший сын, Евфимий, долгое время

успешно учится в Минских духовно-учебных заведениях, причем, в основном с полной оплатой. Теперь Феодор Новицкий, продолжая по-хозяйски распоряжаться церковной землей, мог существенно улучшить положение своей семьи, хотя, как видим, жить предстояло в довольно убогом жилище. А и. д. псаломщика Иосиф Слаута по итогам аттестации был отнесен ко 2-му разряду, поэтому для него перевод в Ятру, к церкви 5-го класса, был как бы понижением.

Учеба продолжается

В июне 1879 года Евфимий Новицкий закончил второй класс Семинарии — и вновь с отличным результатом! В том году разрядный список в «Минских Епархиальных Ведомостях» почему-то не публиковался, а помещен был только список переведенных в III класс, причем, в алфавитном порядке, но зато имеется небольшое сообщение, которое снимает все вопросы:

«…II). Ученикам Шелютину Григорию (IV класс) и Евфимию Новицкому (II класс) за отличные успехи и поведение дать в награду книги.

Таковое определение Правления Семинарии утверждено резолюциею Его Преосвященства от 28 июня 1879 года, за № 2122-м» (МЕВ, 1879 г.).

И III класс Евфимий Новицкий также закончил первым по всем показателям.

«**Выписка из ст. IX Педагогического журнала Правления Минской Духовной Семинарии от 20 августа сего 1880 г.**

…По надлежащем рассмотрении и сведении в одну общую табель всех баллов учеников шести классов семинарии по всем предметам, а равно по сочинениям и поведению, разрядной список на 1880/81 учеб. год представляется в следующем виде:

…Класс IV.

Разряд первый.

Евфимий Новицкий…» (МЕВ, 1880 г.).

Думается, родители гордились своим сыном.

В «Минских Епархиальных Ведомостях» нет сведений, был ли во II и в III классах Евфимий Новицкий на казенном содержании или же оплачивал полный пансион. В любом случае, думается, в семинарские годы он продолжал давать частные уроки. Точно известно, что в IV классе он был казенным пансионером. В тот год из 81 казенной вакансии (на шесть классов Семинарии) IV классу было выделено больше всех — 20. В списке Новицкий Евфимий значится 18-м. Это имело огромное значение, теперь никакие материальные проблемы не могли помешать способному ученику закончить общеобразовательный семинарский курс, приравнивавшийся в то время к гимназическому. Если бы его не поставили на казенное содержание, взять этот рубеж было бы невыносимо трудно:

«…правление семинарии постановило с сентябрьской трети будущего 1880/81 учебного года взимать плату за содержание (без одежды и книг) своекоштных пансионеров 85 руб.» (МЕВ, 1880 г.).

Посещение П. В. Шейном Семинарии

Рассказывая о Минской Семинарии конца 70-х годов XIX века, невозможно не упомянуть о посещении ее известным в те годы этнографом, собирателем русского и белорусского фольклора, Павлом Васильевичем Шейном. Это тем более интересно, что впоследствии один из выпускников Семинарии, Евфимий Феодорович Карский, будет не просто поставщиком песен и сказок для Шейна, но и наиболее объективным рецензентом его сборников, станет не только использовать опубликованные в них материалы для своих исследований, но и завершит их издание после смерти собирателя.

Основной биографический материал о Шейне можно почерпнуть из книги Н. В. Новикова, которая так и называется — «Павел Васильевич Шейн». Приведу некоторые фрагменты из нее.

«Павел Васильевич Шейн родился в 1826 году в городе Могилеве в старозаветной еврейской купеческой семье… 1848 год был решающим в жизни Шейна. Он переходит в лютеранство и тем самым навсегда порывает связь со своей семьей, лишается какой бы то ни было с ее стороны материальной и моральной поддержки… Училище при лютеранской церкви св. Михаила Шейн покинул весной 1851 года» (Н. В. Новиков. Павел Васильевич Шейн. Минск. 1972).

После этого Павел Шейн некоторое время работал домашним учителем помещичьих детей, перебивался мелкими литературными заработками. Летом 1861 года по приглашению Л. Н. Толстого он даже некоторое время преподавал русский язык в Яснополянской школе. В круг его знакомых вошли поэт и переводчик Ф. Б. Миллер, писатель С. Т. Аксаков, славянофил Ю. Ф. Самарин, публицисты С. П. Шевырев и Е. Л. Марков, а с 1863 года — и академик Я. К. Грот.

П. В. Шейн проделал огромную собирательскую работу — и сам записывал песни, и привлек к этому делу многих добровольных помощников. В результате его рукопись удостаивается малой золотой медали Общества и принимается к изданию (опубликована в 1874 г., т.V Записок ИРГО). А в 1875 году, не без участия академика Я. К. Грота, он получает за «Белорусские народные песни» половину Уваровской премии.

Однако при этом П. В. Шейн продолжает оставаться на невидных учительских должностях: покинув Витебск, он оказывается в 1873 году в городе Шуя, затем в Зарайске и, наконец, в Калуге. Именно из Калуги Павел Васильевич и выехал 20 августа 1877 года в этнографическую экспедицию в Северо-Западный край, организовать которую, на средства Императорской Академии Наук, также помог академик Я. К. Грот.

П. В. Шейн имел на руках официальную бумагу от Академии Наук к губернаторам, циркулярное рекомендательное письмо ко всем учебным заведениям Министерства Народного Просвещения и Духовного ведомства, официальные бумаги от губернаторов, как их называл сам собиратель, «охранные листы». Здесь следует заметить, что возможности собирателя были весьма ограничены вследствие его неважного здоровья — болезненным он был с детства. «До пятнадцати лет жизни, — вспоминает собиратель, — переболел я разными тяжкими болезнями, часто приковывавшими меня надолго к родимой берлоге, к одру страданий… сделался калекой неперехожим» (Н. В. Новиков. Павел Васильевич Шейн.) Здесь обыгрывается распространенное в XIX веке выражение *калика перехожий*, что означало — паломник, странник, слепой нищий, собирающий милостыню пением духовных стихов. Но так еще, в шутку, называли и участников этнографических экспедиций конца 1850-х и начала 1860-х годов. В свое время, в № 9 «Искры» за 1864 год, появилась даже с таким названием дружеская карикатура, изображавшая П. И. Якушкина, П. Н. Рыбникова, В. А. Слепцова, И. И. Южакова, С. В. Максимова, И. Л. Отто и А. И. Левитова.

Можно сказать, П. В. Шейн был из того же поколения — и стал продолжателем славных дел той плеяды. Но он внес и нечто новое: будучи ограниченным в подвижности, он составил и неоднократно перепечатывал программу по сбору фольклорно-этнографического материала, привлекая таким образом к записям всех желающих. Первую такую программу он выпустил в 1867 году.

В домашнем архиве автора имеется ксерокопия «Приглашения к содействию в собирании памятников народного творчества от П. В. Шейна». Это брошюрка, состоящая из двух листков (4 страниц), дозволенная цензурой 1 ноября 1877 года и отпечатанная в Вильне, в типографии А. Г. Сыркина. Содержание брошюрки аналогично тексту, появившемуся на 1 и 2 страницах № 231 «Виленского Вестника» (от 29 октября 1877 г.). Собственно, она представляет из себя оттиск с газетных гранок, отброшен только первый абзац. Это «Приглашение» П. В. Шейн, ища добровольных сотрудников, распространял по всему Северо-Западному краю, среди гимназистов, семинаристов, мелких волостных чиновников, учителей народных школ.

Во вступительной части известный этнограф особо подчеркивает, что он приступает к наблюдению над говорами белорусского наречия и к пополнению своего собрания памятников народной словесности по поручению Императорской Академии Наук. Желающим оказать посильное содействие русской науке далее дается подробная инструкция: «Что записывать?», «Как записывать?» и «От кого записывать?» Таким образом, эта памятка подключала к сбору этнографических материалов по всему Северо-Западу Империи массу энтузиастов, пускай не имеющих специальной филологической подготовки, зато способных делать записи в самых отдаленных, глухих уголках.

Поездку самого П. В. Шейна по Белоруссии в 1877 году, видимо, нельзя назвать вполне удавшейся. Из восьми намеченных уездов в итоге удалось посетить только пять. Отступления от намеченного плана начались буквально сразу же: возникали непредвиденные остановки и задержки, изменения маршрута носили импровизационный характер. Большую часть времени Шейн потратил на переезды по железным дорогам и на пребывание в городах. В сельской местности он за четыре месяца побывал, проездом, приблизительно в трех десятках населенных пунктах, где лично записал не так уж и много. Всего ему удалось собрать — включая материалы, представленные другими лицами (учениками гимназий и учительских семинарий) — около 300 песенных и прозаических текстов. Впоследствии Шейн объяснял эти весьма скромные результаты на редкость дождливым летом, задержавшим крестьян на полевых работах до глубокой осени, затем осенней распутицей и, наконец, войной с Турцией, когда «сельскому люду было не до песен и сказок» (Н. В. Новиков. Павел Васильевич Шейн).

В литературе о Шейне нет упоминаний о посещении им Минской Духовной Семинарии ни в 1877-м, ни в 1878 году. Однако из его отчета о командировке, хранящегося в архиве РАН, видно, что в 1877 году он дважды, в августе и в конце декабря, заезжал в Минск и по меньшей мере один раз, перед самым Рождеством, точно был в Семинарии. Вот что там написано:

«...я отправился по железной дороге в Минск. Здесь я пробыл три дня, и как кажется, не бесплодно для моего поручения. Я сделал визит директору гимназии, правившему должность ректора — инспектору духовной семинарии и смотрителю духовного училища, передал всем этим господам по несколько экземпляров моего «Приглашения» с просьбой по мере возможности, перед роспуском учеников на святки, заинтересовать в пользу моего дела тех из них, которые разъедутся к своим родным гнездам по деревням, местечкам и селам, где им легко представится возможность записать хоть немного образцов местной народной речи, в какой бы то ни было форме. Эти почтенные педагоги с полным сочувствием отозвались на мою просьбу и немедленно привели ее в исполнение...» (Н. В. Новиков. Павел Васильевич Шейн).

Как развивались события далее, можно судить по двум письмам, обнаруженным в фонде Шейна среди корреспонденции с неразборчивыми подписями. Оба письма принадлежат одному корреспонденту; подпись в обоих случаях, действительно, невозможно прочесть: *А...*(неразборчиво) *Евин* или *Евич*. Первое письмо датировано: *1878 года, августа 21 дня. г. Минск.* Подпись предваряется следующими словами:

С чувством глубочайшего уважения остаюсь готовый к услугам покор. слуга уч. Минск. Дух. Семинарии...

Однако в Семинарии в том году не было ученика с подобной фамилией, поэтому ясно, что перед нами — псевдоним.

Вот фрагменты из первого письма:

«Многоуважаемый Павел Васильевич!

В прежнем письме моем /кажется, от 21 мая/ я дал обещание и в дальнейшем содействовать Вам в собирании белорусских памятников... Посылаю Вам 22 экземпляра наших белорусских песен, записанных мною в бытность мою

в родном селе, состоящем в Минской губернии, Игуменском уезде, — во время отпуска к родным на летние каникулы…».

Самый активный поставщик фольклора из Игуменского уезда для «Материалов» Шейна — это, безусловно, Александр Порфирьевич Ральцевич, который обозначен то как ученик Минской Духовной Семинарии, то как ее воспитанник. Большинство записей сделано им в селе Микуличи, где, как несложно было установить, настоятелем местной приходской церкви во имя Св. Архистратига Михаила долгое время служил его отец. Александр Ральцевич осенью 1878 года был уже в V классе, причем, учился он отлично, его постоянно причисляли к первому разряду.

В архиве, в эпистолярном фонде П. В. Шейна, имеется несколько писем от А. П. Ральцевича. Проведя несложную графологическую экспертизу, я могу с полной уверенностью утверждать, что письма *А… Евича* вывела та же рука. И вообще, оттолкнувшись от разборчивых, хорошо читаемых подписей, можно понять и подпись неразборчивую — *Аральц Евич*.

Итак, автором двух писем, отнесенных к категории «с неразборчивой подписью», оказался Александр Ральцевич. Он был года на три старше Евфимия Новицкого, видимо, они не были знакомы. Сотрудничество Ральцевича с Шейном началось, по-видимому, с отсылки в начале 1878 года нескольких песен, записанных на зимних каникулах. Личное их знакомство не состоялось. Любопытно продолжение письма от 21 августа 1878 года:

«…Искренне благодарю Вас, П. В., что при посещении нашего Богоспасаемого Минска были столь любезны, что интересовались мною и посещали нашу нищету; да жаль, что я не был в дому: тогда мы прогуливались по реке на лодке и часов в 12 веч. возвратились; жаль, оч. жаль, что не видал Вас…»

Из этих бесхитростных строк возникает живая картинка семинарского житья-бытья, очень бедного, почти нищенского, и все-таки старшеклассники не только чахнут над книгами, но и допоздна гуляют, плавают по Свислочи на лодках… И какой хороший, толковый парень этот Александр Ральцевич! Его интересы явно выходят за рамки семинарских наук. В том же письме читаем: *«…Вы выразили сомнение насчет звуковой стороны моих прежних песен, и Ваше сомнение справедливо: это показали мне наблюдения над разговором наших мужичков: л и в на конце слов действительно переходят в ў; прилагательные с полным окончанием кончатся на ы и и …»*

Об этих первых фольклористских и лингвистических опытах в стенах Семинарии, возможно, слухи доходили и до Евфимия Новицкого, тогда ученика первого класса. А в августе 1878 года он, уже второклассник, возможно, был представлен (если, конечно, тоже не уплыл на лодке) Шейну в числе прочих способных ребят, которым вполне по силам самостоятельно записать в родных местах обряды, песни, сказки, народные игры. То, что такая встреча была, косвенно подтверждается появлением в семинарской среде еще одного активного собирателя фольклора — Владимира Станкевича, одноклассника Евфимия Новицкого и тоже отличника. В дальнейшем присланное им сообщение о поверьях, связанных с русалками, в Пинском уезде, вошло в том I «Материалов» П. В. Шейна, попали в этот сборник и собранные им шуточные и разгульные песни.

Да и Александр Ральцевич предпринимал все для того, чтобы расширить круг собирателей фольклора. Вот что он написал в письме к Шейну 24 сентября 1878 года:

«…К товарищам я от Вашего имени делал воззвание и, как кажется, некоторые откликнутся на Ваш зов, разумеется, во время Рождественских Праздников…» (ПФА РАН, ф. 104, оп. 2, ед. хр. 245).

Однако затем оптимизма поубавилось. 7 ноября 1879 года он пишет: *«никто и не думал хоть что-нибудь сделать…»* (ПФА РАН, ф. 104, оп. 2, ед. хр. 245), а 15 февраля 1880 года, в последнем из его писем, имеющихся в архиве, тон уже совершенно пессимистический: *«…Наконец почтенные Минские Семинаристы,*

обещавшие гибель всякой всячины пред Праздниками, возвратясь из дому, решительно ничего не привезли... Да впрочем, разве они имели время когда заняться этим, когда нужно было приударивать за провинциалками, пьянствовать, танцевать, играть в карты, говорить комплименты и проч. и проч. и проч...» (ПФА РАН, ф. 104, оп. 2, ед. хр. 245).

Видно, Ральцевич был сильно разочарован в своих одноклассниках. Очевидно, впрочем, что он, готовившийся к выпуску из Семинарии, ничего не знал о настроениях в других классах, поскольку именно тогда уже начал сотрудничать с Шейном третьеклассник Владимир Станкевич. В архивном фонде П. В. Шейна хранится несколько тетрадей с присланными им материалами.

А что же Евфимий Новицкий? Похоже, в то время он ничего не предложил вниманию маститого фольклориста. В первом сборнике отсутствуют какие-либо материалы тех лет из Ятры или Берёзовца. Нет их и в архиве Шейна. Но, не исключено, именно тогда у Евфимия возник интерес к устному народному творчеству. Возможно, что и первые записи песен в селе Берёзовце, вошедшие потом в его известную работу, относятся именно к семинарскому периоду, к 1879—1880 годам, когда семья Новицких обосновалась на новом месте после переезда из Ятры.

Покушения на Александра II

В конце 70-х годов XIX столетия Российская Империя вступила в парадоксальную фазу своего развития. Она ускоренно модернизировалась, укреплялись ее международные позиции, повышалась общая грамотность населения — и вместе с тем соблазн, как казалось, очевидных, более решительных и прогрессивных решений медленно разъедал общество, поскольку предлагаемые безответственными людьми пути и методы их осуществления были, безусловно, аморальны.

Великая реформа 1861 года освободила крестьян — однако многие, в основном из-за отсутствия деловой хватки и пристрастия к выпивке, так и не смогли поднять свое хозяйство, попали в финансовую кабалу. Разорялись и помещики, и мелкие торговцы, и ремесленники, не сумевшие приспособиться к новым условиям. Жалованье в различных ведомствах — в том числе и духовном — повышалось, главным образом, за счет сокращений. Нищих и неустроенных людей становилось все больше. Цены неуклонно росли, деньги стремительно обесценивались.

Например, в Минском Духовном училище превышение сметы расходов над приходом в 1876 году составило 3805 рублей с копейками, а в 1877 году — уже более 8 тысяч рублей. И это при том, что плата за пансион ежегодно увеличивалась, а вот, кстати, служители по-прежнему получали всего 3 рубля в месяц.

В обществе накапливалось раздражение. Самые радикальные элементы, молодые люди, получившие кое-какое образование, жаждали быстрых перемен. Еще и до сих пор живы отголоски того нетерпения — и сейчас порой против Александра II выдвигаются обвинения в медлительности, в нерешительности, в непоследовательности при проведении реформ, как будто это может служить оправданием убийства действительно совестливого, порядочного, гуманного главы государства.

По установившейся издавна традиции, все решения, касающиеся государственной и общественной жизни, а фактически существования каждого подданного, неизменно исходили с самой вершины власти. Наиболее расхожая официальная формулировка: «Вследствие всеподданнейшего доклада… Государю Императору благоугодно было Высочайше повелеть…» Получалось, что Император отвечает за всё. Таким образом, корень любой проблемы, причину любой неудачи можно было путем двух-трех нехитрых логических ходов отыскать в личности царя, а если взглянуть шире — в самодержавии. И самый простой способ изменения общественного строя виделся в скорейшем устранении царя.

Как известно, в конце 70-х годов XIX века в России группами молодежи, спаянными, как им верилось, высокими идеалами служения народу, открыта была настоящая охота на Императора-Освободителя Александра II. Сообщения о покушениях обрушивались на спокойный, законопослушный Минск, как гром среди ясного неба. Разумеется, всё это оказалось полнейшей неожиданностью и для учащихся закрытых учебных заведений Духовного ведомства.

Уходящий 1878 год, победоносный для русского оружия, казалось, не сулил в ближайшем будущем никаких потрясений. Правда, в начале того года в столице завершился большой «Процесс 193-х», затем был выстрел Веры Засулич в градоначальника Ф. Ф. Трепова и, наконец, 4 августа — дерзкое убийство шефа жандармов генерал-адъютанта Н. В. Мезенцова. Но в Минске, если судить по местным газетам, не было почти никакого отзвука на эти события, лишь по поводу последнего покушения на страницах «Минских Епархиальных Ведомостей», с большим опозданием, появилось Правительственное сообщение, в котором послышались грозные нотки:

«…Требуя права гражданства своим извращенным, лишенным здравого смысла идеям, они попирают идею о законах государственных; проповедуя свободу, они угрозами и подметными письмами вознамерились угнетать свободу тех, которые исполняют свои обязанности по чувству долга и совести; ратуя за принцип своей личной неприкосновенности, они не гнушаются прибегать к убийствам из-за угла… Правительство отныне с неуклонною твердостию и строгостию будет преследовать тех, которые окажутся виновными или прикосновенными к злоумышлению против существующего государственного устройства…».

Впрочем, к концу года, похоже, все страсти улеглись и неприятности позабылись.

«Наши рождественские праздники или святки всегда проходят тихо, совсем не так, как где-нибудь в Москве… где все веселятся во всю широкую натуру, у нас ничего этого нет и не бывает, за исключением разве елок; елок у нас действительно бывает много» (МГВ[1], 1878 г.)

С начала 1879 года волна террора в стране стала нарастать: в ночь с 9 на 10 февраля был застрелен харьковский губернатор князь Д. Н. Кропоткин, затем стреляли в киевского губернатора… События эти, однако, даже не нашли отражения в минской прессе, и до Семинарии, видимо, доходили только какие-то неясные слухи.

И вдруг в начале апреля 1879 года приходит известие об очередной неудачной попытке застрелить самого Императора: некий коллежский регистратор Александр Соловьев на второй день Пасхи, в 9 часов утра 2 апреля, выпустил пять пуль, но так ни разу и не попал в царя, прогуливавшегося по Дворцовой площади. Весть эта всколыхнула всю страну и, конечно, не могла обойти и Минскую Семинарию. Во всех церквах, в том числе, разумеется, и в семинарской, отслуживались благодарственные молебны, собирались деньги на поставление икон «в память чудесного избавления жизни Государя Императора». Общественная реакция в основном была та же, что и после давних покушений — выстрела Каракозова 4 апреля 1866 года и неудачного нападения Антона Березовского 25 мая 1867 года в Париже. Газеты заполнились верноподданнейшими адресами, с амвонов возносились молитвы, прославляющие «беспредельное милосердие Божие»… Нечто неожиданное, пожалуй, прозвучало только в речи Преосвященнейшего Евгения, Епископа Минского и Туровского, произнесенной в Минском Кафедральном соборе: «…везде избыток личной корысти, везде внешний парад, повсюду фальшь в мысли и жизни. Вот почва, на которой растут и созревают адские плевелы безначалия и разрушения!»

Во многих церквях освящать иконы, приобретенные на собранные деньги в благодарность Господу Богу за чудесное спасение 2 апреля, пришлось уже после второго в тот год посягательства на жизнь царя.

---

[1] Минские Губернские Ведомости.

«Боже, какое страшно-тяжелое время переживаем мы! Опять злодейское покушение… Дело было так: 19 ноября, вслед за благополучным прибытием Царского поезда в Москву, в то время, когда Государь Император молился уже пред святынею Москвы — Чудотворною Иконою Иверской Божией Матери, около половины одиннадцатого часа вечера, под поездом, дополнительным к Царскому, который только случайно шел вместо Царского… последовал взрыв, произведенный миною с насыпи дороги… десять вагонов сошли с рельсов…» (МГВ, 1879 г.)

Однако не успел еще пройти шок, вызванный попыткой подрыва царского поезда, как в начале 1880 года новое сообщение потрясло Империю. Вот телеграмма, помещенная в «Минских Епархиальных Ведомостях»:

«Петербург, 6 февраля. Весть о вчерашнем вечернем покушении в царских палатах облетела мгновенно столицу… Вот подробности дела, насколько они успели выясниться. Обыкновенно обед Государя бывает в 6 часов, но вчера, по случаю приезда брата Императрицы, Принца Александра Гессенского, обед неожиданно замедлился на полчаса. В ту самую минуту, когда к столовой подходили с одной стороны Государь с принцем и князем Болгарским, а с другой — все члены Царственной Семьи, кроме больной Императрицы, раздался страшный взрыв: случись он минутой позже, великому горю не миновать… Жертвами взрыва оказались по первому дознанию восемь убитых и 45 ранен. нижних чинов лейб-гвардии Финляндского полка, занимавшего вчера дворцовый караул… В 8 часов Государь Император осчастливил раненых своим посещением, а в полночь посетил их вторично. Сегодня под развалинами свода открыто еще два трупа».

Создается впечатление, что после этого, уже третьего за 10 месяцев, теракта в обществе началась некоторая сумятица. Газеты не могли ничего придумать лучше, чем предлагать гражданам прежний стереотип поведения:

«…с утра всё население, взволнованное и радостное, бросилось в храм Божий с благодарственною молитвой за чудесное избавление Царя и Царственной Семьи от великой и ужасающей опасности… Город с утра украшен флагами».

Здесь речь идет о столице, но, разумеется, флаги были и в Минске. Во всех церквях города, в том числе, конечно, и в семинарской, вновь совершались благодарственные Господу Богу с коленопреклонением молебствия. И все-таки это как-то уже не вязалось: изображать радость, вывешивать флаги, когда взорван сам Зимний Дворец!

В речи Его Преосвященства в Минском Кафедральном соборе прозвучали весьма горькие, резко осуждающие действительность слова: «Казалось, что наши разносторонние преобразования и усовершенствования принадлежали к семенам, чреватым обильными, чрезвычайно приятными и полезными плодами, вполне годными для общественной и частной жизни. Но когда начали всходить наши семена, сколько, сверх чаяния, оказалось между ними плевел!.. Плевелы везде: в семье, в школе, в суде, в благотворениях, в патриотизме, в литературе и искусствах, в самой церковности, и всё потому, что мы спим или по крайней мере дремлем. Враг наш, напротив, бодрствует более нежели когда-либо…».

Любопытна реакция «Минских Губернских Ведомостей» на последние события. В газете так и не появилось никаких подробностей о взрыве во дворце, не поместили ни одного верноподданнического адреса, не сообщили о благодарственных молебствиях и речах. И вообще раздел «Минская хроника» надолго исчез, в неофициальном отделе перестали появляться материалы по истории и этнографии края. Огромное место в газете получили разделы «Служебные перемены полицейских урядников» и «Обзор успеха действий полицейских урядников Минской губернии». Это уже походило на панику!

Не вдаваясь в детальный анализ политических решений правящей верхушки Империи, кажется, стоит проанализировать действия начальства по духовно-учебной части, поскольку это напрямую коснулось жизни семинаристов. Так как в ходе многочисленных судебных разбирательств — «Процесса 32-х» (июль 1862 г. — апрель 1865 г.), «Процесса нечаевцев» (июль 1871 г.), «Процесса 50-ти» (февраль — март 1877 г.), «Процесса 193-х» (октябрь 1877 г. — январь 1878 г.), «Процесса 28-ми» (июль — август 1879 г.), «Процесса 16-ти» (октябрь 1880 г.) — выяснилось, что подпольные революционные группировки создаются радикалами

из образованной части молодежи, то растерянные, озадаченные новой проблемой государственные мужи посчитали, что виной всему — неправильная постановка учебного дела, недостаточная взыскательность, небрежное отправление религиозных обрядов. Поэтому для 70-х годов XIX столетия характерно постоянное нарастание требовательности, можно сказать, придирчивости как к учащимся, так и к преподавателям. Приведу здесь только несколько указов и распоряжений, названия которых говорят сами за себя: «О наблюдении благочинными за поведением воспитанников духовно-учебных заведений в течении вакаций — во время отпусков их в домы родителей и родственников», «О мерах к предупреждению несвоевременной явки воспитанников духовных академий, семинарий и училищ из каникулярных отпусков». А вот фрагмент из определения Педагогического Собрания Минской Духовной Семинарии от 8 февраля 1878 года: «…просит отмечать при отправлении детей в Семинарию после домашних отпусков на билетах, сколько им выдается на руки денег и на какие потребности».

В «Минских Епархиальных Ведомостях» в 1880 году, начиная с середины февраля, стали регулярно появляться публикации выписок из педагогического журнала Правления Минской Духовной Семинарии. Цель их прозрачна — показать крайнее рвение руководителей и наставников, обезопасить себя от возможных нареканий. Так, можно узнать, что новый Ректор Семинарии, протоиерей Николай Дмитревский (в этой должности он находился лишь второй год), за месяц посетил для наблюдения в классах 24 урока, что один ученик IV класса, по причине крайней его небрежности, был посажен в карцер и что шести ученикам III класса, в котором тогда учился Евфимий Новицкий, было сделано внушение — «как не оказавшим успехов в ноябре». Среди «не оказавших успехов», как ни странно, значится и недавний отличник Владимир Станкевич, именно в то время, если исследовать его послания к П. В. Шейну и сопоставить даты, увлеченно занимавшийся собиранием фольклора. Похоже, начальство таким образом выразило недовольство отвлечением на посторонние предметы.

Несложно представить, что раздражение и напряженность в учебной среде от всего этого только усиливались.

В ноябре 1880 года в «Минских Губернских Ведомостях», в неофициальной части, вновь появилась рубрика «Минская хроника». Вот что привлекло внимание в этом разделе:

> «8-го числа… в 11 ч. вечера, на Троицкой Горе, за Семинарией, горел оранжерейный сарай с дровами; но едва прекратился этот, как в три часа ночи снова загорелся, на Александровской улице, сарай с дровами».

Довольно странно: отчего это вокруг Семинарии среди ночи горят сараи?..

Выбор пути

Я уже отмечал, что III класс Семинарии Евфимий Новицкий закончил блестяще — первым в первом разряде. Думается, именно тем летом, перед началом нового учебного года, он решал важнейший вопрос: как дальше строить свою судьбу? По окончании IV класса, в 1881 году, ему предстояло сделать ответственный шаг.

Можно было, конечно, спокойно продолжать учебу в Семинарии. Отличники в двух старших классах, так называемых «Богословских», как правило, всегда получали полное казенное обеспечение. Сдав успешно выпускные экзамены, тот, кто был причислен к первому разряду, получал аттестат об окончании Семинарии и звание студента. Тогда перед ним открывались широкие перспективы. Можно было получить приход. Можно было пойти по духовно-учебной линии и сделаться преподавателем в каком-либо уездном Духовном училище либо Семинарии. Но, разумеется, наилучшего продвижения по Духовному ведомству можно было достичь, поступив в Духовную Академию. Большинство поступивших туда жили на казенный счет, получая материальную поддержку от своих епархий.

Почему Евфимий Новицкий не избрал этот очевидный и проверенный путь? Как получилось, что он, человек православный, безусловно, искренно верующий, решил выйти из знакомого ему с детства духовного сословия и ринуться в неизведанный мир? У него не было никакой протекции, не было родственников, преуспевших на гражданской службе.

Остается предположить одно — он очень верил в себя, в свое упорное трудолюбие, в свои навыки к усиленной умственной работе.

Как кажется, особенно полагался он на свою удивительную способность к разным языкам. Даже древнегреческий язык — этот камень преткновения для многих семинаристов — ему, по-видимому, давался легко. Скажем, в тех же «Выписках из педагогического журнала» можно обнаружить такую запись: «…III). По греческому языку написано… В III классе три упражн. Общие баллы по ним: 5 — 1, 4 — 1, 3 — 19, 2 — 12». Если сопоставить эти сведения с итогами учебного года, то нетрудно догадаться, чьи работы получили высшую оценку.

Однако, как представляется, уже в те годы определился главный интерес Евфимия Феодоровича — не латынь, не греческий, а именно родной язык, во всей его широте, во всем его историческом развитии. Как известно, при Семинарии была неплохая библиотека, она постоянно пополнялась, и, несомненно, учащиеся, желающие углубить свои познания, часто обращались к ней. А вот что предлагалось их вниманию: «Определением Святейшего Синода, от 30 января — 12 февраля за № 243, одобрены к употреблению в духовно-учебных заведениях, в качестве руководств и пособий, следующие книги: «Учебник русской грамматики сближенной с церковно-славянскою» — Ф. Буслаева, «Славянская грамматика с сборником» — П. Перевлесского, «Грамматика древнего церковнославянского языка, изложенная сравнительно с русскою» — П. Смирнова и «Старославянская грамматика» — М. Колосова». Очевидно, что в дальнейшем, в частности, и при написании своей известной «Грамматики древнего церковно-славянского языка сравнительно с русским», Евфимий Феодорович отталкивался от указанных работ, известных ему, получается, с семинарской скамьи.

После IV класса Семинарии открывалась возможность расстаться с Духовным ведомством и продолжить учебу по линии Министерства Народного Просвещения. Об университетском образовании Евфимий Новицкий, понятно, не мог даже и мечтать. Оно делалось для него практически недоступным из-за необходимости вносить большую плату, снимать жилье, одеваться и питаться за собственный счет.

Однако был один выход: существовало в Черниговской губернии, в Нежине — не так и далеко от Минска — высшее учебное заведение, словно специально созданное для таких, как Евфимий Новицкий, выходцев из небогатых семей, имевших склонность к гуманитарным наукам и стремившихся проявить себя на гражданским поприще. Речь идет о Нежинском Историко-Филологическом Институте князя Безбородко, готовившем учителей гимназий и прогимназий. Тот, кому посчастливилось поступить в этот институт, находился в нем на полном пансионе и ничего не должен был платить, только обязан был впоследствии за каждый год учебы отработать полтора года преподавателем, по направлению.

Об этом чудесном институте, разумеется, знали гимназисты и семинаристы всего Северо-Западного края. Еще в 1875 году попечитель Виленского учебного округа разослал циркулярное предложение (№ 5046), в котором говорилось: «…принять меры к подготовлению возможно лучшего контингента воспитанников для поступления в имеющий открыться, с начала будущего учебного года, историко-филологический институт князя Безбородко в Нежине и к устранению тем самым замечаемого ныне недостатка в основательно подготовленных учителях».

Циркуляр был адресован заведующим гимназиями и прогимназиями, поскольку поначалу предполагалось, что готовить педагогов будут главным

образом из гимназистов. Но затем выяснилось, что для этого подходят и молодые люди, закончившие четыре общеобразовательных класса семинарии, приравненных тогда к полному курсу классической гимназии. Оказалось даже, что порой выпускники семинарий были более трудолюбивы и дисциплинированны. Короче, семинаристов стали принимать наравне с гимназистами. И конечно, весть об институте, в котором обучают совершенно бесплатно, взволновала немало минских бурсаков. Возможно, что и Евфимий Новицкий именно тогда впервые задумался об открывающихся перед ним перспективах.

Жизнь шла, правила менялись — и главным образом в сторону усложнения жизни. В 1879 году вышел указ «О поступлении воспитанников духовных семинарий в университеты и другие высшие учебные заведения», в котором говорилось: «…начиная с будущего 1879—80 учебного года, прекратить доступ в университеты и другие высшие учебные заведения воспитанников семинарий, если они не подвергнутся испытанию зрелости в гимназиях или окончательному экзамену в реальных училищах…». Однако затем шло добавление, словно бы специально адресованное Евфимию Новицкому, идеально отвечающее его планам: «…Вместе с тем Его Императорскому Величеству благоугодно было повелеть сохранить, в виде временной меры, право поступления из семинарий в историко-филологические институты».

Таким образом, идея о получении высшего образования в Нежине, похоже, могла родиться именно в 1879 году, к лету 1880-го она должна была окрепнуть. Но необходимо было еще убедить родителей в правильности своего решения, добиться от них благословления. На самом деле это было не так просто. Отец слишком многим пожертвовал для того, чтобы дать сыну духовное образование. И он, конечно, знал, что если Евфимий не поступит в институт с первой же попытки, то его, возможно, ждут крупные неприятности. По существовавшим тогда правилам, нельзя было сразу же вернуться в Семинарию и продолжить учебу в V классе. В указе Святейшего Синода за № 4, от 11 января 1873 года, сказано совершенно определенно: «Святейший Синод признает необходимым предписать епархиальным преосвященным циркулярным указом… чтобы воспитанники, увольняемые, по прошению, по окончании общеобразовательного курса, из Семинарий для поступления в высшие учебные заведения, отнюдь не были обратно принимаемы в Семинарии».

А второй попытки поступить могло и не получиться, потому что Евфимию в конце 1881 года исполнился бы уже 21 год, и, значит, он, потерявший право на отсрочку, вполне подходил бы для призыва в армию — все зависело от жеребьевки, которую ему предстояло пройти по достижении 20 лет. Армия уже давно была всесословной, семинаристам тоже полагалось тянуть жребий.

Таким образом, решение оставить Семинарию после IV класса было очень ответственным и рискованным. И все-таки, очевидно, Евфимий получил согласие отца. Феодор Новицкий, должно быть, решил, что его первенцу, отличнику Семинарии, виднее. Главное, дальнейшая учеба не потребует никаких затрат. В семье подрастали младшие дети, нужно было их поднимать. А времена наступали трудные: летом 1880 года на всю хлеборобную полосу России обрушилась страшная напасть — невероятно расплодились хлебные жуки, в просторечье называемые «кузьками». Сильно пострадали и озимые, и яровые. А еще на поля нахлынули какие-то ржаные совки, черви, гусеницы. В Минской губернии уже предощущалось скорое приближение голода.

И осенью положение с продовольствием действительно стало критическим.

«Ввиду сильного подорожания цен на хлеб, по слухам, в Минске образовывается комитет для сбора пожертвований… предполагается устроить пекарню для печения черного хлеба на продажу бедным жителям с потерею для комитета от ½ до 1 копейки за фунт».

«…за последнее время стали возникать случаи продажи из мелочных лавок хлеба, дурно выпеченного и с примесью посторонних веществ» (МГВ, 1880 г.).

1 марта 1881 года

Зимой снабжение было налажено. Помогла и благотворительность. К весне жизнь не только вошла в привычную колею, но и, казалось, развернулась во всю ширь, наполнилась радостью.

Вот о чем сообщали «Минские Губернские Ведомости» в последний день февраля:

«Истекшая неделя изобиловала таким разнообразием развлечений, что перечесть и описать их очень трудно. Справляли масленицу… сохранившийся санный путь способствовал катанию на тройках… С наступлением великого поста все рады отдохнуть, все довольны возможности всецело возвратиться к своим трудам и обязанностям».

Этот номер «Ведомостей» еще не разошелся по губернии, как вдруг из столицы было получено страшное сообщение. Телеграмма пришла в Минск в 10 часов вечера — и весть к утру облетела весь город. Протяжно и уныло ударили великопостные колокола. Общество было потрясено.

Вот текст «Бюллетеня», полученного по телеграфу:

«Сегодня, первого марта, в 1 час 45 минут пополудни, при возвращении Государя Императора с развода, на набережной Екатерининского канала, у сада Михайловского Дворца, совершено было покушение на священную жизнь Его Величества посредством брошенных двух разрывных снарядов. Первый из них повредил экипаж Его Величества. Разрыв второго нанес тяжелые раны Государю. По возвращении в Зимний Дворец Его Величество сподобился приобщиться Св. Таин и затем в Бозе почил — в 3 часа 35 минут пополудни. Один злодей схвачен.

Министр Внутренних Дел,
генерал-адъютант граф Лорис-Меликов».

В тот же день на Российский престол взошел сын погибшего Императора — Александр Александрович, провозглашенный Александром III. Об этом возвестил Манифест от 1 марта 1881 года.

Какова была реакция в Минске на эти события, можно узнать из очередного, вышедшего только через неделю, номера «Минских Губернских Ведомостей». Впрочем, сведения крайне скупы. Редактор издания, очевидно, все еще пребывал в замешательстве, поскольку в траурную рамку заключены только официальные бюллетени. Это уже потом, с середины марта, в траурной кайме стала выходить вся газета — и длилось так полгода.

«Государь скончался! Как молния разнеслась по городу эта весть… Рассудок отказывается обнять всю силу той злой воли, которая руководила людьми систематически преследовавшими в течение нескольких лет своего Государя. — Государя, посвятившего все свои силы, всю жизнь на благо своего отечества и народа».

«Впредь до погребения в Бозе почившего Императора Александра II, в Минском Кафедральном соборе назначены ежедневные панихиды непосредственно вслед за утренним богослужением» (МГВ, 1881 г.).

Уже 2 марта панихиды странным образом перемешались с торжественными молебствиями о здравии нового Государя…

Во всем городе, похоже, тогда никто не знал, что террорист, бросивший под ноги царю вторую самодельную бомбу, был уроженцем Бобруйского уезда Минской губернии. Умер он через восемь часов после покушения, так и не назвав себя. Труп этого молодого человека оставался неопознанным до самого окончания следствия и судебного разбирательства. Он проживал в столице по подложному паспорту на имя виленского мещанина, подпольные клички его — Котик и Михаил Иванович. Любопытно, что под этими кличками он так и фигурировал в окончательной Резолюции Особого Присутствия Правительствующего Сената. Теперь фамилия его известна, но здесь упоминать ее не хочется, достаточно сказать, что она изредка встречается в списках разгромленных в 1863—64 годах польских дворян и шляхтичей, через несколько лет прощенных царем.

Кроме фамилии боевика, народ долго не знал и того, что вместе с Императором был похоронен и готовый закон о созыве в столице депутатов от земств и городов, на рассмотрение которых должны были выноситься правительствен-

ные законопроекты. «Собираясь 1 марта утром на военный парад, Александр II сказал своей жене, княгине Юрьевской, что на следующий день конституция будет объявлена в «Правительственном вестнике» и что он ждет от нее самых благоприятных результатов» (Александр II, его личность, интимная жизнь и правление. Сочинение А. Колосова, Лондон, 1902).

Оказывается, и в Михайловский Дворец царь заезжал на полчаса для того только, чтобы обсудить с Великой Княжной Екатериной Михайловной этот закон: «…прочитан был проект созвания представителей земств и городов в Петербурге» (Правда о кончине Александра II. Из записок очевидца. Анонимно. Студгарт. Приблизительно 1896 г.).

Итак, подлыми и глупыми действиями Россия была отброшена назад. Вред народу был причинен колоссальный. Однако самозваных радетелей за благо народное не убавилось. Нравственного очищения общества не произошло. Нетерпеливых сторонников легких решений становилось всё больше.

Приговор, объявленный 29 марта, в Минске был опубликован в нескольких апрельских номерах «Губернских Ведомостей» под рубрикой «Судебные известия». Вряд ли он остудил горячие головы. Скорее напротив, многими выходцами из серой мещанской среды он читался взахлеб, как захватывающий авантюрный роман, в котором было всё: и стрельба, и погони, и тайные квартиры, и фальшивые документы, и подкопы, и переодевания, и внебрачное сожительство, и убийства, и самоубийство…

В это самое время Евфимий Новицкий заканчивал IV класс Семинарии. И выбирал в жизни совсем другой путь. Свой путь.

Прощание с Семинарией

«Выписка из журнала педагогического собрания правления Минской духовной Семинарии от 25 июня сего 1881 г. за № 14, утвержденного резолюциею Его Преосвященства от 2 июля того же 1881 г. за № 2164.

Ст. I. Члены педагогического собрания правления семинарии после тщательного рассмотрения годичной и экзаменской ведомостей об успехах учеников семинарии за 1880/81 учебный год, а также ведомости о поведении их за тот же период времени, определили:

…Из учеников IV класса: 1) перевести в пятый класс:

…**Новицкого Евфимия**…».

Список дан в алфавитном порядке, без разделения на разряды. Какие оценки получил Евфимий Новицкий на последних экзаменах в Минской Семинарии — установить пока не удалось; не обнаружено также и его Свидетельство об окончании четырех классов этого учебного заведения. Но зато известно, как должно было выглядеть это Свидетельство и оценки по каким предметам в нем были проставлены.

«Семинарским воспитанникам, выходящим из семинарии до окончания полного курса, выдается… свидетельство… с отметками, полученными по каждому пройденному предмету на предшествовавших выходу годичных переводных экзаменах и с обозначением в конце свидетельства, что NN по окончании курса в NN классе и переводе в NN класс семинарии, *уволен* или *исключен*, по постановлению семинарского правления, по такой-то причине, из семинарии и потому не может пользоваться преимуществами, присвоенными окончившим полный курс учения в семинарии».

За прошедшие четыре года изменений в составе преподавателей было совсем немного. Известно, что Словесность и Историю литературы по-прежнему читал И. А. Пигулевский, Обзор философских учений — Н. И. Антипович, а Всеобщую гражданскую историю — Ф. В. Прокопович. Им четвероклассники уже привыкли сдавать экзамены. А вот Священное Писание преподавал с 1880 года кандидат Московской Духовной Академии Иван Васильевич Кохон-

ский.В том же году появился и кандидат Санкт-Петербургского Университета Александр Михайлович Булычев, сменивший преподавателя математики и физики А. И. Доброхотова.

Кстати, на этого Доброхотова, как на возможного поставщика фольклорных материалов, почему-то очень рассчитывал в свое время П. В. Шейн, так что Александру Ральцевичу пришлось разочаровать собирателя: *«...Что же касается доброхотно данных Вам обещаний, то за него аз многогрешный выхожу с апологией: Антон Иванович вряд ли в состоянии исполнить данные обещания потому, что исполнение последних более, по моему, зависит от его учеников, чем от него. Он надеялся на учеников и думал, что они непременно запишут и представят ему кой-что — ан вышло наоборот: никто и не думал хоть что-нибудь сделать...»* (Письмо от 7 октября 1879 г.)

Большинство семинаристов к IV классу уже определялось со своими жизненными планами — и, оставаясь в Духовном ведомстве, шли по стопам отцов. Поэтому неудивительно, что они проявляли равнодушие к этнографической работе, считая это не своим делом, от которого никакой пользы им не будет. Да и Владимир Станкевич, активно сотрудничавший с Шейном, решил доучиться в Семинарии, хотя, как видно из его заметок, был разочарован положением сельского причта и считал, что в глазах народа писарь волостного правления стоит выше священника. Александр Ральцевич тоже не стал рисковать, благополучно закончил в 1880 году семинарию, поступил в Духовную Академию и со временем стал протоиереем в городе Батуми.

Из Минской Семинарии вышло не так уж много деятелей, которые смогли проявить себя на гражданском поприще. Наиболее выдающимися личностями прежних выпусков были, несомненно, И. П. Боричевский и И. А. Гошкевич. Иван Петрович Боричевский (1810—1887), занимал высокие посты по Министерству Путей Сообщения, затем был членом Совета Министров, вместе с тем являлся автором многих научных работ по археологии и истории Литвы. Он также интересовался фольклором — собрал и издал «Повести и предания народов славянского племени» (СПб, 1840) и «Народные славянские рассказы» (СПб, 1844). Иосиф Антонович Гошкевич (1814—1875), известный переводчик с восточных языков, десять лет прожил в Пекине, состоя в Китайской ученой миссии, затем в качестве члена посольства совершил путешествие в Японию на военном фрегате «Паллада» и был одним из ближайших сотрудников адмирала Путятина на переговорах с японским правительством по торговому договору. Он же, кстати, составил и русско-японский словарь (СПб, 1857). Во время путешествия на фрегате «Паллада» Гошкевич познакомился с писателем И. А. Гончаровым, и тот в своем известном произведении неоднократно его упоминает как симпатичного и ученейшего человека. Между прочим, Иосиф Антонович был и фотографом экспедиции.

Этими своими выпускниками Минская Семинария, разумеется, гордилась, в речах на торжественных собраниях их фамилии неизменно упоминались. Знал о них, разумеется, и Евфимий Новицкий. Успехи предшественников вселяли оптимизм, помогали с надеждой смотреть в будущее.

Однако последние недели пребывания Евфимия Новицкого в Семинарии были омрачены неимоверным бедствием. Вот что известно из газет об июньском пожаре 1881 года, бушевавшем в Минске несколько дней:

«Телеграммы. Минск, 23-го июня, вторник. Здесь свирепствует страшный пожар. 500 домов уже сгорело; весь город в огне».

Пламя бушевало в центре города, на другом берегу реки, все небо застилалось клубами черного дыма. Семинаристам, глядя с Троицкой горы, нетрудно было понять масштабы трагедии. Вот как она рисовалась спустя несколько дней, когда выяснились некоторые подробности.

«21 июня Минск постигло страшное несчастье. Около 11 часов дня вспыхнул в нескольких местах, от неисследованных причин, пожар, который к 2 часам дня обратился

в ужасный поток огня, охвативший населеннейшую и торговую часть города… Город горел почти сутки, но обгоревшее тлеет и по настоящее время. Всё пространство от так называемой татарской слободы широкою полосою до Захарьевской улицы представляет в настоящее время страшные развалины. Левая сторона нижнего рынка, темных рядов, вся Екатерининская, Койдановская, Тюремная и Богодельная улицы сгорели. Погибли: Почтовая контора, Контрольная палата, воинское Присутствие, городское четырехклассное училище… Пожар с одной стороны прекратился на флигеле духовного училища, который сгорел, но самое училище уцелело благодаря единственно своей высоте, оно же оградило от гибели здания Казенной Палаты, Казначейства, Марианского костела и Губернаторского дома… Насчитывают до 1200 домов сгоревших, а убыток определяют миллионами. Голодных, бескровных и бесприютных явилось тысячи…» (МЕВ, 1881 г.).

В корреспонденции «Пожар в Минске», опубликованной в «Новом Времени» в конце июня, приводятся еще и другие пострадавшие от огня здания: уездное по крестьянским делам присутствие, дворянская опека, городское и уездное полицейские управления, второе приходское училище, минская еврейская Талмуд-Тора, школа для начального образования бедных девиц…

Но вот какие строки в конце статьи привлекают особое внимание:

«В ночь с 21 на 22 июня обнаружился поджог в духовной семинарии и, если он не имел страшных последствий, то лишь благодаря эконому семинарии г. Нарановичу, который обходил здание около полуночи и усмотрел сильный дым в одной из классных комнат, в которой никто не был».

Подумать только, от чего порой зависит судьба! Если бы поджог удался, последние экзамены были бы сорваны, Евфимий Новицкий не смог бы своевременно получить свидетельство об окончании IV класса, поездка в Нежин сорвалась бы… Драгоценное время было бы упущено, и в итоге — вся жизнь пошла бы по другому сценарию!

К счастью, этого не произошло. Но уже тогда, возможно, Евфимий Феодорович глубоко осознал, что жить ему, увы, предстоит среди затаившихся поджигателей, которым по большому счету безразличны судьбы окружающих, которые, мечтая о какой-то лучшей жизни, бездумно и безжалостно уничтожают то, что создано колоссальным трудом поколений.

Свидетельство об окончании IV класса Евфимий Новицкий, наверно, смог получить лишь после того, как Его Преосвященство утвердил журнал педагогического собрания правления Семинарии, то есть, после 2 июля. С этим важнейшим для него документом молодой человек, стремящийся к высшему образованию, и отправился, по-видимому, в начале августа, на вокзал Либаво-Роменской железной дороги.

Вокзал еще был в траурном убранстве. Да и вообще весь город производил мрачное, тяжелое впечатление. В центре простирались черные, страшные после недавнего пожара, почти полностью выгоревшие кварталы. Но уже кое-где начинали возводиться новые здания. Жизнь разворачивалась с новой силой — и, как всегда, звала к неустанной работе!



ГАЛИНА МОСИЯШ

Встреча навсегда

Сергей Мосияш, современный русский писатель, автор 10 исторических романов («Александр Невский», «Без меня баталии не давать», «Ханский ярлык» и других), последние 13 лет жил в Беларуси, в Гомеле. Его жена, детская писательница Галина Мосияш, предлагает читателю воспоминания об их совместной жизни и литературной деятельности.

Светлой памяти моего мужа
Сергея Павловича Мосияша

Все началось с телефонного разговора: редактор одной газеты предложил нам с Сергеем написать воспоминания о нашей жизни и совместной литературной деятельности. Это было связано с выходом в Москве уже пятым изданием нашего первого романа — «Александр Невский», с посвящением мне как соавтору, с благодарностью «за 40 лет совместной творческой работы» и в связи с нашим 55-летним юбилеем совместной жизни.

Сережа в это время был в Минске. Когда он приехал, я рассказала ему об этом предложении. Он принял его без особого энтузиазма. Тем более, что собирался ехать в Москву по издательским делам. Но дня через три-четыре вдруг подает мне отпечатанный с двух сторон лист.

— Что это?

— Начало. Если ты будешь продолжать, пусть это будет моим предисловием.

С удивлением читаю заголовок — «Знакомство мое с Галей. Встреча навсегда».

(Не знали мы тогда, что эти странички будут последними, написанными им.)

Пока Сережа был в Москве, я написала первую главу, как продолжение «Встречи навсегда». К тому же, нас давно уже просили дети и старшие внуки, чтобы мы оставили им воспоминания о своей жизни. Особенно настаивал сын: «Хочется понять, как вы справились со всеми трудностями и так много сделали и достигли. Ведь папа во время войны не закончил даже школу…»

И я решила писать дальше, вспоминая все по порядку, не думая о жанре, — просто нашу семейную хронику. Как бы рассказывая своим взрослым детям.

Хотелось по возможности передать ту эпоху — атмосферу, дух времени, показать взаимоотношения молодых людей, которые были далеко не те, что сейчас… Я не имею в виду — лучше или хуже. Но теперь все совершенно другое… Свои воспоминания я и начинаю с предисловия мужа.

Знакомство мое с Галей. Встреча навсегда

Нашу часть, где я служил, перебазировали из Перми на Дальний Восток. В части было много сибиряков, и, доехав до Новосибирска, ребята разбежались (в самоволку) по родным местам. Заранее договорились, чтобы через три-четыре дня начать догонять свою часть на проходящих поездах.

Мы выскочили вдвоем с другом: его и мои родители жили поблизости. И в первый же вечер, дожидаясь пригородный поезд до станции, я познакомился с девушкой Валей, которая оказалась — вот случай! — знакома с моим товарищем. Она и пригласила нас в гости. Не откладывая визит в долгий ящик, мы явились к ним на другой же день. Вошли в калитку небольшого особнячка, какая-то девочка мыла крыльцо. Не задерживаясь, мы прошли в дом. Сидим за столом в дальней комнате, балагурим.

Вдруг входит девушка — в светло-голубом платье, необыкновенно изящная, тоненькая, с пышными белокурыми волосами и с такой милой лучезарной улыбкой, что казалось, вся светится.

Я вскочил со стула и остолбенел.

— Ну вот, теперь давайте знакомиться, я — Галя, — сказала она своим особенным мелодичным голосом и протянула маленькую (я сразу заметил, без маникюра) ручку. И все в ней было на редкость естественно: никакого пресловутого макияжа, никакой подкраски — вся как есть.

— Вы откуда взялись?!.. — проговорил я наконец, долго тряся ее руку.

Все почему-то расхохотались, и звонче всех она:

— Да вы только что сейчас прошли мимо меня — я мыла крыльцо.

«Вот это да! Вот это девушка! — стучало у меня в голове. — А ведь будет же она чьей-то женой... Но почему — чьей-то?! — запротестовало все во мне. — Ни за что! — Именно моей, только моей». Так я решил в тот же миг. Может, в порядке бреда. Но, точно, — решил.

И, забегая вперед, скажу — видно, сама судьба мне благоволила.

К сожалению, задержаться я мог тогда не больше трех-четырех дней. Притом, метался между станцией, где жила Галя, и совхозом, где жили мои родители, с расстоянием не таким уж маленьким — семь километров. Думал, что с Галей я сразу же объяснюсь, сразу предложу ей руку и сердце. Но не тут-то было. Дальше разговоров о книгах, театре, кино и очень тактичных вопросов о моей службе, о моих увлечениях эстрадой никуда не шло. При всей своей лучезарной улыбчивости и даже какой-то нежности в обращении она оказалась такой строгой и не по годам серьезной — не знал, как и с какой стороны к ней лучше подойти. За три вечера я не осмелился ни разу ее поцеловать. Потом уже, когда я уезжал, она вышла провожать меня за калитку и протянула мне руку, я обиженно сказал: «Даже незнакомые люди целуются при прощании... — И «пустил слезу»: — Ведь всякое может случиться — увидимся ли мы снова...» Она милостиво подставила мне щечку. Тут уж я не растерялся...

А насчет того, чтобы как положено — сделать предложение, взять с нее какое-то обещание (как я хотел), об этом нечего было и думать. Так ни с чем и уехал. Только своим родным описал девушку самым подробнейшим образом и просил обязательно, во что бы то ни стало, познакомиться с ней и не терять из виду. А сам стал писать ей чуть не каждый день. Она мне отвечала, но куда реже. Зато письма ее были очень интересные. Я читал их как рассказы. А когда накопилось порядочно, подшил их, сделал переплет. И без конца перечитывал. Особенно по вечерам, в казарме, когда все угомонятся, улягутся спать.

В письмах я был, конечно, смелее, чем при встрече. Признаваясь в своих чувствах, рассказывал о нелегкой солдатской жизни, о тоске в казарме. «Ты одно мое светлое солнышко...» — так заканчивал я почти все мои послания. Но девушка на это пока ничего не отвечала.

Так пролетел год, я снова побывал в отпуске, теперь уже честно заработанном участием в армейской самодеятельности. Но снова — одни разговоры, правда, более теплые и душевные.

Вот пошел уже второй год... И тут на выручку кинулась вся моя родня — тетки, дед, и главное — родители.

Сватовство

Станция, где мы жили, — пригород Новосибирска, минутах в 35-ти езды на электричке. И все студенты, которые учились в городе, ездили каждый день на пригородном поезде в одном облюбованном вагоне.



Сергей Мосияш. 1948 г.

Однажды подсела ко мне незнакомая девушка и смущенно проговорила:

— Извините, вы не Галя?

— Да, — удивилась я. — Откуда вы меня знаете?

— Вы с Сергеем Мосияшем знакомы?

Мне стало как-то не по себе от таких расспросов.

— Знакома. Но почему вас это интересует? И кто вы?

— Дело в том, что я... его родная тетка, — улыбнулась она. — И Сергей так хорошо вас обрисовал, что я сразу же узнала — это Галочка. Он так вас называл.

Тут мне стало уже весело: вспомнила, как он смешно и интересно рассказывал о своей семье и так же «обрисовывал» всех своих тетушек!..

— Да, — смеюсь я, — он мне говорил, что у него есть одна тетя, Елена, которая на год его моложе. И учится в пединституте. Правильно? Это вы?

— Ага. Летом я переехала от родителей к своим сестрам — ближе к Новосибирску. Живу теперь у средней сестры, Лизы. Сережка был у нас и приказал мне найти вас и познакомиться, даже подружиться.

Мы смеялись уже вдвоем. (В девятнадцать лет по всякому поводу хотелось смеяться.)

С Леной мы и впрямь подружились. Она стала приходить к нам в выходные дни, познакомилась с моими родителями. В городе она снимала квартиру, и мы часто, оставаясь там, делали вылазки в театры: ТЮЗ, «Красный факел», но больше всего — в Оперный, знаменитый в то время Новосибирский театр оперы и балета с сильнейшим коллективом певцов, танцоров балета.

Все настойчивее Лена приглашала меня зайти к Лизе, тоже познакомиться. И вот как-то прибегает она ко мне:

— Галочка, скорее пойдем к Лизе, там Анна приехала (мать Сергея), очень хочет тебя увидеть.

Зря она такое сказала. Я сразу уперлась.

— Что это за смотрины? Для чего? Не пойду.

— Ну она очень просила прийти! Очень.

Я заколебалась: пожилая женщина, мать, просит... Еще подумают, что я кураж какой-то на себя напускаю. Вздохнула и стала одеваться.

Приходим к Лизе. Еще за дверью слышны смех, веселый говор. Встретили нас приветливо, дружными возгласами и восклицаниями:

— Вот она какая, Галя! Я такой ее и представляла!..

— Сережка прямо нарисовал портрет — ну точно!

Я стояла совершенно растерянная.

— Давайте раздевайтесь, садитесь с нами к чаю.



Галина Мосияш. 1948 г.

Смотрю я на них — какие они все три подвижные, шумные, артистичные. Все по очереди о чем-то рассказывают, вспоминают какие-то пьесы, роли, которые играли когда-то в клубной самодеятельности.

А мать Сережи, Анна, вовсе не пожилая женщина. Ей всего 37 лет. Молодая, симпатичная и немного рисуется. А когда говорит, кажется, что играет роль. Они с Лизой учительницы. Но Лиза гораздо проще и на редкость общительная.

То Лиза приходила ко мне, то Лена. То тянули меня к себе. Так выходило, что я все время находилась в их обществе, буквально никуда не могла шагу ступить одна. Даже все мои старые друзья каким-то образом, незаметно, были оттеснены. Я чувствовала себя как в замкнутом круге, как в осаде. Пусть мягкой и ласковой, но в осаде.

А весной 1949 года, в погожий майский день, неожиданно подъехал к нашим воротам легкий экипаж — такие небольшие оплетенные дрожки, запряженные белым красавцем-рысаком. Мама взглянула в окно и ахнула: приехали Сережины родители. (Мама уже была знакома с Анной Савельевной, так как она до этого приезжала к нам одна.) Встречать гостей они вышли вдвоем с папой на крыльцо.

Анна Савельевна, подойдя к ним, низко поклонилась и, сделав округлое движение рукой — от лица к ногам, пропела речитативом: «А вот кланяемся вам от бела лица до сырой земли...»

Я быстренько, пока они меня не увидели, ушла в самую дальнюю (нашу с сестрой) комнату. Прошло какое-то время, заходит мама, укоризненно качает головой:

— Галина, ты что это вводишь нас в стыд, не выходишь к гостям?

— Они к вам приехали.

— Как это к нам? Приехали тебя сватать.

— Не нужно никакого сватовства, это не век 17-й. Мы сами разберемся.

Тут появилась в дверях Анна Савельевна, слышавшая, видимо, наш разговор.

— Галя, ты же знаешь, Сережа на службе, не волен он... Если б мог — прилетел. Я ведь тебе говорила — он в каждом письме пишет: «Если Галя мне откажет, я ни на ком никогда не женюсь...» Мы-то знаем, он не преувеличивает. Сергей — однолюб, весь в Пашу (отца, значит).

Обняла меня, целует, тащит в кухню, где сидят наши отцы.

— Пойдем, пойдем. Павел Ефимович ждет, он же тебя не видел.

Вошли, Павел Ефимович сразу встал. Смотрел, смотрел на меня молча, потом как-то трогательно прикоснулся губами к одной щеке, к другой. Проговорил, сильно волнуясь: «Ладно, ладно...» И, пододвинув к себе стул, взял меня за руку — садись.

А на другой день я написала Сергею письмо: что были родители, о чем они говорили. «...И главное, что я поняла, — семья у вас артистичная, особенно мама твоя, ее сестры. И ты, помнишь, говорил, что мечтаешь о ВГИКе. И отпуск тебе дают благодаря твоим эстрадным выступлениям. А у меня на уме — литература. Я много думала об этом и пришла к выводу, что симбиоз артиста и литератора невозможен...»

Отвечая мне, Сергей горячился, доказывая, что «до чертей» надоели ему эти выступления, что о ВГИКе он «брякнул так, ради форсу...»

А родственники продолжали «осаду». Этим же летом приехал из района дед Сережи по матери, Савелий Григорьевич. Следом за дедом прибыл к Лизе старший брат, бывший летчик, инвалид войны, Леонид Савельевич: тоже взглянуть и посватать, как он потом признался.

Одним словом, развернули всем своим большим и дружным семейством такую кампанию по сватовству, что хотелось куда-нибудь спрятаться.

Соседи тоже — смотрят, удивляются: приезжают к нам «экипажи», запряженные то белым выездным конем, то вороным. (Раза три за лето были.) Всем интересно знать, откуда такие кони, чьи они? Приходилось объяснять, что в совхозе, где трудились родители Сергея, держали вот таких племенных коней. На них не работали, они служили только для выезда директора и руководящих работников совхоза. Отец Сергея был специалистом по сельскому строительству.

И все в один голос: «Галя, да что ты думаешь, хорошие люди к тебе ездят! По-старинному — сейчас уж ни у кого такого нет. А ты все раздумываешь!..»

А Сережа в это время старался заработать отпуск. И вот в сентябре вырвался из части, приехал. И чуть ли не с порога: «Галя, я ведь командиру сказал, что еду жениться... Говори — согласна?» Я впервые обняла его: «Да». И только успела произнести, как он крикнул: «Мама, иди скорее сюда!..» Это он уже мою маму так назвал. Мама тут же прибежала... с маленькой иконкой в руках. От столь необычного ритуала она растерянно улыбнулась и чуть слышно проговорила: «Ну, дети, вставайте на колени…»

Сергей сразу — бац, и меня за руку. Мама крестит нас этой иконкой: «Благословляю, благословляю…»

Вот такой неожиданно-скоропалительный был конец у нашего долгого сватовства.

Наедине с золотой осенью

Отпуск был очень короткий, поэтому на другой же день пошли мы регистрироваться в ЗАГС соседнего сельсовета, который находился в семи-восьми километрах. (Наш по какой-то причине не работал.) Решили идти пешком. Погода стояла прекрасная, день выдался как по заказу — теплый, сухой, солнечный. (Сентябрь в Сибири почти всегда такой.)

Проселочная дорога шла сперва светлым золотисто-оранжевым леском — клены, березки, осины. Потом стали появляться молодые сосенки, елочки. И вскоре высокой стеной встал чистый сосновый бор с могучими и стройными деревьями. Такие звонкие сухие боры (без малейшей сырости и плесени) растут по высоченному восточному берегу великой Оби.

Идем, через каждые 300—400 метров, у самой дороги, — небольшие скамеечки с навесом. Присаживаемся почти на каждую. Жених в полном восторге от этого лесного великолепия (он вырос в степи), от этого погожего дня — от всего на свете, — запел вдруг романс!.. Как сейчас помню: «О, если б мог выразить в звуке!..» За ним, не передохнув, — веселую озорную песенку. И так одно за другим, словно торопясь выплеснуть весь свой, похоже, неисчерпаемый «репертуар», развлекал то песнями, то стихами, то смешил юмористическими рассказами Зощенко и Чехова. Исполнял он все превосходно, можно сказать, профессионально.

Немного приумолк, затем снова стал читать особенно нравившиеся ему лирические стихи популярного тогда поэта Степана Щипачева.

Русый ветер, какой ты счастливый!
Эх ты, ветрена голова!

У тебя для березки, для ивы
Одинаково нежны слова.

Русый ветер, какой ты счастливый!
А вот я, словно кто приковал,
Об одной, о далекой, красивой,
Столько лет тосковал!

Обняв меня, тихо проговорил:

— А вот мне, пока я ждал твоего решения, эти два с половиной года показались за 25 лет. Вчера и сегодня — самые счастливые дни в моей жизни: ты теперь навсегда моя...

Вижу, жених мой совсем забыл, куда мы пошли, скорее заторопила его.

— Взгляни, Сережа, на часы. Сколько?! Бежим, а то опоздаем!..

И хотя шли мы довольно быстро, он всю дорогу не переставая читал стихи или что-то рассказывал. Рассказчик он был по призванию, как говорят, от Бога. Я понимала — это талант. И даже в те неповторимые минуты у меня нет-нет да и мелькала мысль: «Что же мы дальше-то будем делать с этим талантом?..» А у него на лице было одно безмятежное счастье.

Возвращались мы в самом прекрасном настроении. Сначала долго вертели и рассматривали такое желанное для нас «Свидетельство». Наверное, в честь этого события теперь уже мой законный супруг решил преподнести мне второй праздничный концерт.

— Галя, а я ведь часто еще с пляской выступал, просто тебе не говорил. И «чечетку», и «цыганочку», и «морскую прогулку» — всегда на бис принимали.

Действительно, так плясал — на экране не всегда увидишь. А напоследок посетовал:

— Эх, жаль, аккордеона с собой нет. Твое бы любимое танго сыграл!..

Потом взглянул вопросительно:

— Ну как, понравились тебе мои «номера»?

— Да ты же настоящий эстрадный артист! И как ты собираешься все это бросать?..

— Я уже говорил, что эти выступления мне надоели до чертиков. А куда денешься? Начальство приказывает. Идет смотр армейской самодеятельности. (В армии это здорово поощряется.) Тут главное — чья эскадрилья или часть на первое место выйдет. Кто при этом особенно отличится — получает от командования благодарность. И самую большую награду — внеочередной отпуск домой.

Но эти объяснения ничего не объясняли. И я не могла их принять. Хорошо ли он обдумал то, о чем так убедительно говорил и доказывал? Думаю, что нет. Надоело — потому что заставляли.

И вот теперь, после этих, идущих от всей души, выступлений, я поняла, что эстрада — его родная стихия…

На следующий день была свадьба. А еще через два дня провожали нас родители и друзья в далекий российский город. Началась наша многолетняя, многотрудная и очень интересная совместная жизнь.

Полет в неизвестность

И вот уже позади волнения встреч и прощаний, романтика свиданий и расставаний. Мы вместе мчимся на скором поезде, мне кажется — куда-то в неизвестность. Пролетают селения, проносятся леса, степи, голубые блюдца озер... Мы сидим у окна, тесно прижавшись друг к другу. Внизу заблестела ленточкой какая-то река.

— Галя, смотри, это же Волга!

Колеса загромыхали по высокому железнодорожному мосту. Не успела я разглядеть — поезд уже на той стороне.

— И это та самая Волга-матушка?.. О которой так много песен?!. Широка и глубока... Я представляла ее вроде нашей Оби.

— Да, когда-то была великой рекой, Матушкой, — с каким-то сочувствием сказал Сергей. — Сколько тысяч всяких судов — стругов, барж, пароходов — тянула, носила она на себе, сколько грузов перетаскала, — никто никогда не сможет подсчитать. И сколько песен о ней сложили — тоже не перечесть!.. Износили, состарили ее люди, — словно о женщине говорил Сергей. — Водохранилищ на ней наделали, мазутом угощают — тоннами проливают... А по берегам сотни заводов и заводиков понастроили, и все они сбрасывают в нее свои грязные отходы — просто, дешево и без проблем. Правда, мизерные штрафы за это платят государству — и все в порядке. Как еще живет-течет Волга-матушка?.. И продолжает работать, работать... Только все меньше да уже становится… — И добавил: — А с сибирскими реками нечего даже сравнивать: разве те реки были так загружены и отравлены, как Волга? Текут веками — тысячи верст по безлюдной тайге...

Я гляжу на Сергея с удивлением: такой поэтической сентиментальности в нем еще не замечала. Очень хорошо, что она есть. Мы все больше узнаем и понимаем друг друга.

Скоро уже Москва — как-то встретит нас Первопрестольная? В европейской части России я еще не была. Если будет долгая стоянка, — решили мы, — то обязательно побываем на Красной площади, у Кремля (вход был закрыт), взглянем хотя бы на Спасскую башню, мавзолей...

Но стояли всего 40 минут. Сережа только успел сбегать закомпостировать билеты да взять кое-что в буфете (везде очереди). А я так и просидела на Казанском вокзале.

Здесь тоже было совсем не то, что я ожидала. Казанский показался мне небольшим и грязноватым. (Опять же в сравнении с Новосибирским — громадным и ухоженным.) Но ведь здесь всего три-четыре года назад (шел 1949-й) пережили страшную войну, старалась я оправдать нашу златоглавую столицу. Страна еще без устали отстраивала, поднимала из пепла тысячи разрушенных сел и городов. Так что не до красоты пока было...

А поезд нам подали совсем другой — старый-престарый, плацкартный. Наш скорый остался в Москве.

До Брянска, куда мы ехали, оставалась одна последняя ночь. Проводница сказала, что на следующий день еще до обеда будем на месте. Сережа этот путь уже знает — спит, похрапывает. Я от волнения встала очень рано, еще затемно. Жду не дождусь рассвета. Оделась, прибралась, не отхожу от окна.

Поезд задержали на каком-то полустанке или разъезде, чтобы пропустить встречный. Стоянка приличная — 15 минут. Прямо напротив путей — базарчик. Пассажиры горохом посыпались из вагонов — подкупить свежих деревенских продуктов. У нас еще не закончились сибирские запасы (которыми нагрузили нас родители), но мы тоже выскочили. Больше из любопытства и желая размяться.

Базар оказался на удивление изобильным. И даже с прилавками. Видно, сами женщины постарались: неотесанные доски были прибиты к таким же столбикам. Зато на них чего только не было! Яблоки моченые, огурцы соленые, сало подкопченное... Мы купили свежих яблок и огурцов.

Прошли дальше, к возам. Сережа остановился где продавали щенят, поросят. А я немножко отошла. Смотрю — что это такое? На одном из возов торчал порядочный шест, а на нем сверху донизу висели привязанные парами... лапти! Самые настоящие, сплетенные из свежего лыка, с веревочками на запятниках. Мы видели их только на картинках, когда читали в детстве сказки. И еще

в кино. Считали, что это очень далекое прошлое. Я даже подумала: «Возможно, их и привезли по заказу какой-нибудь киностудии, для съемок фильма. (Тем более, что никто не подходил и не покупал.) Мне все же хотелось узнать, и я вежливо спросила у бородатого мужичка:

— Вы их кому-то привезли?

— Кому привезли?.. Людям!.. — сердито, с возмущением ответил продавец. — Можешь и ты купить. Или надела каблуки, дак думаешь, что никому не нужны?..

Сережа услыхал, быстро подошел. А мужичок не мог успокоиться:

— Видать, мадам не из этих краев. Не нюхали войны, а с военными ходите!..

— А ну замолчи!.. — взорвался Сергей, добавив еще несколько «веских» слов.

Мужик мгновенно затих, проговорил примирительно:

— Вот я и мыслю — не из этих краев...

Мы пошли к поезду. Я все поняла. Не было еще здесь (особенно в сельской местности) ни магазинов, ни каких-то мастерских, где можно было бы купить обувь или промтовары. Мне даже стало неловко. Но Сережа понимающе рассмеялся:

— Не переживай, ты еще тут много такого увидишь и услышишь... Все это отголоски войны. Я в армии поездил, насмотрелся. В прошлом году, еще в Вязьме служил (ты же знаешь), так там летчики, командиры с семьями (!) в землянках жили. Сам с ребятами помогал копать эти землянки...

По вагону раздалось громкое сообщение:

— Поезд прибывает на станцию Брянск-1 Товарную.

Не знаю, где мы выходили — здесь или проехали до вокзала. Помню только холодный, пасмурный день, какую-то неприглядность и неуютность и нашу озабоченность. Сережа увидел стоявшую поодаль грузовую машину, посланную за нами из воинской части. (Он заранее договорился с командиром и перед отъездом дал телеграмму.)

Познакомил меня со своим другом Ильей и шофером Виктором. И они втроем пошли получать багаж. Багаж был изрядный: два вместительных тюка и немаленьких размеров чемодан.

Быстро доехали до квартиры, которую Сережа снял перед отъездом. Смотрим — дом-то не достроен! Вместо крыльца — камни. В прихожей оконный проем без рамы и стекол — ветер гуляет. В квартире нет вторых рам. И одна небольшая печка с плитой, только в кухне. А предполагаемый «зал», где были отгорожены фанерой две конуры для квартирантов, совсем не отапливался. Даже нераздетые, мы чувствуем, как холодно.

Сережины друзья напустились на него за такую «квартиру»: если бы, мол, как следует поискать-походить, то можно было найти нормальную. В этой части города шло большое строительство частного сектора. Сережа оправдывался, что очень спешил, что тогда было еще совсем тепло и он просто не подумал о печке и вторых рамах. Притом, хозяйка заверила, что через неделю-другую все доделают.

— И ты поверил! — возмущались друзья. И в свою очередь обещали через три-четыре дня найти приличную комнату в достроенном жилом доме.

Но я не слишком расстраивалась, да и не показывала этого (при таких помощниках!). С интересом слушала бесцеремонный «мужской разговор», улыбалась и молчала. А про себя думала: «Вот она, Сережина непрактичность, сразу же сказалась…»

— Да я вот сейчас поеду в часть и выпрошу у командира еще несколько суток отпуска на обустройство, — сказал Сережа.

И они втроем уехали. Хозяйка, пожилая одинокая женщина, чувствуя себя виноватой, всячески ухаживала за мной. Посадила за стол, налила свежего горячего чаю, поставила варенье, разогрела какие-то блинчики. Спросила, нра-

вится ли мне жареная картошка. И услышав ответ «конечно», стала быстренько чистить картошку.

Сережа вернулся буквально через час (воинская часть была близко). Опять на машине с друзьями и радостной вестью:

— Галка, все в порядке! Командир дал еще пять суток отпуска, сказал: для молодоженов. — Хитровато улыбнулся: — Я на это и рассчитывал. Они же в части все заочно тебя знают — я рассказывал, какая у меня невеста. Особенно командиру, когда отпрашивался в отпуск. И письма твои читали...

— Да ты что?! — вспыхнула я. — Кто тебе позволил давать мои письма?!.

— Галя, я же тебе говорил, что подшивал их в книжечку, чтоб не растерялись. А ребята просят почитать. Ну как я не дам? Да они все равно без меня возьмут. Не буду же я прятать их под замок. Знаешь, какая черная скука по вечерам в казарме. Почитаешь — светлее становится...

Из кухни крикнул Илья:

— Сергей, идите с Галей к столу, хозяйка зовет!

Муж взял меня под руку, и мы нарочито торжественно вышли к столу. (Ребята по пути заезжали в магазин, Сережа купил бутылку водки, булку хлеба и сыр — больше там ничего не было.) А тетя Рипа поставила на стол сковороду с жареной картошкой, нарезала в тарелку хорошего соленого сала. Сперва поздравили нас с законным браком, потом — с благополучным приездом.

Илья с Виктором скоро поднялись из-за стола:

— Нельзя нам засиживаться: машина стоит. А то от командира влетит.

Они о чем-то пошептались с хозяйкой. Та достала из-за занавески новенькую, похоже, только что сплетенную корзинку, и ребята высыпали в нее из стоявшего у дверей рюкзака свежие, вперемешку с листиками, фрукты — яркие малиновые яблоки и крупные желтоватые груши.

— Галя, это вам от нас, — радушно сказал Илья. — Прямо с кустов — в знакомый сад заезжали, — улыбнулся он. — Ну, до скорой встречи!..

А мы с Сережей пошли разбирать тюк с постелью. Долго возились, пока распороли. (Мама так тщательно зашила.) Когда развернули — какой был для нас сюрприз!.. Оказывается, после того, как мы все уложили и ушли по делам, мама к подушкам и одеялу добавила еще небольшую легкую перинку, хотя мы от нее категорически отказывались.

Теперь мы с благодарностью положили ее на старую железную кровать. Сережа обнял меня:

— Ну, с приездом, моя хорошая...

Какое-то время мы так и стояли обнявшись. Словно ждали откуда-то еще одно благословение — на новом месте.

А со второй квартирой у нас получилось неожиданно удачно.

Чуть ли не на другой день командир подсказал Сереже, что на этой неделе будет сдаваться дом, построенный для семей офицеров. И мы не мешкая выбрали для себя подходящую комнату в приличном доме, и главное, почти рядом с воинской частью.

«Следы свои оставила война...»[1]

Брянск внешне выглядел неплохо. Но, естественно, как полноценный город он не был еще восстановлен. В полную силу работали разве только строительные организации и административные центры (обком, райкомы и так далее.). Не хватало продовольственных магазинов (и продуктов). Недостаточно было медицинских учреждений. И я долго не могла устроиться на работу.

---

[1] Строчка из стихотворения Сергея.

Притом, я училась еще в Новосибирске на заочном отделении факультета иностранных языков. И хотела перевестись в Брянск, но это было непросто. Поначалу я очень огорчалась. Но не теряя времени занималась чем-то другим.

С первых же дней мы с Сережей взялись было штудировать учебники за десятый класс. (Я сама сходила в часть, попросила ребят, которые, муж рассказывал, сдали экстерном, — собрать все учебники.)

Но вижу — настроение у Сергея совсем не рабочее. Не идут в его голову мои уроки — все тут же вылетает.

Зашел как-то Илья и говорит:

— Галя, не мучайся ты с ним. Он прибегает сейчас не к учебникам, а к тебе. Вот демобилизуется, приедете домой, будете все время вместе — он успокоится, тогда и учитесь.

— Наверное, ты прав, Илья, — согласилась я, подумав. И удивилась его рассудительности.

Работу я все еще не нашла. Но в Горздраве мне уже определенно сказали, что сообщат письменно, как только получат дополнительные ставки. Это с Нового года, до которого оставалось еще больше месяца. И теперь я каждый день с утра садилась за «письменный стол». Именно в это время закончила свои первые рассказы, которые, наконец, соответствовали моим литературным требованиям. И все равно они долго у меня лежали, пока я не показала их Е. К. Стюарт — известной сибирской писательнице, поэтессе. (Она оценила их как «совершенно зрелые» и предложила послать в журнал.)

Сережа приходил обычно ближе к вечеру — часть находилась в двух-трех минутах быстрой ходьбы. К тому же нам повезло с командиром. Это был на редкость лояльный, доброжелательный человек. Бывший фронтовик, прошедший от начала до конца всю войну, он знал настоящую цену жизни и никогда не злоупотреблял своей властью. Раза два он заходил к нам — посмотреть, как мы устроились, по-отечески что-то советовал, принимал участие во всех наших бытовых трудностях с мебелью, топливом.

В выходные дни, когда у Сергея была увольнительная, мы ходили за продуктами на базар. В магазинах даже за макаронами стояли огромные очереди. А на базаре можно было купить и муку, и готовый мясной фарш (при нас приготовленный), не говоря уж об овощах.

По возвращении готовили обед. И это время было для нас самым интересным: разговоры наши не прекращались. Говорил больше Сережа. Он выкладывал все, что накапливалось годами: сокровенные мысли, чувства, невысказанные обиды. Или какие-то особенные, неординарные случаи, произошедшие с ним во время армейской службы. Разговоры эти не проходили бесследно. Они сближали нас. Мы как бы заново открывали друг друга.

Не проходило ни одного выходного дня, чтобы Сережа не взял в руки свой аккордеон. Мы садились рядышком на маленький диванчик, и он как всегда весело спрашивал:

— Ну, что тебе сыграть?..

Больше всего мы любили мелодии военных и предвоенных лет: «Ночь светла», «В лесу прифронтовом», «Офицерский вальс», «Синий платочек» и многие другие. Мелодии вальса захватывали, я вскакивала и начинала кружиться одна. Тут Сергей оставлял аккордеон, подхватывал, и мы вальсировали уже вдвоем, под напев его любимого штраусовского вальса (из трофейного фильма «Большой вальс»). Нам было по 22 года.

Как мы ни старались шуметь потише — из своих комнат выходили к нам хозяева — тоже молодые, но постарше нас. Останавливались в проеме двери, смотрели на наши танцы, смеялись. Потом приглашали нас к себе пить чай с морковной заваркой (настоящего не было) и медом. Конечно, мы не отказывались.

Такие «концерты» повторялись у нас не только по выходным дням, но нередко и по будним вечерам.

Часто он рассказывал мне о своем не очень счастливом детстве. Но как всегда — с юморком. Приведу здесь один эпизод, где он показывает не только свое раннее детство, но и, мимоходом, прошлую нашу «эпоху», которую нам еще довелось застать, прикоснуться краешком.

«Так, наверное, распорядилась судьба (время было такое), что вскоре после моего рождения был арестован и посажен в тюрьму мой отец как сын кулака.

А матери было всего 17 (!) лет. Родители напугались, как бы не забрали и ее: жила она у свекров. И увезли сначала к себе, потом отправили еще подальше, в деревню. Чтобы сменить фамилию, мать «выскочила» там замуж «за первого встречного». Конечно, прожили недолго. После этого появился у меня... второй отчим, затем третий... Понятно, что выходила она не по любви, а по нужде (одна с ребенком). Поэтому чуть что — сразу расставалась. И так повторялось несколько раз, пока не вернулся отец. Лет с четырех я уже начал понимать, что все эти «папы» не шибко-то меня любят, и платил им тем же. (Не паинька тоже был!)

Первый раз меня исключили из школы, когда мне было шесть лет. Мать вначале работала уборщицей в школе и здесь же одновременно училась на курсах ЛИКБЕЗа (ликвидация безграмотности), а когда закончила эти курсы, ее «поставили» учительницей в младшие классы. Мне шел тогда шестой год. Дома оставить меня было не с кем. И она осенью привела меня с собой в школу. Но первый класс учила не она, а мой, кажется, третий отчим, Василий, который вместе с ней тоже закончил ЛИКБЕЗ.

В классе я был самый «грамотный». Так как знал уже все буквы и даже мог складывать некоторые слова — мать научила. На одном уроке чистописания (писали «палочки» и «крючки») подходит ко мне этот Василий и «по-свойски» тычет пальцем в мой лоб: «Не в ту сторону крючки пишешь, чертенок!..» (Иначе он меня не называл.) Я в долгу не остался и закричал: «Без тебя знаю!.. В ту сторону я уже написал. Пишу теперь в другую!..» Он схватил меня за ухо, дотащил до двери и вышвырнул, как нашкодившего котенка.

Из школы меня исключили в тот же день, как «не достигшего положенного возраста». (Учиться тогда начинали с восьми лет.) И мать увезла меня на какое-то время к бабушке и дедушке в Чистоозерную.

Но нередко она отправляла меня на хутор, к старикам Мосияшам. И мне у них было куда интереснее. Потому что эти баба с дедом, добродушные и простые, ни в чем не отказывали, ни в чем не стесняли. Там я был — вольный казак. Бегал хоть весь день, делал что хотелось. Мог часами заколачивать в заборе старые ржавые гвозди, которые, казалось мне, плохо были вбиты, — меня только подхваливали. А мог с дедом и со своими «дядьями»-подростками поехать на речушку — коней после работы помыть, напоить. Притом, дед обязательно садил меня на коня впереди себя, между поводьями узды.

Или, бывало, пошлет меня баба Христя на «горище» за яйцами (на чердак сараюшки, где неслись куры). Я наберу их полный подол рубахи, а как стану спускаться с лестницы, — не могу удержать рубаху одной рукой и все — бах!.. — летит на землю. Бабушка Христя была очень добрая, никогда не ругала, только скажет: «Ну, не реви, полезай снова — набери ишче. Да возьми вот плетушку...» — Мне казалось, что тут меня больше любили.

А в Чистоозерной своевольничать не разрешалось, и часто от деда мне здорово попадало.

Отца выпустили раньше срока. Местные власти, хоть с опозданием, но все же разобрались, что никакими кулаками они не были. Переселенцами приехали с Украины на вольные земли Казахстана. И нахватали себе пашни, сколько

могли обработать. Работали всей большой семьей — у деда Ефима было семеро подросших сыновей и две дочери. (От двух браков. От первого — три сына, и от второго — четыре сына и две дочери. Первая жена рано умерла. Мой отец был старший.)

Но «хозяйствовать» не умели, продавать излишки зерна не могли (кормили им скот, птицу): до города было трудно добираться — на сотни верст кругом степь.

Да и сам дед Ефим не шибко любил заниматься хозяйством. Помню, — просит, просит его бабушка: «Ехфим, поправь дверь, косяк вываливается...» (дом-то саманный был). Дед всегда отвечал: «Струменту нема...» Или: «До косяка мне! — неколи у гору глянуть...» (Некогда, значит.) Тогда баба Христя бралась сама — месила глину и «подпирала» косяк этой глиной, смешанной с соломой, которая потом затвердевала, превращаясь в саман.

Зато дед Ефим, когда был помоложе, джигитовал на конях не хуже любого джигита. Легко скакал на коне стоя. И на всем скаку перебрасывался с одного коня — на второго, с него — на третьего... Дед был донской казак».

После этого рассказа я, смеясь, сказала Сереже:

— А ведь ты, дружок, изрядно похож на своего деда Ефима.

— Есть отчасти... — тоже засмеялся он, соглашаясь.

А меня Сергей расспрашивал о «гражданке» (он уже седьмой год был в армии), о том, как жил Новосибирск в последние годы войны, о нашей студенческой жизни, зная, что мы с его «тетушкой» Еленой увлекались тогда искусством, театрами. (Это ему было особенно интересно.) Посещали все городские выставки художников, премьеры. И почти на каждый понравившийся спектакль писали отзывы или «рецензии» — для себя, чтобы не забыть. Или для студенческой газеты.

На экранах кинотеатров начали вдруг показывать зарубежные фильмы (кажется, в 1944 году). Больше шли трофейные (немецкие), но были и американские, которые вместе с гуманитарной помощью присылали наши союзники. Заграничные фильмы мы видели впервые. До войны о «той» жизни не имели никакого представления, кроме того, что «там все подавил капитализм». И как же было не посмотреть что-то совершенно для нас новое!..

Но ради справедливости скажу, что во время войны не только студенты «аккуратно» посещали кино и театры, — залы были заполнены людьми всех возрастов. Шли не просто развлечься. Нет... Они искали отдушину, чтобы можно было немного забыться, хоть на час-два уйти в другое время, отдохнуть душой. На всех лежал тяжелый, никогда не оставлявший гнет. Мысли и думы каждого были все время там, где шли кровопролитные бои, где всякую секунду падали, умирали наши родные солдаты. Не осталось, наверное, ни одной семьи, из которой кто-то не ушел бы на фронт.

Но ничто не приносило облегчения. Мы с подругой замечали, что выходившие из кино люди шли всегда молча, понуро, не глядя друг на друга: «А может, вот сейчас, в эту самую минуту, бежит в атаку, на смерть мой милый сын, мой любимый муж, мой родной отец, брат...» Только у пожилых женщин иногда прорывалось вслух: «Сидим, смотрим на чужую радость... А что у нас творится там?!..»

Люди с трепетом ждали каждую сводку Информбюро… Бывало, прямо на улице, у репродуктора, простаивали часами (в мороз, в жару), ожидая вестей с фронта. Я все это по себе знаю...

На нас, подростках, лежало много забот и, в основном, — вся тяжелая работа. Учиться мы начинали (равно — и в селе, и в городе, и школьники, и студенты) только после того, как убирали весь урожай с полей и огородов. Летом ездили в лес на заготовку дров. Иногда кому-то, старшим по возрасту, приносили повестки — срочно поработать два-три месяца (в подсобке) на военном заводе.

Молодежь рвалась на фронт. Старшеклассники добровольно являлись в военкоматы с просьбой отправить на передовую. Их отправляли в военные училища. В классах, начиная с шестого-седьмого, оставалось по два-три мальчика, а то и вовсе не было. Большинство из них поступили учиться в ФЗО (фабрично-заводское обучение), чтобы заменить на заводах квалифицированных рабочих, ушедших на фронт.

На фронт мы не попали — не успели.

Но все же и нашу судьбу война капитально перекроила. Сережа, имевший незаурядный артистический талант, стал механиком авиации по вооружению. Он также добровольно ушел после девятого класса в военное училище. Я, серьезно думавшая о большой литературе, журналистике, неожиданно для всех (особенно для преподавателя литературы) пошла с десятого класса в медицинский. Тоже поэтому: если уж не успеем на фронт, так будем лечить раненых, тысячами лежащих в госпиталях. Причем, поступила в особую, только что открывшуюся «Группу ускоренного четырехгодичного обучения по полной программе института». До войны в мединституте было пятигодичное обучение.

А по своему призванию я все же закончила Алма-Атинский университет (факультет литературоведения), будучи уже с детьми школьного возраста. Потому что в первую очередь необходимо было дать образование Сереже: он не имел даже аттестата за среднюю школу.

Такая судьба была у всего нашего поколения. Мы не успели или не смогли сделать вовремя то, что хотели. Многое было отнято войной.

Прошло уже несколько десятилетий, а мы это до сих пор чувствуем — следы свои война оставила…

Лиха беда начало

Наконец долгожданная демобилизация! Домой мы возвращались втроем, уже с двухлетним сыном — Сережей-младшим.

Оказалось, что мои родители собирались переезжать к сестре в Кемеровскую область. Нам надо было немедля устраиваться на работу, чтобы до их отъезда успеть получить какую-нибудь квартиру.

Предприятие на станции было одно (а до войны здесь располагался красивый пригородный район отдыха) — Военный завод, который теперь медленно, но верно снижал выпуск своей прежней продукции. Шла реорганизация цехов и всей рабочей системы. И конечно, было большое сокращение. Люди уезжали, освобождали комнаты в заводских общежитиях барачного типа.

Для меня сразу нашлось место в здравпункте завода. А Сереже отказали. Второй раз мы пошли уже вместе: я просила, чтобы дали какую-нибудь работу моему мужу. Дали, причем, мастером (!) одного из цехов, с чем он никогда не имел дела. Сказали: «Другого пока ничего нет...»

Здравпункт был на территории завода, совсем недалеко от того цеха, где работал Сергей. Двери в цехе были очень широкие — заходили машины. И я часто специально проходила мимо, чтобы его увидеть, сказать что-то ободряющее. Он почти всегда стоял около этих дверей. С каким-то безысходно-тоскливым видом, словно не зная куда себя деть. Не знал, что ответить рабочим на их вопросы. Всем сердцем я чувствовала, понимала, как ему несладко, что эта работа не для него.

Позже он признался мне в своем раскаянии — в отказе, когда в армии несколько раз ему предлагали подать рапорт на офицерскую должность. Я тогда тоже его уговаривала, хотя и не очень настойчиво. Рисовала ему реальную картину — что ожидает его первое время на гражданке. Он отвечал одно:

— Галя, я уже несколько лет живу только по команде. Утром поднимаюсь по команде, вечером ложусь по команде. Даже пищу принимаю по команде...

— А там будет гудок завода. В полседьмого — вставай, в полвосьмого — выходи, в восемь — будь на рабочем месте.

— Зато остальное время я свободен...

Через некоторое время его перевели на другую работу — испытателем боевого оружия, в частности, гранат, которые завод еще продолжал выпускать. Это был своего рода контроль. Брали из каждой партии по несколько штук для пробы взрыва. Для этого было отведено «боевое» поле, и гранаты бросали из-за специальных щитов. Работа была не сложная, но опасная, требующая большого внимания. Я все время волновалась, потому что Сергей был рассеянный, несобранный. И то, от чего я предостерегала его, все же произошло. Как-то, не дождавшись взрыва только что брошенной гранаты, он по рассеянности тут же швырнул другую. Взорвались они обе одновременно. Взрыв был такой силы, что волной вышибло тот игрушечный щит, полетели осколки.

— Хорошо, что тут я молниеносно среагировал — брякнулся вниз лицом, — рассказывал он. — И еще лучше, что на голове у меня на этот раз была металлическая каска. Иногда я ее просто не надевал. Видно, сам Бог (впервые он упомянул Бога) спас меня, ради вас, — он прижал к себе стоявшего рядом и слушавшего сынишку.

Не знаю, как Сергей видел нашу дальнейшую жизнь, но я часто думала об этом. Выход я видела только один — ему надо учиться. И как только начнется учебный год, решила я, не откладывая, ему нужно поступать в школу рабочей молодежи.

Стали опять собирать учебники. Но вижу — нет у Сережи моего никакого энтузиазма...

— Утопия все это, Галя. Не смогу я, наверное, снова начать учиться, ничего у меня в голове не осталось.

Тут уж я не давала ему слабинки:

— Ты просто лентяй! Как говорит хорошая немецкая пословица: «Нет слова «не могу», а есть слово «не хочу». Захочешь — все сможешь. А данное мне обещание ты держишь или нет?

В то же время я прекрасно понимала: он просто потерял всякую уверенность в себе. За семь с лишним лет армейской службы, да еще в низших чинах, от постоянных команд и подчинения можно было потерять не только уверенность, но и все знания.

И все-таки ближе к весне в любое свободное время — в выходные дни, после работы (как только управлюсь с сынишкой, с домашними делами) — мы садились с Сережей за учебники. В занятия втягивала его без нажима, старалась чем-то заинтересовать, как первоклашку. Сначала брали предметы, которые ему больше нравились: географию, историю, литературу, по очереди. Часто рассказывала ему что-нибудь интересное (по теме) из прочитанных книг (в школьные и студенческие годы я очень много читала). И он мало-помалу все же взялся, часто уже сам, без напоминаний, брал то один, то другой учебник — что-то вспоминалось, восстанавливалось в памяти.

Помню, где-то в апреле прибежал ко мне в здравпункт Гоша — самый младший из братьев Мосияшей. Обрадованно сообщил, что в доме рядом с ними (он был семейный и тоже работал на заводе) освободилась хорошая комната.

— Пусть Сергей скорее берет лошадку, и мы с ним перевезем туда все ваши вещи.

Тогда все было проще, тем более что квартира нам полагалась: у нас был ребенок, и я собиралась в декретный отпуск.

Родители должны были вот-вот уехать. Оставляли нам самое необходимое: мебель, посуду — все, что могло войти в нашу двадцатиметровую комнату.

И вот у нас уже двое детей. Маленькому Сереже было около трех лет, когда летом родилась дочка Наталья (назвали в честь бабушки). Мы стали чувст-

вовать себя уже по-настоящему семейными людьми. Сережа даже вести себя стал по-другому: меньше отпускал разных смешных сценок, прилежнее готовился к учебе.

А осенью он благополучно поступил в 10-й класс вечерней школы. Я как раз в это время больше года сидела дома с детьми. Какая горькая ирония в этом слове — «сидела». Каждая женщина, прошедшая через тот период, знает, что это значит. Бывает, что за весь день ни на минуту не присядешь. Кроме того, что нянчилась с двумя детьми, к приходу Сережи надо было приготовить не только ужин, но успеть сделать ему все письменные домашние задания. После работы он просто не успевал. Причем, необходимо было объяснить ему все эти задания, чтоб он знал, что «выполнял». А он едва успевал только переписать готовое да прочитать по устным предметам. Часто не удавалось даже хотя бы на полчаса прилечь отдохнуть после работы и ужина.

Занятия в школе начинались в 7-30 вечера, возвращался муж — в 11 часов ночи, иногда — в 12-м.

Только вошло у нас все в нормальную колею, наладилось с квартирой, я успокоилась — Сережа по-серьезному взялся за учебу, — как появилось что-то совершенно непредвиденное.

Дело в том, что рабочие некоторых цехов (что повелось, видимо, давно) организовали «тайное товарищество». И перед самым концом работы в укромном месте «провожали» прошедший рабочий день.

Для сборки и промывки некоторых деталей выдавали особый лак, разведенный якобы на чистом спирте. «Химики» придумали, как очистить тот спирт от лака. И когда «очищали» (до несмертельной дозы) — этим и поздравляли друг друга.

Сережа мне об этом уже рассказывал. Я очень просила его «не вступать» в это «товарищество». Так как стоит только раз соблазниться — и потянет дальше. Объясняла ему, что это сильнейшие токсины. Но однажды такое все же случилось. Сергей, ничего не помня и не соображая, дошел еще как-то до дома. Ухватился за скобку двери и повис... Слышу странные звуки, какое-то царапанье. Открываю дверь — он прямо мешком вваливается в дом и грохается на пол... Даже не пошевелился. Я перепугалась, расстегнула ворот рубашки, брызнула в лицо холодной водой, перевернула на бок. Пульс часто-часто «тикает» — живой. Снять с него верхнюю одежду я не смогла. Так он и остался ночевать на полу.

На другой день (уже раздетый и помытый) лежал пластом и слушал мое «гуденье».

— Ты что молчишь, не отвечаешь?! — насторожилась я.

— Галя... Ты говори, говори... Но слов я не могу понять... Я слушаю только твой голос, я люблю твой голос... — говорить с ним было бесполезно.

Задумалась — что же дальше-то делать? Утром следующего дня, когда он уже как следует пришел в себя и я могла его оставить с детьми, побежала в магазин. Купила бутылку хорошего вина. Состояние у него было не из легких, — понятно какое, да еще после такой отравы. Налила ему «лафитник» (стограммовый стаканчик) вина, подаю. Он как-то недоверчиво посмотрел на меня: не шутка ли?..

— Это что? Вино? — спрашивает.

— Да, вино, не отрава. Выпей, полегче станет.

С какой благодарностью он выпил это вино!.. Не буду повторять, что он мне говорил.

Немного погодя мы договорились, что теперь он (если не соблазнится лаком) вечером после работы будет выпивать по лафитнику такого вина. Я старалась не нарушать своего слова. И он — тоже. Слава Богу, то был первый и последний раз.

Но как бы там ни было, учебный год Сережа закончил с вполне приличными оценками. И весной 54-го года мы танцевали с ним на выпускном вечере. Он получил неплохой аттестат об окончании средней школы.

И теперь, пока еще ничего не забылось, решили тут же начать подготовку к вступительным экзаменам в Новосибирский пединститут.

И вновь мы сидели с учебниками и «грызли гранит науки». Теперь я натаскивала его больше по русскому языку, так как «засыпались» абитуриенты в основном на русском письменном. А Сергей, к моему огорчению, писал безграмотно.

Считала, что больше всего пользы могут дать диктанты — это основа письма, действенная практика. Писали их почти каждый день, вернее, — вечер.

Но все же я была не совсем уверена, что он получит на экзаменах по письменному хорошую оценку, и очень беспокоилась. А он взял да и получил «хорошо»!..

Это был для нас настоящий большой праздник!

Сны о розовом коне

Уже со справкой о зачислении на заочное отделение пединститута, на факультет географии, Сергей решил попытаться найти учительскую работу. Но это оказалось не так-то просто. Ни в пригороде (у нас), ни тем более в городе вакансий не было. В районо предложили только какой-то дальний сельский район — там еще что-то было возможно.

Созвонилась я с наиболее ближним, Каргатским районом, где жили наши родственники — моя родная (по отцу) тетя с мужем. Петр Никифорович Белобородов был в то время первым секретарем Каргатского райкома. И они нас здорово поддержали. Явились мы к ним с двумя детьми. Они сразу отвели нам одну из комнат. Прожили у них около двух недель, осмотрелись, отдохнули, пока подыскали мне работу.

И в новой школе не было работы. Обещали только месяца через два, и то — неизвестно какой предмет. Первое время он «сидел» дома с детьми. Потом, когда нашли для них нянечку (девочку лет 15—16), Сережа освободился и решил попытать счастья в охоте и рыбалке, тем более, что в магазине ни мясных, ни рыбных продуктов вовсе не было. Да и вообще, прилавки были пусты.

Зато места для охоты, по его определению, были просто великолепные, с самой разнообразной дичью. Кругом тянулись небольшие леса, переходящие в лесостепь. Много было зайцев, коз, но еще больше — лесных птиц: тетеревов, куропаток, рябчиков.

А дядя Петя, заядлый охотник, подарил Сергею хорошее охотничье ружье. Первые месяцы он и здесь нас выручал — снабжал разными охотничьими продуктами. Часто приезжал на машине (к директору совхоза) и каждый раз привозил нам то свежей рыбы (у шофера был небольшой невод), то по две-три птицы.

Сережа стал ходить на охоту почти ежедневно. Иногда приходил с пустыми руками, но чаще приносил зайца или куропатку. Приходил такой довольный:

— Какая благодать!.. После завода душа отдыхает. Брожу по лесам-перелескам, как Иван Сергеевич Тургенев!.. — смеялся он. — Такого счастья я еще не испытывал.

Как-то в очередной раз Сережа пришел от директора школы совсем расстроенный:

— Опять говорит: «Ничего пока нет. Возможно, дадут часа два-три в неделю вести труд...» Возможно, да еще полставки!.. Галя, ну подскажи, чем я могу заняться, чтобы помочь тебе?

— Ты помнишь, когда был на охоте, сравнил себя с Тургеневым? Вот попытайся так же описать недавно произошедший случай — как убежал от тебя подстреленный раненый зайчонок. И как ты жалел, что будет он теперь мучиться...

— Ой, нет! Такое я не смогу.

— Ты еще говорил, что писал в армейскую газету к празднику патриотические стишки.

— Вот тоже! Да кто их тогда не писал? Уря — Уря!..

— А помнишь, ты мне как-то давно рассказывал, что большой успех имел на детском утреннике (для детей военнослужащих), когда читал стихи Агнии Барто, Маршака и сказку Ершова «Конек-Горбунок»...

— Да, было такое!.. После выступления жены высшего начальства гарнизона, окружив меня, прямо сыпали дифирамбами, наперебой обещая, что они примут самое горячее участие в дальнейшей моей судьбе. Но как и чем они собирались «облагодетельствовать», так и осталось для меня загадкой...

Помолчали. Но раз уж начали мы разговор о стихах, решила сказать то, о чем я часто думала:

— Ты, Сережа, сейчас часто бываешь с детьми. Разговариваешь с ними, слушаешь, что они говорят между собой. Они часто такое интересное выдают!.. У меня даже есть записи их разговоров. Возьми и попробуй написать хотя бы маленькое четверостишие. А я потом посмотрю, что получилось. У тебя должно получиться, — уверяла я его. — Ты же со сцены хорошо читаешь. Значит, понимаешь: что лучше подобрать, что больше понравится. Значит, ты чувствуешь стих... Попробуй, испыток — не убыток, — как говорит пословица.

Он только головой покачал в раздумье.

Через какое-то время я стала замечать — Сережа, собираясь на охоту, прячет в карман блокнотик или просто лист бумаги и огрызок карандаша. Конечно, я ничего не спрашивала. Ждала.

Сергей очень любил Есенина. Особый восторг вызывало стихотворение, несколько последних строк из которого он постоянно повторял и даже напевал:

Жизнь моя, иль ты приснилась мне?
Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне...

И словно оправдываясь, восклицал:

— Нет, ты только вникни — образ-то, образ-то какой!.. «Проскакал на розовом коне!..»

— Очень поэтичный, есенинский, — отвечала я. — Но нельзя же так без конца повторять и «затаскивать» эти строчки. Ты же их совершенно «замучил»...

Он посмотрел на меня с каким-то «своим», неповторимым удивлением, — как мог смотреть только он: «А я об этом даже не подумал!..»

Часто мы понимали друг друга без слов.

Первые два четверостишия, которые он мне показал, были написаны для меня. И никто их никогда не читал, кроме меня.

А потом переписал из блокнота и из черновых бумажек несколько детских стишков. (Не только четверостишия — были и «полнометражные».) Положил их на стол и с несвойственной ему робостью проговорил:

— Вот, Галя, прочти и эти опусы... — и вышел на улицу. Я тоже немного волновалась, когда начала читать. Выбрала из них три, которые (с поправкой) вполне могли пойти для детского журнала или газеты. В выходной день мы вместе стихи отредактировали, и я уверенно сказала:

— Теперь посылай в «Золотые искорки» (детский журнал в Новосибирске).

Прошло немного времени, получаем из редакции ответ: «Уважаемый Сергей Павлович! Ваши стихи отданы на рецензию Е. К. Стюарт...»

Это было что-то необъяснимое, сверхъестественное!.. Отдать Е. К. Стюарт, такой известной поэтессе, стихи которой мы читали и в детстве, и в юности!

— Что же дальше-то будет?.. — волновался Сергей.

— Все будет хорошо, — успокаивала я его. — Стихи, которые послали, все-таки неплохие.

А через несколько дней пришло письмо от Е. К. Стюарт. Она сообщала, что одно стихотворение (название его и даже первые строчки я до сих пор помню — «Градусник») она рекомендовала в журнал «Золотые искорки». И просила присылать прямо на ее домашний адрес все, что у автора есть, а также писала, что ей хотелось бы увидеться лично и поговорить.

Радость у Сережи была непередаваемая, он с трудом во все это верил.

— Ну вот, заглянул к тебе твой розовый Пегас!.. — счастливо улыбалась я.

И он опять, с тем же удивлением смотрел на меня. Но молчал, будто боясь что-то спугнуть.

Вскоре пришел ему вызов из института — на сессию. Собрала его в дорогу (на месяц), проводила. Одной стало еще труднее — и на работе, и с детьми.

Вскоре получила от Сережи подробное письмо (как и договаривались). Остановился он у своей двоюродной сестры. Но так как жила она тоже на квартире, да еще в частном доме, то свободное место оставалось только в сенцах, где стоял топчан, — на нем он и спал. Днем уходил в институт, в читальный зал. Когда сдал первый экзамен, позвонил Е. К. Стюарт (в письме она давала свой телефон).

«...Елизавета Константиновна пригласила меня прийти, вчера был у нее. Она уже пожилая, на 6 лет старше матери. Но очень живая, разговорчивая, интеллигентная. И старается держаться со мной (чтоб я не смущался) почти на равных. Даже зовет меня Сергей Павлович. Но чувствую, что в ее глазах я — «неотесанный чурбанчик». В первую очередь спросила, где я живу. Сказал. Она пришла в ужас.

— В сенях? Там же темно. А как вы готовитесь к экзаменам?

Я ответил, что в читальном зале.

— И сдали на?..

— На тройку, — сказал я уныло.

— Ничего страшного, — пошутила она. — Главное — сдать. И очень строго прибавила: — Сегодня же перебирайтесь ко мне. Вот я отдаю вам свою комнату. Поживем пока вместе с дочкой Ниной в ее комнате.

Я было запротестовал. Но она ответила тоном, не допускающим возражений:

— Прекратите!..

И я правда, не в этот же день, а на другой (у сестры постирал еще свои шмотки) пришел со своим чемоданчиком к Е. К. Стюарт. И все думаю: может быть, это сон?..

Е. К. подробно расспрашивала о тебе, Галя. Конечно, я хвалил. Рассказывал, как ты вталкивала меня в учебу, как заставила попробовать с детскими стихами и проч. Вечером пришла с работы ее дочь Нина — она одногодок с нами. Медик-рентгенолог. Пришли еще к ужину писатель Юрий Сальников и известный артист театра «Красный факел» Юрий Магалиф.

Е. К. познакомила меня с ними. И все держались со мной так же, как она. Конечно, здесь очень хорошо, но чувствую себя «не в своей тарелке», стесненно...»

Дальше, в письме, он спрашивал обо мне, о работе, о детях.

Я эти дни, особенно после письма, тоже была в волнении, хотя и приятном. Так неожиданно до невероятности все произошло, что трудно было поверить. Как будто явилась добрая фея, взмахнула волшебной палочкой, и мы очутились под ее покровительством.

Мы воспитывались строгими атеистами. Но все чаще появлялись раздумья о чем-то непреходящем, вечном. О том — Кто или Что управляет всеми нами (что мы чаще называем судьбой). И просто ли это судьба?

Встать на круги своя

Два этих первых письма, одно из редакции и особенно другое, от самой Е. К. Стюарт (с предложением присылать ей стихи — «все, что у автора есть»), дали Сергею такой стимул, такой толчок, что весь его артистический талант уверенно повернул в другое — поэтическое русло. И пошли из него детские стихи как из рога изобилия.

А когда поехал в Новосибирск на сессию, забрал их с собой — больше двух десятков. Правда, были и такие, которые явно никуда не годились. Но решили — пусть все что есть покажет, как и просила знаменитая в то время поэтесса.

Занялась этими стихами Е. К. после того, как уехал Сергей. Все подробно прорецензировала, разобрала каждый даже негодный стишок, объясняя все недостатки. Эту рецензию мы вскоре от нее получили (она до сих пор сохранилась).

И я не могла не написать Е. К. ответ с благодарностью. Потом получила от нее очень теплое письмо. Она хвалила и содержание полученного письма, и слог, и грамотность, и мою «сильную и мудрую» поддержку Сергею.

Вот так заочно познакомились мы с Е. К. Стюарт. И так до самого конца ее жизни мы переписывались с ней без перерыва — около тридцати лет. А с дочкой ее, Ниной, названной нашей сестрой, я переписываюсь, а чаще перезваниваюсь и сейчас.

Из той первой кучи стихов Е. К. выбрала около десятка наиболее оригинальных, сама еще кое-где исправила и... сразу отдала их для детской книжки в Новосибирское издательство. Назвали ее по лучшему стихотворению — «Эх, возьми меня, пилот!.. И книга без промедления вышла в том же 1956 году.

Получили первые авторские экземпляры и первый гонорар. Впоследствии вышло у нас немало книг разных жанров, но никогда мы не получали такой радости и духовного удовлетворения, как от этой первой Сережиной книжечки. Я поняла, что он встает на литературный путь.

Сергей уже вел в школе уроки географии. Вышедшая книга вызвала в деревне такой переполох (в хорошем смысле), столько было толков и разговоров — впервые в школе появился «живой писатель»(!). К моему удивлению, Сергей принимал это как должное и особой скромностью не страдал. Часто после занятий читал в классах свои стихи, не отказывался от выступлений в соседней школе, в клубе (ведь в душе он оставался артистом). Иногда забывал придерживаться заведенной в школе строгой «иерархии», что директору, разумеется, не нравилось, — они не поладили между собой. Работать в этой школе Сергей уже не мог и не хотел.

С этого времени у него одна за другой пошли детские книжки со стихами. Сразу за первой вышла в 1957 году «Сосчитай-ка — угадай-ка!», в 1958 году — «Кляксы у плаксы», в 1960-м — «Зарницы», в этом же году еще — «Что у кого в руках...».

Оставлю некоторые события, последовавшие за этим. Павел Ефимович (отец) стал настоятельно звать нас в родной совхоз — Сосновку: «Где прошла ваша свадьба и где родился и подрос первый ребенок», — напоминал он. Советовал «осесть на одном месте — своим домом, усадьбой...».

И мы приехали в совхоз, где все и все нам было знакомо, купили небольшой дом с усадьбой. Отец предложил построить на этой усадьбе большой хороший дом. Мы согласились, я сама сделала чертеж — «проект» дома (расположение комнат, окон, печей). С помощью отца дом был построен быстро, меньше чем за год. Строили профессиональные плотники. Руководил основными работами Павел Ефимович — он был инженер по строительству и главный прораб совхоза.

У нас с работой тоже было все нормально. Мне снова (по ходатайству директора совхоза) дали ставку санинспектора, так как в последнее время там не было медицинского надзора за продуктовыми складами, столовой и т. д., и директор, естественно, беспокоился.

Сережа с начала учебного года получил в школе несколько часов географии. К тому же город был совсем близко и ему удобно было ездить на сессии. Он кончил уже четвертый курс. Все эти годы я постоянно помогала ему — и с контрольными работами, и чтоб вовремя они были отправлены. Сергей очень несобранный, да еще прямо «запоем» стал писать стихи — забывал обо всем на свете.

В этом же году я наконец увиделась с Е. К. Стюарт. Мы уже года два переписывались. Но приехать к ней я из-за занятости не могла, да и жили мы далеко.

Теперь она сама решила встретиться с нами на вокзале: «Вот уж теперь вы от меня никуда не денетесь!..» — шутила она по телефону. Мы с Сережей ездили к моим родителям за детьми (они жили у них, пока мы переезжали). И сейчас возвращались с ними обратно.

Когда мы подходили, Елизавета Константиновна уже стояла, ждала нас. Я очень волновалась — не знала, как и что говорить.

А она опередила меня и воскликнула:

— Вот они, какие хорошие!.. — и расцеловала детей и меня. — А я тоже ведь волновалась... — сказала она, чтобы поменьше я смущалась.

Потом, от души рассмеявшись, проговорила:

— Ну вот, теперь все понятно!.. Пока не увидела Галю с детьми, считала, что Мосияш — пещерный человек. Теперь думаю: наверное, Галя не захотела бы жить с пещерным человеком, — опять пошутила она, взглянув вопросительно. — Значит, Мосияш в какой-то степени реабилитируется...

Я, тоже смеясь, ответила, что он от стеснения делается таким «пещерным», а вообще — терпимо...

Сергей в это время стоял и великодушно и снисходительно молчал, пусть, дескать, женщины поговорят в свое удовольствие — на своем особом наречии...

Е. К. была небольшого роста, с живыми темно-синими глазами и темно-каштановыми волнистыми волосами, с короткой стрижкой. Очень энергичная и разговорчивая. И все время старалась, чтобы мы чувствовали себя с ней посвободнее, не были скованными.

Потом мы с Сережей несколько раз были у нее в гостях и уезжали всегда ободренными и в хорошем настроении. Настойчиво звали ее к себе, но она все по каким-то причинам отговаривалась — то берет к себе старого отца, то срочно уезжает с дочкой на дачу, то «горит» путевка в Малеевку (Дом творчества под Москвой).

Время это, прожитое в Сосновке, нам всегда вспоминалось очень тепло и с какой-то светлой грустью. Это было время нашего первого взлета, когда мы только-только «расправляли крылышки». У нас достаточно было друзей и знакомых, и среди молодых учителей школы, и в Новосибирске. Все нас любили и всегда почему-то поздравляли — не столько в связи с выходящими книжками, сколько с Сережиной учебой в институте.

Только Павел Ефимович часто поругивал сына за «безответственность и халатность во всем» и упрекал (даже при мне): «Без Гали ты бы и не подумал учиться. Хорошо, что она тебя сразу не бросила...» То же самое высказывал и мой отец. Но я уверена, что говорили они это, зная, что не повредят нашим с Сергеем отношениям. Сама я о том меньше всего думала: мы сразу как-то очень тесно «притерлись», привязались друг к другу. При всех явных недостатках я чувствовала его преданную, искреннюю любовь ко мне и безграничное уважение. А недостатки... У кого их нет? Причем, я хорошо видела их еще перед свадьбой, понимала, что из этого артистичного, талантливого парня не может быть «хозяйственного» мужа.

Все наши знакомые считали, что у нас очень хорошая семья. И нередко спрашивали: «Как это вы так легко живете, при всех трудностях?..»

Зато какой он был веселый и незаменимый в компаниях!.. Часто на нем держался весь праздничный вечер. А это считалось большим плюсом.

Во времена нашей молодости не было телевизоров, которые, появившись, совершенно разобщили людей. Если раньше любой праздник отмечали вместе, компанией, коллективом, то теперь каждая семья сидит в своей квартире, у своего личного телеэкрана. Где-то это хорошо, но где-то — очень плохо.

В Сосновке чаще всего собирались все в школе, особенно на Новый год. Приходили обязательно с мужьями, с женами, где бы они ни работали, иногда и со взрослыми детьми. Вот здесь без Сергея было не обойтись. Развлекал все застолье, устраивая настоящие концерты — рассказывал смешные истории, читал юмористические рассказы. Иногда брал аккордеон или с кем-то на пару (дуэтом) пел какую-нибудь любимую песню. (Один пел только дома: голос у него был несильный, но слух очень хороший.) И почти всегда, по большой просьбе всего застолья, соглашался сплясать. Тогда и плясали, и танцевали под живую музыку — баян, аккордеон, гитару, мандолину.

— Ну, давай «цыганочку»! — приказывал Сергей баянисту. — С «выходом». С «выходом» играй!.. — выходил он в круг расступившихся гостей.

Это надо было видеть — с какой неповторимой мужской грацией делал он этот «выход», а потом пускался в огневую цыганскую пляску. Молодежь кричала в восторге:

— Браво!.. Еще, Сергей Павлович! Ну, пожалуйста, еще что-нибудь!..

Тогда он, изменяя выражение лица, плавно начинал «Морскую прогулку».

Конечно, я тоже любовалась им и даже гордилась. И что по сравнению с этим, если он не сделает что-то по хозяйству?..

А когда возвращались ночью домой, он, нередко под хмельком, устраивал мне сценки ревности: кто-то из партнеров по танцам «слишком вольно держался и бросал такие красноречивые взгляды...».

— И ты их с улыбкой, благосклонно принимала... — выговаривал он с «трагическим» упреком, но не повышая голоса и без какой-либо грубости. Но я к его выдумкам относилась как-то снисходительно, и все обходилось спокойно.

Все, казалось, было хорошо. Но все же что-то нас не удовлетворяло. Конечно, мы знали — нас не устраивала деревня, какая бы она хорошая ни была. Нам нужно было другое общество. А мы уже несколько лет не вылезали из «глубинки» из-за Сережиной учебы.

Однажды Сережа встретился у Е. К. Стюарт с Василием Федоровым, начинающим, и «подающим большие надежды» поэтом-сибиряком, но уже жившим в Москве. Познакомились, и Василий сказал Сергею:

— А что это вы сидите в глухомани, что вас держит?[1]

Домой Сережа вернулся каким-то приунывшим. Вспомнил, что все его близкие друзья давно получили образование и живут в центральных городах России. Сережа Ильин — окончил Военную академию. Живет и служит в Ленинграде. Старый (еще по школе) новосибирский друг — работает судьей, тоже в Ленинграде. Последний армейский друг по фамилии Ажажа — в Москве, занят работой, связанной с НЛО (сейчас он известный уфолог).

Самолюбие Сергея страдало. Все это он рассказывал мне, ища сочувствия, что столько лет пришлось прослужить в армии.

— Сережа! Не один же ты служил. Все тогда служили. И твои друзья вместе с тобой. Однако они смогли закончить и среднюю школу, служа в армии, и даже поступить заочно в институт. Ведь после войны это разрешалось. Кто же виноват, что ты не подумал об этом раньше, — сказала я.

---

[1] Держала Сережина учеба. Нужно было закончить институт.

Он виновато замолчал.

— Не забывай, что у тебя скоро госэкзамены. Готовься давай — это сейчас самое главное, — заключила я, как мне показалось, слишком сурово. И сама уже не выдержала, мне стало его жалко. Я подошла к нему и поцеловала. Лицо у Сережи сразу посветлело.

— Кнутом и пряником! — взглянул он, уже улыбнувшись.

И вот у нас снова большой радостный праздник — Сережа закончил пединститут! Получил диплом. Отмечали веселым застольем уже в новом доме. Собрались учителя, родственники. На Сергея сыпались поздравления.

В новом доме мы прожили уже два года. Но духовная неудовлетворенность все нарастала.

Как-то мы неудачно сходили в кино: движок беспрестанно ломался, лента рвалась (механик был подшофе). В конце концов он объявил:

— Билеты сохраните, придете завтри (сибирское наречие).

— Сегодня весь вечер зря сидели, мерзли, да еще — «завтри»!.. — возмутился Сергей.

Пришли домой продрогшие и расстроенные — очень хотелось посмотреть тот фильм. Вскипятили самовар, напились горячего чаю, согрелись. Сергей некоторое время сидел задумавшись, что с ним редко бывает. Потом сказал:

— Галь, а что если нам в Новосибирск перебраться? А здесь дача будет.

— И где там жить будем, если дачу оставим? Да и что менять шило на мыло. Если уж менять, так на что-то потеплее. Так надоели эти холода и морозы!..

Последнее время я особенно их плохо переносила. Помню, до войны, в нашем детстве, в Сибири — 35—40 градусов была норма, а 20—25 считалось теплынь. И никто никогда не отменял занятия в школе. А то бы всю зиму можно было не ходить учиться. И ничего — бегали и не болели.

А когда жили эти последние годы, там стало уже значительно теплее. Но все равно большая часть зимы проходила с 30—35° мороза. Выдавались дни, когда температура держалась - 42—43°. Таким морозным, с застывшей влажностью, воздухом дышать было невозможно — дух перехватывало.

Теперь из Новосибирска пишут, что там еще потеплело.

С юности я не могла забыть солнечный, ласковый и, как мне казалось, какой-то сказочный город с непонятным названием — Алма-Ата. Я была там в гостях у тети, старшей маминой сестры.

Только выскочила из вагона на перрон, как меня обвеяло таким сильным ароматом яблок и еще чем-то душистым, что я остановилась и несколько мгновений вдыхала этот воздух. Второе, что меня очень удивило, — при чистом и ясном солнечном небе в одном месте недвижно висели необыкновенно блестевшие и сверкавшие облака.

Почему они так сверкают и стоят на одном месте?.. Оказалось, это вовсе не облака, а снежные вершины гор Алатау. Город расположен у подножия этих гор.

У тети Груни с дядей был небольшой саманный домик. А вокруг него — огромный яблоневый и сливовый сад.

— От этих яблок, — объяснила тетя, — исходит тот самый аромат, что окутывает весь город. Они называются апорт и считаются лучшими алма-атинскими яблоками. По-казахски алма — яблоко, ата — отец. Отсюда и название города — отец яблок.

Шел август 1945 года — первые мирные месяцы после войны. Я была студенткой, только что окончившей первый курс. У нас в Новосибирске все оставалось еще по военному времени — карточная система на продукты, талоны на хлеб.

Здесь я очутилась словно в другом царстве. Пока шла по улицам, видела, как дети бегают с разнообразными домашними крендельками в руках, с яблоками.

И еще удивлялась, что вокруг всех домов были сплошные заросли каких-то высоких растений с длинными широкими листьями.

Остановившись, я спросила у женщины-казашки:

— А что это за растения?..

Женщина рассмеялась:

— Это кукуруза, — ответила она на чистом русском языке. — Хочешь, я тебе сейчас принесу? И не дожидаясь моего ответа, вынесла несколько вареных початков кукурузы и небольшую испеченную лепешку и пояснила:

— Вот покушай, она тоже из кукурузы.

Мне стало понятно, что здесь во время войны спасала кукуруза. Так же, как в Сибири от голода спасала картошка.

Я не могла надивиться — какие тут приветливые, гостеприимные и веселые люди. И что бы я у кого ни спросила, отвечали всегда доброжелательно, с улыбкой. С тех пор я полюбила этот народ. И теперь считаю (а мы пожили и в других республиках), что казахи — самый приветливый и культурный народ. Детей они никогда не бьют, к старым людям относятся с уважением. А в каком почете у них мудрые старики-аксакалы!.. И что самое редкое — мужчины у них почти не пьют, не спиваются.

Это было тогда... Возможно, сейчас и к ним пришла наша «цивилизация»...

Алма-Ата от Новосибирска находится сравнительно недалеко — немногим больше суток на поезде. И опять же — у нас там были родственники. Не только у меня, но и у Сережи.

— Даже двое! — сказал он с улыбкой. — Тетушка Феша и тетушка Стеша. Точнее, это мои двоюродные бабушки (по матери). Но они еще не старые. Так что на первое время есть у кого остановиться.

И мы, несмотря на протесты родителей, стали собираться. Но с кем же нам посоветоваться насчет продажи дома? К родителям мы уже боялись обращаться. А сами не знали, как к этому подступиться.

Ко мне очень хорошо, по-отечески относился директор совхоза, и я решила обратиться к нему. Притом, он знал нашу семейную ситуацию и был полностью на нашей стороне. Он немного подумал и твердо сказал:

— Совхоз у вас купит. Нам нужен хороший дом. Только составь смету — сколько вы вложили в него? Справься у Павла Ефимовича, ведь он покупал и строительный лес, и все прочее.

Пришла домой, подсчитали с Сергеем все расходы по квитанциям. Вспомнили, сколько заплатили плотникам и мастерам за все отделочные работы. Получилась немаленькая сумма. На другой день в бухгалтерии оформили все документы.

Я переписывалась со своей тетей и знала, сколько стоят там дома. Сережа сказал: «Вполне можно будет купить небольшой городской дом, притом, с садом и огородом».

И мы отважились. Дети уже подросли: Сережа перешел в пятый класс, Наташа — во второй. И я думала, что дети окончат школу и в городе смогут продолжить учиться в университете на любом факультете, не нужно будет уезжать из родного дома.

Нас пришли провожать родители, хотя и с упреками:

— Такой дом бросить!.. Проездите, останетесь без крыши над головой!.. — стращала свекровь.

Я в таких случаях молчала, а Сережа отшучивался:

— А мы, если там не понравится, вернемся и снова купим свой дом у совхоза.

На проводы собрались почти все учителя, знакомые. Все желали нам счастья, успехов, хорошо и долго жить в «яблочном» городе.

Жемчужина Семиречья

Вот он, мой незабываемый город, не похожий ни на какой другой!..

То же сияние дальних горных вершин, тот же наполненный яблочным запахом воздух, несмолкаемое журчание двух горных речек, пересекающих город, и арыков, текущих вдоль каждой улицы, так хорошо освежающих все вокруг!

И те же вдоль всех улиц стройные ряды пирамидальных тополей-великанов, с верхушками, уходящими высоко в небо, заботливо прикрывающими город от горячих лучей солнца.

Остановились мы сразу у Сережиной тети Стеши. Она жила недалеко от вокзала и от центра. И она же подсказала нам, что рядом продают небольшой дом — срочно и недорого. Мы купили его, хотя он мне не очень нравился (после нашего нового). В доме были две комнаты и просторная кухня, но расположены одна за другой, анфиладой. Зато были здесь сад и огород, причем, со всеми оставленными фруктами и овощами. Плодовые деревья стояли большей частью вокруг огорода — яблони, сливы, вишни. На грядках густо висели спелые помидоры, сладкие перцы, у изгороди зрели грозди лилового винограда... Детям надо было уже собираться в школу.

Школа оказалась всего в двух кварталах от дома, правда, не маленьких. Сначала сходил Сергей, познакомился с директором, учителями. А в первый день нового учебного года пошли все вместе.

Сергей уже побывал и в других школах с целью найти несколько часов географии. Но требовались учителя только по русскому языку и математике.

Наконец вспомнили про радио, так как и у мужа, и у меня в Новосибирске проходили в эфире стихи и рассказы. Сережа отправился туда.

А у меня была срочная работа — капитально отредактировать (вернее, сделать) Сережину первую небольшую повесть о его детстве, которую он начал еще в совхозе. (И перед отъездом уже сдал заявку в Новосибирское издательство, хотя ничего еще написано не было.)

Рассказывал-то он очень хорошо, и я предложила ему попробовать описать это так же, как он излагал устно. Но... и рассказывал интересно, и стихи детские писал сравнительно легко, а с прозой — ну никак не получалось, и все тут.

«Хоть ты убей — не могу!» — хлопал он себя по лбу. Не мог литературно изложить рассказ на бумаге. «Когда рассказываешь — хоть как «заворачивай» без всяких правил, лишь бы смешно было!.. — восклицал он. — А тут совсем другое...»

Все же что-то написал, скорее — фабулу или пространный сюжет. И как ни странно, совсем не интересно (в отличие от его устных рассказов).

И я от руки переписывала и «оформляла» этот сюжет, вспоминая как можно точнее все его выражения, слова — что он особенно выделял. Тщательно подбирала все его мальчишеские словечки. Вспоминала свое детство, особенно разговоры мальчишек, их своеобразный, оригинальный тон, язык. (У меня очень хорошая память — даже и теперь. Сережа всегда с завистью говорил: «У тебя не память, а компьютер...» — когда мы что-то вспоминали.)

Первое время мы все-таки очень тосковали по своей Сибири, Сосновке, по своему родному дому. В особенности скучали дети — новых друзей у них пока не было. И у нас тоже. По вечерам, чтобы поднять всем настроение, Сережа снова вспоминал что-нибудь интересное из своего детства.

Мне как раз нужны были вот такие дополнительные детали и новые подробности. Я даже просила вновь что-нибудь повторить. Больше всего — разные мальчишеские споры и ссоры. И тут же записывала, чтобы потом вставить в повесть. Каждый вечер я читала ему что написала, и он иногда делал устные поправки или вносил что-то новое. И был очень доволен. Перепечатывал готовое всегда он (у нас была «Эрика», а я печатала очень медленно, да и некогда было этим заниматься).

Из Радиокомитета Сережа вернулся в приподнятом настроении, сразу с заказом. Познакомился там со всеми в двух редакциях — в детской и взрослой. В детской редакции показал свои книжечки со стихами, из которых сделали хорошую подборку. Потом сказал, что у жены тоже есть рассказы для детей. Просили принести все, так как в редакции, как сказали, похвалиться было нечем.

На другой же день Сережа унес несколько моих рассказов, в том числе один юношеский. Его взяли во взрослой редакции. (И все, что они забрали, в течение двух месяцев прошло по республиканскому радио.)

Дня через два-три просили меня зайти. Пришла не откладывая. Тоже со всеми познакомилась, и мне заказали написать очерк к 250-летнему юбилею со дня рождения М. В. Ломоносова. Это нужно было к середине ноября. А шла уже первая неделя октября. Времени оставалось не так много.

Сережа был еще свободен, и я послала его в библиотеку, чтобы он нашел мне нужную литературу о Ломоносове. Принес две-три книжечки, и я сразу принялась за чтение.

Через некоторое время Сергею где-то сказали, что в издательстве «Кайнар» есть вакантное место редактора. Но издательство не художественной литературы, а сельскохозяйственного направления. Нашел это издательство — редактор, действительно, был нужен. Домой вернулся взволнованный:

— Галя, но я же не смогу! Хотя дал согласие... Сама знаешь, какой я редактор?!.

— Ничего, не паникуй раньше времени. Главное, будь спокойнее. Первые дни, что не сможешь отредактировать, неси домой. Понимаешь?.. А если будут возражать, надо прямо сказать, что редакторской практики у тебя пока нет и ты хочешь поработать над рукописью еще дома. Думаю, что возражать никто не станет. Тем более что народ здесь хороший.

Сережа немного приободрился. На следующее утро пошел, и был принят на должность младшего редактора. В этом издательстве печатались в основном работы казахских ученых, сотрудников Института животноводства (овцеводства), часто с недоброкачественными переводами с казахского на русский. Иногда прямо смехотворными, особенно когда рукописи были на такие щепетильные темы, как «Для чего курдючной овце толстый хвост...», или — «Жизнь гельминтов в кишечнике»…

Сергей придет с такой рукописью домой, читает мне и хохочет до слез. Понятно, что все ляпсусы происходили из-за переводов и перепечатки, так как темы были сугубо по специализации и далеко не из приятных.

И зря мы боялись брать рукопись домой — там это вовсе не возбранялось. Брали многие, больше мужчины. Зато уходили с работы пораньше и приходили утром позже. Потому что выдержать «от и до» это чтиво было под силу только женщинам.

А я оказалась в сложном положении. Висела на мне отложенная рукопись повести. Пришлось срочно переключаться на очерк. Притом, это первый заказ, и надо было сделать так, чтобы не обмануть, не разочаровать редакцию, которая надеялась и ждала материал к нужной дате. Но отнимал немало времени Сергей с рукописями, и я должна была ему помочь, иначе он мог потерять работу.

Очерк я писала с огромным удовольствием — наконец-то у меня была своя настоящая работа!.. Да еще по заказу такой солидной организации, как Республиканское радио. Написала даже в двух вариантах. Один — о научных трудах и открытиях великого ученого, другой — более биографического характера. Принесла в редакцию оба варианта. Прочитали при мне — оба понравились. И предложили соединить их вместе — пусть даже очерк будет немного длинноват. Соединила, кое-что убрала. Снова прочитали — нормально. Но я все же спросила:

— Может быть, еще чуток сократить?

— Нет, подробный, интересный. Ничего не нужно менять.

Узнала, в какое время очерк будет передаваться.

С этого времени они стали заказывать мне разные материалы, чаще всего на школьные темы. Как-то прихожу, мне говорят, что звонили из пионерской газеты «Дружные ребята», просят, чтобы я зашла к ним в редакцию, сообщили телефон, адрес.

Коллектив «Дружных» мне сразу понравился. Все были молодые, веселые и на самом деле дружные. С очень симпатичным главным редактором — Толей Домбровским. (Это другой Домбровский, он только начинал писать. А в 70-х годах переехал в Симферополь и много лет был там секретарем местного отделения Союза писателей.) Он мне предложил сотрудничать в газете нештатно.

А мне и не нужно было штатно, так как много накопилось литературной работы, которую лучше делать дома. Но главное, я уже помаленьку стала готовиться к поступлению в Университет на журфак.

В общем, с приездом в Алма-Ату мы почувствовали себя людьми, твердо вставшими на другой (именно свой) жизненный путь. Наша литературная жизнь ожила и забурлила, как тот горный поток.

Реформы — крутой поворот

Шел 1964 год. Летом я поступила в КазГУ. На вступительные экзамены Сережа сопровождал меня для поддержки, всегда мы ездили на одном и том же такси[1]. Как взял он первое — голубого цвета (говорит, случайно попалось), так и не меняли. Он заранее договаривался. Всегда сидел и ждал в коридоре, пока я не сдам и не выйду. (Три предмета я сдала на «отлично» и один, последний, на «хорошо».) А потом он обязательно говорил:

— Вот видишь, какая хорошая примета — твой любимый голубой цвет. Даже такси такое попалось…

А дома, на столе, уже стоял букет цветов — заботился сын Сережа-младший. (И по дому помогал мне он.)

В выходной день пришли поздравить меня наши сотрудники из «Дружных», с букетом цветов и шампанским. Студентке недавно исполнилось 37 лет(!). Вот только когда я добралась до себя!.. Но была еще, как говорили, «в полном расцвете сил». Все давалось относительно легко. Перед экзаменами достаточно было любой предмет бегло прочитать или просмотреть только раз. Успевала и работать (в газете), и писать, и помогать Сереже. Это были самые прекрасные, хотя и трудные, годы моей жизни. Наконец я училась там, где хотела, муж мой уже имел образование и уверенно стоял на прочной стезе. В Алма-Ате он уже считался детским поэтом. Ему давали переводить книжки для детей.

Кстати, в это самое время он опять решил взяться за прозу. Работая в детской газете, он писал короткие информации, заметки, небольшие статейки.

Редактор газеты, Толя Домбровский, говорил: «Самое главное — придумать хороший заголовок, а от него уже пойдет!» Сережа, следуя этому совету, в самом деле придумал неплохой заголовок для своей будущей книжки — «Женька Квочкин встает на ноги». Но к нашему огорчению, и от заголовка никак не пошло…

— Ну что за привередливая проза?! Так не любит меня!

— Ты слишком спешишь, привык, что стихи у тебя пишутся быстро. Стремишься, как только появится мысль, скорее записать ее, и считаешь — готово. В прозе над каждым предложением думать надо. Вот у тебя предложение: посмотри — длинное, запутанное. Не каждый ребенок поймет. Прочти вслух.

[1] Такси в то время, по сравнению с нынешним, было очень дешевое: по городу — рубль-полтора, не больше.

Язык сломаешь... Давай уберем вот эти два слова, а вместо них поставим другое, одно. Читай опять вслух. Чувствуешь, звучит совсем иначе? Просто и понятно. Вот так и нужно с каждым предложением.

— Ничего себе!.. Так я эту книжечку целый год буду писать…

— Постепенно появится навык — пойдет быстрее.



Семья Мосияшей. Уральск. 1969 г.

По выходным дням, по вечерам у нас часто собирались «дружные ребята» — как называли себя, шутя, сотрудники газеты, — посидеть за столом, поговорить. Конечно, и пели, и танцевали. У Сережи был аккордеон.

Нередко заходил «на огонек» редактор газеты «Учитель Казахстана» Давид (звали друг друга по именам), который заказывал мне материалы о школьной жизни. Благо, школа была напротив, и дети наши — школьники. Иногда рассказывали такие невообразимые происшествия и «классные истории» — прямо готовые юморески!

Неожиданно другом нашей семьи стал Максим Дмитриевич Зверев — известный в то время ученый-биолог и писатель, автор многих научных трудов и книг для детей о природе. Слышали мы о нем много, но познакомились совсем случайно. Мою рукопись детской книжки отдали М. Звереву на рецензию, которая пришла, не задерживаясь, с хорошим отзывом. Потом Зверев позвонил Роману, сказал, что «хотел бы встретиться с автором этой рукописи». Сережа взял такси и поехал вместе со мной. Зверев жил на окраине Алма-Аты, у самых гор, в большом двухэтажном доме с огромным садом-усадьбой вокруг. В первую очередь повел нас по этому саду, угощал редкими сортами груш и слив.

Но что меня приятно удивило — в доме было полно разных животных. Во дворе ходило несколько породистых, «деликатных» собак, которые, встретив нас, «не произнесли ни звука». Видимо, по поведению хозяина поняли, что пришли друзья. Он что-то им тихо сказал, и они спокойно отошли в сторону.

А в доме то и дело шныряли под ногами какие-то мелкие зверушки, вроде ежиков, морских свинок… И М. Д. рассказывал нам об их разных проделках и смешных случаях. Это напомнило мне о моем детстве — у нас тоже постоянно жили всякие зверушки. И, наверное, тогда родилась у меня мысль — написать книгу для детей о моих давних любимцах, что я и сделала через несколько лет.

Каждое лето к нам обязательно кто-то приезжал погостить из Сибири. В первую очередь мои родители — посмотреть, как мы тут устроились. Были довольны. И город им тоже очень понравился.

Проездом в Москву побывал наш сибиряк (давно живет в Москве) Франц Таурин с рукописью своего нового, известного потом, романа «Каторжный завод». Я читала его в рукописи и даже немного поредактировала.

Навещали и друзья Е. К. Стюарт (Юрий Магалиф — режиссер театра, писатель; Юрий Сальников — детский писатель). Но сама она так и не собралась — из-за здоровья, она была старше Сережиной матери.

Не забывали нас и родственники.

В общем, все было хорошо, казалось, нельзя было и желать лучшего. Дети всегда на глазах — школа рядом. Сын учился очень хорошо, но дочке приходилось помогать.

Незаметно и счастливо пробежали еще три-четыре года. Сережа-младший кончил школу с хорошими и отличными оценками. С большим желанием готовился поступать в университет на биологический факультет.

И вдруг, как гром среди ясного неба, постановление Совета Министров: «Срочно начать готовить собственные кадры». В аулах не хватало учителей и других работников культуры. В столице без промедления начали открывать интернаты для учащихся 7—10-х классов с тем, чтобы они могли после окончания городской школы сразу поступать в университеты, в институты. Следующий параграф гласил, что выпускники этого года из сельской местности принимаются в университет вне конкурса.

Со вступительных экзаменов сын приходил расстроенный: русским абитуриентам бессовестно занижали оценки, а выпускникам из аулов — наоборот, завышали на два-три балла, даже если те почти ничего не могли ответить. Сын не прошел по конкурсу, вернулся подавленный, оскорбленный. Тихо сказал:

— Больше я тут поступать не буду. Поеду в Россию. Надо найти подходящий университет в не очень далеком от Алма-Аты городе…

А через месяц — новое постановление, в форме призыва: «Работники культуры, интеллигенция, кто может — все на периферию!..» И дальше очень заманчивые обещания и льготы: сразу же обеспечиваются новой квартирой, работой и прочим.

Это была предтеча нашей будущей перестройки.

Мы находились не просто в волнении, мы были потрясены. Вот тебе и мечта — чтобы дети не уезжали из родного дома, а учились бы в своем городе. И сыну так не хотелось куда-то ехать, снова сдавать вступительные экзамены. И не было в России такого близкого от Алма-Аты города. А самый западный город Казахстана — Уральск — находился очень далеко от столицы. Но ближний, уже к Уральску, был расположен на Волге в Саратове. Там — известный, старинный университет, в котором учился Чернышевский.

Так что, навсегда оставить Алма-Ату и уехать в Уральск или Саратов?.. Но ведь я сама еще не закончила КазГУ, вспомнила я о себе. Проучилась три года, осталось еще три, и уезжать из Казахстана пока нельзя. Значит, остается Уральск.

Решили с Сережей поехать к М. Д. Звереву, посоветоваться насчет Уральска. Он досконально знал все уголки Казахстана. М. Д. рассказал об Уральске много хорошего. Можно сказать — нахвалил. И если мы переедем, — просил писать ему. Потом мы несколько лет переписывались, уехав уже в Россию. Он давал рекомендацию нашему сыну (после окончания Саратовского университета) для работы в Приокском заповеднике.

Но все-таки Сергей взял в редакции командировку, чтобы самому посмотреть этот город.

Вернулся, рассказал:

— Городок неплохой, стоит прямо на реке Урал. Довольно зеленый, много магазинов, хороший базар. Есть пединститут, драмтеатр, кинотеатр, два музея… А в Урале много всякой рыбы, даже осетровых…

Сережа-младший оживился:

— О, это хорошо! Приедем — будем рыбачить!..

Я покачала головой — все, они уже готовы.

А ехать все же пришлось.

«…не предаться унынию...»

Пишет уже внучка Галины Федоровны и Сергея Павловича — Майя Мосияш-Хамитова. Вполне взрослая — пять лет назад окончила юридический факультет Белорусского государственного университета.

Теперь о бабушке Галине Федоровне. После похорон деда, Сергея Павловича, у нее стало падать зрение, но она продолжала писать начатые еще при нем «Воспоминания». Так ей было легче пережить утрату.

До декабря 2009 года она написала 15 глав воспоминаний. У нее до сих пор очень хорошая память. Но с декабря начало резко ухудшаться зрение, и с января она уже не могла писать — не различала строчки и написанное, совсем уже не могла читать. Ей осталось дописать главы три, и с этого момента она диктует и рассказывает Воспоминания нам, своим внучкам.

В Уральск они приехали осенью 1967 года. Работу им действительно предоставили сразу. Галине Федоровне (дальше бабушку и дедушку буду называть по имени отчеству, так как были они еще молодые, по 42 года, а нас, внуков, не было и в помине) предложили сразу три места, но она выбрала музей — старшим научным сотрудником по памятникам культуры области. Самым подходящим для Сергея Павловича посчитали телевидение, хотя для него это была новая незнакомая работа. Квартиру они получили очень хорошую в новом кирпичном (элитном) доме.

В Уральске семья прожила около четырех лет, пока Наташа (моя мама) не поступила в институт на биофак, а Сережа (мамин брат) уже учился в Саратовском университете на биологическом. Моя бабушка, Галина Федоровна, в течение этого времени успела заочно закончить Алма-Атинский КазГУ. Защитилась с оценкой «отлично», и ее оставляли на кафедре литературы и русского языка. Но возвращаться обратно в Алма-Ату они уже не хотели.

У Галины Федоровны была очень интересная работа — сразу в двух музеях: краеведческом и историческом. Исторический находился в бывшем соборе Михаила Архангела и скорее походил на крепость, так как толщина стен достигала 1,8 метра, окна были расположены высоко, узкие, как бойницы.

Собор послужил крепостью во время Пугачевского восстания. В ней отсиживался Яицкий гарнизон, отбиваясь от превосходящего по численности пугачевского войска.

А капитаном этого гарнизона был Андрей Крылов — отец великого баснописца Ивана Андреевича Крылова. По этому событию Галина Федоровна собрала большой и интересный материал, который послужил основой для новой книги «Ваня Крылов — капитанский сын».

Во что бы то ни стало Сергей Павлович задумал издать книгу в центре России, где у него осталось большинство армейских друзей-однополчан и куда переехали его знакомые сибиряки-писатели. К сожалению, обменять свою квартиру на центр России не удалось. Более подходящий вариант выпал на город Гомель — в Беларусь.

Сергей Павлович опять пошел работать на телевидение, а Галине Федоровне предложили место научного сотрудника в музее.

Книга «Ваня Крылов — капитанский сын» была еще в задумке, а Сергей Павлович послал уже заявку в Ленинград. Из Ленинграда пришел положительный ответ — «Присылайте рукопись».

Чтобы ускорить работу над рукописью, Галине Федоровне пришлось оставить работу. Она сняла домик в Кленках, а Сергей Павлович после работы приезжал на катере. Вместе они обсуждали написанное, пока книга не была окончена.

В 1975 году они вместе повезли готовую рукопись в Ленинград, где ее включили в план на 1977 год. В том же году она и вышла под названием «Ваня Крылов».

Диктовка Галины Федоровны

Теперь отвечаю на главный вопрос, который интересует многих и который чаще всего на выступлениях задают читатели: как мы начали свой первый исторический роман и продолжали писать вместе столько лет.

Очень откровенный и подробный ответ в моем письме давней и близкой подруге. Но так как письмо слишком длинное, пришлось сократить все лишнее, не относящееся к этому вопросу.

Мое письмо к близкой подруге
(с большим сокращением)

Ниночка[1], добрый день!

На днях получила твое письмо. Ты пишешь: «…Собирались наши старые оставшиеся друзья. Поминали маму, вспоминали про вас, все удивлялись — как это Сережа из детского поэта превратился в прозаика-писателя исторических романов!..» Нина, меня тоже очень удивило и тронуло твое милое добродушное вопросительное предложение. Неужели Сергей никогда не рассказывал и не писал об этих порой смешных и мучительных начинаниях (он ведь любит рассказывать)[2].

Теперь мы и сами удивляемся, оглядываясь назад. С чего все пошло, как мы входили в литературу, кто помогал? Не было такого дня, чтобы мы добрым словом не вспомнили Елизавету Константиновну. Она первая протянула руку и вытащила «поэта» на Свет Божий. Только благодаря ей сразу же вышло его первое детское стихотворение. Это послужило огромным стимулом и началом литературного пути. Ну а когда лет через пять Сергей решил «засучив рукава» взяться за прозу, оказалось, не тут-то было… И не так-то просто. Пришлось и мне на много лет быть к этому причастной, писать вместе с ним, помогать и помогать.

К прозе Сергей переходил очень тяжело. Мне постоянно надо было вместе с ним сидеть, перечитывать, выправлять. Вкладывала много сил и времени, чтобы у Сергея вышла первая повестушка, затем вторая, третья. Если стихи детские он писал так легко, часто на ходу, то проза ему вовсе не давалась. Набросает черновичок, скорее фабулу, и считает, что это уже книжка (стихи-то писались быстро). Начинает сердито, даже с обидой протестовать: «Нечего тут исправлять и дорабатывать — так сойдет!» И уж после самого убедительного довода: «Ничего я исправлять и дорабатывать не могу, сказал все, что у меня было!» — великодушно разрешал: «Если тебе не нравится, делай сама!» (Это абсолютно дословно, так как эти фразы он повторял в точности с каждой книгой.) Зато заявки в издательство выходили у Сережи — куда с добром. (На одной страничке наобещает столько интересного — трудно отказать такой повести.) По заявке принимают и включают в план (везло). А дальше что? — книжки-то нет! Приходилось срочно и усиленно работать.

Только я одна знала, как нелегко было ему перестраиваться, и что стоило менять свою многолетнюю артистическую деятельность (хоть и самодея-

---

[1] Нина – дочка Е. К. Стюарт, наша ровесница. Полное ее имя — Антонина Евгеньевна Меликова. Переписываемся с ней до сих пор, а чаще перезваниваемся.

[2] Когда я повторила свой вопрос по телефону, Нина ответила, что на эту тему с Е. К. почти не говорили. «А когда к маме приходили гости — писатели, артисты, — мы с мужем обычно находились в своей комнате. У нас были свои разговоры». Они оба медики — рентгенолог и стоматолог.

тельную) на писательскую, свою живую подвижную натуру приспосабливать к усидчивости. Иногда он не выдерживал и швырял рукопись. В таких случаях я никогда на него не сердилась (искренне сочувствовала ему). Молча брала рукопись и продолжала писать. Устанавливалась тишина. И когда Сережа «остывал» и приходил в себя, он искренне с благодарностью говорил мне: «Дивлюсь твоему терпению со мной!..» И этого для меня было достаточно, чтобы он искупил свою вспышку.

Сейчас, Нина, отвечу тебе на основной вопрос — расскажу досконально, как начали и писали свою первую историческую книгу, которая и стала родоначальницей всех последующих романов С. Мосияша.

Были тут и какие-то предшествующие обстоятельства, которые, казалось, не имели к этому никакого отношения. Однако связь все же была.

Осенью 1975-го Сергей поехал с киногруппой в дальний район на съемки очередного сюжета для телевидения. Сильно простыл в дороге и вернулся с бронхитом. Больше месяца пробыл на больничном. (Врач была хорошо мне знакома, и мы вместе лечили его дома.) Через неделю-полторы он уже чувствовал себя довольно хорошо. И не знал, куда девать свободное время. Решил написать для «Дружных ребят» (газета в Алма-Ате) рассказ или небольшую повесть о спартанском мальчике. (Когда-то он читал о Древней Спарте, о суровом воспитании детей, особенно мальчиков и пр.) А у меня в мыслях было другое: написать бы хорошую повесть об Александре Невском. Ведь это один из любимых русских князей — легендарная личность.

— Зачем тебе, — говорю, — греческий мальчик, когда у нас на Руси столько своих замечательных людей было. Тот же Невский. Вот о нем бы рассказать детям и нашей молодежи!

— Выдумала тоже! Во-первых, это большая ответственность — реальное историческое лицо. Надо писать серьезную книгу. Не смогу я, не потяну.

— Так я думаю — писать мы будем сразу вместе, чтоб не править и не переделывать потом.

Помню весь наш разговор, будто это было вчера. На работу я пока еще не устроилась, с тех пор как уволилась для «Вани» (то сценарий дописывала, то с «Икаром» занята была, то с Минским журналом «Березка» сотрудничала). Так что относительно была свободна. Наконец уговорила его.

На другой же день поехала в нашу областную, отлично укомплектованную библиотеку. Набрала полную сумку исторической литературы, факсимиле некоторых рукописей — все, что было у них о Невском.

— Ну, давай теперь читать, «вживаться в эпоху»!..

Читали оба. Если я была занята приготовлением обеда, просила его читать вслух.

Кстати, надо сказать, было у нас еще одно «обстоятельство» с квартирой. Наташа выходила замуж, и чтобы всем было удобней, мы еще летом разменяли свою квартиру на две. Наташе — однокомнатную благоустроенную в центре, а себе — двухкомнатную с печным отоплением и огородом в частном секторе. И даже это в какой-то степени влияло на наше рабочее настроение. Тихая сельская обстановка ничуть не претила: мы одни, нам никто не мешает. Было все будто из нашего детства. Особенно вечера. Жарко топится печь, весело потрескивают сухие дрова (старые хозяева оставили нам полный дровяник сухих березовых дров). Около печки, на кухне, стоит диван — любимое место Сергея, я сижу рядом.

Стали уже потихоньку обсуждать — как и с чего начать.

Вырисовывались некоторые картины, образы людей. Я и раньше много раз с интересом читала о Невском, так что исподволь создался какой-то определенный образ, портрет. А у Сергея была безграничная фантазия, которую приходилось сдерживать. Мысли возникали как-то поочередно. Где касалось детства, домашних сцен, больше думалось мне. А все батальные сцены, панорамы битв,

военные переговоры и действия обдумывал Сергей. Но язык — построение предложений, стилистика — были мои.

И как-то мы быстро и легко начали. И пошло, пошло… Сергей шутил: «Ты вдуваешь в книгу свой дух!» И так до самого конца. Правда, через год-полтора мы уже не могли писать «взахлеб», как сначала. Нам дали квартиру в центре, и я тут же устроилась в Гомельскую строительную газету. Сереже часто удавалось написать страничку-две на работе. Вечером обязательно перечитывали написанное — исправляли, иногда и вовсе переделывали.

Но что самое удивительное — это единственная книга, которую мы написали абсолютно без споров. Сергей вел себя на редкость покладисто, тактично и всякий раз напоминал: «Учти, мы с тобой — соавторы. Я бы никогда не решился на такую книгу». Он хотел, чтобы я даже изредка, на час, отвлекалась на что-то другое. У меня только что прошла в пионерской газете, в Минске, небольшая повесть о БАМе (которая была написана еще год назад). Но мне предложили ее немного изменить и подать на Республиканский конкурс — «Детям о БАМе». Приходилось иногда отвлекаться на переписку с редактором.

Но все свободные дни и вечера, изо дня в день, — мы не расставались с Невским. Он уже подходил к концу.

Летом 1978 года мы были в Доме творчества в Крыму. Познакомились с писателями из Молдавии. Они стали звать нас в Кишинев — есть свой Союз писателей, можно найти подходящую работу. Сергею страшно надоело телевидение, а в Гомеле ничего больше не было. На обратном пути из Крыма заехали посмотреть. Молдавия и город нам понравились. Оставалось дело за обменом квартиры. Скоро нашелся вариант. И на следующий год мы переехали в Кишинев. Там и закончили свой первый исторический роман, Сергей перепечатал. Надо отдать должное — он никогда не просил меня перепечатывать — эту нудную работу всегда делал сам и довольно быстро.

Только рукопись все лежит без титульного листа. Мне и невдомек — почему. И вот как-то в выходной день он говорит: «Галя, мне бы очень хотелось эту первую большую книгу подписать только одним автором… У меня вышло уже много книг, я член Союза писателей, а ты — пока нет, — резонно объяснил он. — А я сделаю тебе посвящение…»

Что я могла ответить? «Делай, — говорю, — как совесть велит. Я не о соавторстве думала, когда работала над книгой. И если по-честному, разве не была я соавтором любой из твоих книг?»

На этом и кончился наш разговор, и к соавторству мы больше не возвращались.

Я «благородно» промолчала, и Сергей, вероятно, принял это за полное согласие. Но откровенно сказать, вначале от такой несправедливости мне было не по себе.

Прошло какое-то время — я много думала об этом и пришла все-таки к выводу, что Сереже сейчас действительно необходимо утвердить себя как самостоятельного писателя-прозаика. И это ему нужнее, чем мне, притом, муж, глава семьи. От него зависит авторитет семьи и благосостояние наших детей. И я успокоилась.

А наши близкие знакомые ругали меня, что я совсем не думаю о себе. Особенно возмущался Володя Измайлов (наш сибиряк, живший в Кишиневе, друг Виктора Астафьева и Е. К. Стюарт). Не раз высказывал это Сергею довольно резко.

Но никто, наверное, лучше Елизаветы Константиновны не знал нас. Не видевшись подолгу, она писала (по «Невскому»): «Мосияш молодец! Но вижу, что здесь большая доля труда Гали…» И еще раньше: «Галя, работайте для себя…»

Такое мне часто говорили в издательстве и в Союзе писателей. Но я уже ничего не могла изменить — так у нас сложилось за много лет.

Навыки к Сергею приходили очень постепенно. На это ушли целые десятилетия, начиная с 1961—1962 гг.

Последнюю свою книгу, «Одиссея батьки Махно», он писал почти самостоятельно. Только по привычке прочитывали на слух некоторые главы. А в эпилоге был у него большой «перебор», и пришлось сокращать.

Вскоре Сергей Павлович получил звание лауреата премии им. В. Пикуля. Теперь он был в какой-то мере уже известный писатель(!), то, чего он с таким стремлением и усилием добивался, сбылось.

Но все же больше всего я ему благодарна за сдержанное слово и редкую преданность.

Никогда и никому не писала длинных писем. Это я тебе, Нина, так добросовестно ответила на твой заданный вопрос. Теперь, Ниночка, ты все знаешь. Пиши. Обнимаю тебя. Галя.

Сергей вчера вернулся из Питера. Передает тебе привет.

Апрель 2003 года.

«Воспоминания — как повторно прожитая жизнь»

Заканчивая свои воспоминания, Галина Федоровна рассказывает и диктует теперь старшей внучке — Дине.

С переездом в Кишинев у дедушки и бабушки начался новый этап в творческой жизни. Из ее устных рассказов видно, что столица Молдавии дала им многое: был свой Союз, куда каждое лето приходили путевки из Москвы в дома творчества. Из Кишинева они несколько раз ездили за границу. Побывали в пяти странах Европы. Здесь у них был один из плодотворных периодов в литературном творчестве. За 12 лет, прожитых в Кишиневе, они написали третью часть к роману «Александр Невский» — «Устроитель». И вскоре эта трилогия была издана в Москве, а потом и в Кишиневе. Затем, там же в Кишиневе, вышла повесть о Петре — «Без меня баталии не давать» (это была вторая часть к полному роману «Петр Великий»). А у Галины Федоровны кроме этого было выпущено 3—4 детские книжки и многочисленные публикации в журналах («Кодры», «Ленинские искры», «Звездочка» и др.).

В киностудию «Молдова-фильм», куда их приглашали, Сергей Павлович и Галина Федоровна пришли вместе. Им предложили написать сценарий на историческую тему по местному материалу — о крестьянском восстании в Молдавии, аналогичному Пугачевскому. Писали сначала вместе. Договор был заключен на двоих. Но на первой же редколлегии, где были предъявлены к сценарию некоторые замечания и исправления, Сергей Павлович от дальнейшей работы категорически отказался.

Требования к сценарию были такие — переделать его на юношеский или детский (т. к. в этом на киностудии был дефицит). Галина Федоровна согласилась продолжать работу над сценарием. Все предложения и замечания были учтены, и договор перезаключили на нее. Вскоре сценарий был принят комиссией из Москвы (существовал тогда такой порядок — все утверждала Москва). Заранее подготовили реквизит, подобрали нужных артистов. Сценаристу и режиссеру было особенно приятно, что на главную роль согласился всеми любимый артист Михаил Волонтир (очень известный по фильмам «Цыган» и «Возвращение Будулая»). И в киностудии началась подготовка к съемкам. Первые съемки прошли удачно...

Но тут произошел раздел республик. Началась настоящая смута. На стенах домов, на заборах красовались надписи: «Русские оккупанты — прочь из Молдавии!»

Теперь диктует мне бабушка, Галина Федоровна.

Нам пришлось ехать в Россию. Родная столица принимала всех беженцев. Помог нам с переездом наш зять (муж дочери) Рафаил. После окончания Гомельского университета он стал преуспевающим предпринимателем. Он нашел нам квартиру в ближнем Подмосковье, в элитном районе, вначале на Николиной горе, затем в селе Успенское (ближе к Москве).

В это время мы с Сережей часто бывали в Москве, в ЦДЛ. Встречались со своими старыми знакомыми писателями — сибиряками, москвичами. А в конце 1992 года случилось несчастье — в автокатастрофе погиб наш зять Рафик. И мы вынуждены были через некоторое время ехать к дочке в Гомель, так как она осталась одна с двумя девочками-школьницами.

Вот так мы снова попали в Гомель, прожив в Москве два года. (Хотя после трех столиц — Алма-Аты, Кишинева и Москвы, Гомель нас не очень устраивал.) У нас уже не было прежних знакомых, мы оба были на пенсии, без работы. Но постепенно стали находить новых друзей, познакомились с библиотекой им. Герцена, где регулярно проходили литературные среды, куда нас часто приглашали. Дочке помогали растить девочек. Внучки закончили школу, затем институт, университет, помогли с квартирой. Но связь с Москвой поддерживали. Из издательств «Армада», «Астрель», «Вече» стали поступать предложения прислать рукописи на исторические темы для их рубрик («Великие полководцы», «Романовы», «Рюриковичи»). И мы с Сергеем взялись за романы, две книги были уже изданы в Москве.

И пока мы жили в Гомеле, пока не заболел Сережа, мы написали 7—8 романов. Всего написано нами 10 романов. Тихая, без всяких поездок и развлечений жизнь тоже пошла нам на пользу, благо годы уже подходили к восьмому десятку.

И еще надо сказать — Сережа все-таки очень переживал, что у нас вот так получилось с романами — издавались с одним автором. Особенно к концу жизни, часто сам говорил мне об этом. И когда мы закончили 4-й или 5-й роман (кажется «Ханский ярлык»), он предложил: «Галя, я хочу с этого романа ставить на обложке двух авторов, — чтобы мы в конце концов были вместе…» Я возмутилась: «Столько книг вышло с одним автором и вдруг — два… Что могут подумать читатели? — «Прилепил имя жены?..» Нет, ничего не нужно теперь. В Союз меня Москва приняла и с моими детскими повестями».

Но Сережа на каждом романе от руки (или от печати) оставлял мне автографы-посвящения. И эти оставленные слова, написанные его рукой и сердцем, для меня теперь — самые дорогие.

Последние дни болезни Сережа все время говорил со мной, что-то наказывал. Он предчувствовал какое-то приближение, у него появилась тоска. Особенно по вечерам, когда мы сидели с ним на диване, вспоминая о многом. Он тихо говорил: «Как не хочется мне уходить одному без тебя…» У него уже было написано четверостишье, и он часто напоминал, чтобы две последние строчки я сделала эпитафией на его памятнике:

Не потому мне грустно, что умру,
А потому, что я с тобой расстанусь…

Не вставал Сережа последние три дня. До самого конца был в сознании. Сам попросил, чтобы я пригласила священника, вызвала из Саратова сына.

И на другой день — 19 октября 2007 года тихо, спокойно скончался.

Осталась горькая разлука навсегда… Я постаралась исполнить его последнюю просьбу — написать все как было.

Вместо послесловия[1]

Сергей Мосияш-младший

Тяжелая болезнь помешала Сергею Павловичу, моему отцу, продолжить начатые воспоминания. Писала их одна мама — Галина Федоровна. Писала, как святое откровение, как ее просил муж.

И вот я подумал, ведь от отца осталось немало письменных материалов — небольших статей, писем-набросков для устных выступлений на встречах с читателями, на своих юбилеях и презентациях книг, проходивших большей частью в Гомельской центральной городской библиотеке им. Герцена. Организатором и душой этих литературных встреч была директор библиотеки Власова Татьяна Савельевна (я был знаком с ней еще при жизни отца). Вела эти литературные вечера Н. В. Малашенко.

С наиболее интересных документов я решил снять копии — они могут сказать о жизни моих родителей больше, чем я сам.

Помогала мне в этом другая городская библиотека № 11, где директор Уварова Антонина Васильевна, очень отзывчивый человек, приняла в этом самое непосредственное участие.

Выбрали небольшую по объему и очень полную по содержанию статью отца к своему 75-летнему юбилею. Она наиболее ярко и откровенно отражает начало совместного литературного творчества моих родителей.

Эту речь, эти слова отец произносил, как уточнила мама, не только на юбилее, но и раньше, когда они не раз выступали вместе, и позднее, на других вечерах с читателями. Даю эту статью полностью:

« — Как, с чего начал я писать? Что послужило стимулом к литературному творчеству? И так далее. Эти вопросы задают постоянно.

Если сказать по-честному, то стать писателем мне помогла жена Мосияш Галина Федоровна (сама талантливый литератор и удивительной доброты человек). Всю нашу совместную жизнь — а это уже на шестой десяток — она была и есть неизменным и самым строгим редактором, часто и соавтором. Вот, в конце концов, что-то и получилось!..

Хоть в молодости я об этом и не думал. А если и думал о каком-то для себя творчестве, то только как об артисте кино или театра. Мечтал о ВГИКе. И беспрестанно играл в художественной самодеятельности, сначала в школе. Даже ездил во время Отечественной войны с бригадой местных артистов — выступали перед ранеными в госпиталях, перед рабочими и колхозниками, на полевых станах. Потом эта художественная самодеятельность продолжилась и в армии. Благодаря которой я каждый год получал от командования отпуск на Родину, в Сибирь. Кстати, в один из таких отпусков я и познакомился с красивой и серьезной девушкой-сибирячкой, которая и стала навсегда моей женой.

А после демобилизации из армии пришлось идти работать на завод. Была уже семья и первый ребенок. После работы — вечерняя школа. Жена настояла, чтобы я, не откладывая, заканчивал десятый класс (так как ушел добровольцем после девятого) и сразу поступил в институт на заочное отделение. Потом она много мне помогала и в подготовке контрольных работ, рефератов и экзаменов. Так что через пять лет благополучно закончил Новосибирский педагогический институт.

---

[1] Сын — Мосияш Сергей Сергеевич (г. р. 1950). Кандидат биологических наук. Тоже пишет. В издательстве «Наука» выходила книга — «Летающий ночью», публиковались многие научные работы. И уже в этом, 2010 году, вышла в Москве крупная научная монография (о сохранности ресурсов Волги). Работает зам. директора известного Волжского НИИ рыбного хозяйства в Саратове.

Свое первое стихотворение, которое тут же пошло в детский журнал, я написал для своего маленького сынишки, работая уже в школе учителем.

Со стихами мне как-то сразу повезло, потому что в армии довольно часто писал в газету патриотические стишки. Тогда на этом все были помешаны. Да кто в молодости не писал стихов?!

А с прозой у меня долго не клеилось, проза никак мне не давалась. С детскими стихами вышло уже 9 книжечек (правда, маленьких, иногда в одно стихотворение), когда я взялся за первую повестушку из своего детства — «Друзья из Синеозерки». Писалось трудно. Напишу две-три странички — обязательно читаю жене (мои «калякалы» было не разобрать). И тут начинается: «Этот абзац надо переделать… Такое предложение не годится… Вот здесь лучше заменить и сделать вот так…»

И это было со всеми книгами, пока не приобретут литературный и божеский вид. Постепенно пришли к историческим романам (тоже по инициативе жены), с которыми было еще больше совместной работы».

Чтобы ксерокопии не шли подряд, хочу сделать небольшую перебивку — рассказать кратко некоторые эпизоды из жизни нашей семьи, запомнившиеся в детстве наиболее отчетливо. Взаимоотношения родителей я стал понимать по-настоящему лет с 11—12, когда мы переехали в Алма-Ату. С того времени они вспоминаются мне больше пишущими. Мама обычно сидела за столом. Видимо, ей тогда приходилось много писать, потому что работала сразу в двух местах: на радио и в газете. И одновременно помогала папе писать его первую повесть о детстве — «Друзья из Синеозерки».

А папа по приезде в Алма-Ату долго не мог устроиться на работу. И в это время он решил попробовать себя в прозе. Но поначалу у него не получалось.

Мама время от времени откладывала свою рукопись, подходила к нему, присаживалась на край дивана (папа всегда писал лежа):

— Ну, что прибавилось нового? Читай…

Я замечал, что она никогда не говорила ему слово «плохо» или «это совсем негодно», а, как понимал, выбирала слова помягче: «Знаешь, вот тут надо бы чуть подробнее, а то как-то непонятно…»

Первой папиной реакцией было несогласие с замечаниями:

— Ну вот, я так и знал! Опять не то, опять надо переделывать!.. Не буду я снова переписывать!.. — и в порыве отчаяния иногда бросал свою рукопись.

Мама за это почему-то совсем на него не сердилась. Делала вид, что ничего особенного не случилось. Запросто улыбалась и говорила:

— Подбери тетрадь. И что ты из-за такого пустяка устраиваешь «спектакли». Тут и сделать-то всего ничего: заменить или поправить 2—3 предложения, и все будет нормально. Давай сюда…

Папа «остывал», садился рядом, и по его лицу было видно, что чувствовал он себя далеко неправым.

Как я потом понял, мама остерегалась при этом говорить более строго, чтобы «не выбить его из колеи», чтобы он вдруг не «взорвался» (это он мог) и не бросил уже хорошо начатое. Что тогда с ним будет?..

А папа то же самое — чтобы она не отказалась от него, такого «непутевого». Оба они боялись потерять друг друга.

Но такие «инциденты» случались крайне редко. А по другим причинам у них не было размолвок. В основном они жили дружно, любили друг друга — это чувствовалось во всем. И куда бы они ни пошли или ни поехали (в Дом творчества, за границу, просто отдохнуть), всегда только вместе, по обоюдному желанию. И чем были старше, тем теснее становился их союз.

Родителей своих я вспоминаю всегда с благодарностью. За все детство мы не слышали от них не только грубого, но тем более бранного слова. Не знали абсолютно никаких наказаний. Мы с сестренкой ни разу не испытали, что

такое «стоять в углу». Это шло от мамы. Она была особенно заботливая и мягкая в обращении. Но я не помню, чтобы мы когда-то ее ослушались. Лидером в семье была она. И если бы не ее авторитет, который с молодости и до самой старости признавал отец, то он едва ли закончил бы образование и вошел в настоящую литературу.

Теперь снова — ксерокопии.

Что касается писем, то возьму ксерокопию лишь одного письма — Е. К. Стюарт, которая лучше кого-либо другого знала моих родителей (она была их постоянной наставницей и литературной мамой). Она не стеснялась в выражениях, если ей что-то не нравилось, но при этом больше «попадало дорогому Мосияшу». Приведу из него небольшой отрывок.

«*Милая, Галя!*

...Я понимаю все, о чем Вы написали и о чем Вы не написали, а только подумали. Уверена, что так все и есть (о Сереже). Он стихийно талантлив, но неусидчив и невдумчив. Пусть всю жизнь Бога благодарит, что рядом с ним — Вы. Но все-таки я радуюсь за Вас обоих, я знаю, как трудно начиналась и строилась Ваша жизнь, какие горы Вы преодолели. Нельзя даже представить было, чего Вы оба достигнете. Детей хороших вырастили, оба пишете, и неизвестно еще, кто талантливее из Вас! Очевидно, Вы дополняете друг друга. И все скрепляете Вы своей женской безошибочной мудростью...

03 мая 1983г.».

И последнее, что я оставил на конец, — это автографы-посвящения, которые отец писал маме на всех романах. Я приведу только два:

«Жене и соавтору этой книги Галине Федоровне Мосияш с благодарностью за 40 лет совместной творческой работы». (Пятое переиздание романа «Александр Невский», вышедшего в Москве, из-во «Астрель», 2001г.)

«Моей жене Гале Мосияш — милой женщине и совершенно уникальному человеку, которая, разделив со мной свой солнечный талант, сделала из меня неплохого писателя.

С нежностью автор С. Мосияш.

6 мая 2007 г.

г. Гомель».

Это последнее его посвящение, на последнем, третьем переиздании романа «Петр Великий», вышедшем в мае 2007 года, за четыре месяца до ухода отца из жизни.



На краешке родной земли

В одном из ранних стихотворений Надежда Стахович замечает: «Я просто пишу в тиши. // И отдаю вам свет чистой души». Ее поэтическое слово наполнено искренностью, а внутренний мир лирической героини — напряженными духовными поисками, переживаниями и сомнениями.

В литературу она пришла более десяти лет тому назад, когда в периодической печати появились ее что называется первые пробы пера. Трудно в настоящее время определить, что побудило ее к творчеству. Возможно, сработала генная природа: поэтесса — внучатая племянница известного белорусского писателя Алеся Стаховича. «Несу в душе серебряную лиру, так неожиданно подаренную мне», — говорит она.

С тех пор в разных издательствах г. Минска вышли ее сборники «В моем имени, в твоем отчестве» (2002), «Осенины» (2005), «Опаленные фрески» (2007), «Единые нити» (2009), предисловия к которым написали известные мастера слова В. Макаревич и К. Цвирка, единодушно отметившие несомненный талант их автора.

Перелистываю страницы книжек, вижу, как поднималась поэтесса по ступенькам мастерства, как бьется ныне естественным образом, без нажима извне, фонтанчик ее поэзии, как своеобычно ее творчество. В нем нет «пения» с чужого голоса, запетой предшественниками образности. А главное, на мой взгляд, получается просто и самобытно.

Родилась Надежда Стахович на Оршанщине, в маленькой деревушке Кашино, куда часто приезжает в родительский домик и где всегда ощущает себя своей. Впечатление, будто ее поэтическое слово осенили купаловские «Левки», романтическая лирическая стихия В. Короткевича, наполнили его возвышенным настроением, живыми картинами быта, природы, — высоких днепровских круч, шумом дубовых рощ и сосновых боров. Затем была учеба в СШ № 12 г. Орши, в Витебском государственном технологическом университете, после — хозяйственная работа на предприятиях региона, многолетняя непростая административно-управленческая практика в качестве заместителя председателя Оршанского райисполкома. Сейчас Н. Стахович трудится начальником отдела идеологической работы.

Казалось бы, ее служебные обязанности так несовместимы с литературными увлечениями и опытами. Однако стихи, не спрашивая ни у кого разрешения, рождаются и живут в душе. И, конечно, не благодаря чиновной должности, а скорее вопреки ей.

О чем бы ни слагались стихи (детство, малая родина, зарубежье, близкие люди, неповторимые просторы Оршанщины, соприкосновение человеческих судеб, «своеволие» и «странности» любви, курортные впечатления и т. д.), в них всегда отражено яркое личностное начало.

Я — в огромном, необъятном, хрупком мире и мир несоизмеримый и несравнимый ни с чем со мной и во мне, — пожалуй, то, что выразительно звучит как лейтмотив ее поэзии, определяя его идейно-содержательное наполнение, суть лирической героини, единой и разной, но ощущающей себя во времени: // Я — ничто, случайное явленье, // Во Вселенной беглый эпизод, // Искорка, короткое мгновенье…//

Этот мир, а в нем жизнь как быстрая вода, где, с одной стороны, много радости, счастья, взлетов, а с другой — падений, горечи, разочарований, трудно понимаемых и часто непреодолимых противоречий, страшного и страстного, связанных не только с обществом и человеком, который, в ее представлении — «верный пахарь жизни» («Жизнь не мед и не сахар», сборник «Опаленные фрески»), но и раздумьями о себе, своей судьбе. Осознание чего вынуждает лирическую героиню по-иному смотреть на жизнь, ценить ее, задумываться над смыслом бытия, а оно уже выражено чистой философией, — «короткий миг одиночества с самим собой» («Наступит час, и мы уйдем»).

Понятно, что человек не является золотым универсальным ключиком, которым можно открыть тайный и необозримый ларец Вселенной, но поэтесса понимает великую драму неопределенности человеческого состояния, особенно в современном мире — мире, полном природных, социальных и техногенных катаклизмов, потрясений и бурь.

Источник пробуждения сокровенного лирического чувства — родная деревня, «вечное солнце души», где и рождаются «мелодии тонкой струны», часто драматичные и натянутые, как тетива.

Там, где небо зарею подкрашено,
И просторы еще нагие,
Чуть капель — меня тянет в Кашино,
Душу мучает ностальгия.

Строки признания родной земле — «тихой святыне» и деревенской хате — звучат во многих стихотворениях поэтессы («Я вернулась на Родину», «Отчий дом», «Я по запаху Родину отыщу на земле», «Родина моя», «Старинный сад», «Непогодина», «Воспоминания» и др.). В них немало конкретных реалий, которые возвращают в прошлое и пробуждают сердечные чувства умиления и поклонения родительскому дому — как просветляющему и озаряющему хранителю трудовой этики, особой духовной атмосферы.

Пахнет Родина моя
Чередой и мятой.
Кисловатою дежой,
Деревенской хатой.
Пахнет Родина моя
Липою медовой.
Перепаханной межой,
Ягодой садовой.
Пахнет Родина моя
Золотистым хлебом.
Сенокосною страдой,
Лучезарным небом.

«Пахнет Родина моя»

Это задушевное оригинальное стихотворение, ставшее песней, построено на деталях, которые ведут к широким обобщениям — так слагается и вырастает образ труженицы-Родины. Знакомые нам с детства реалии — дежа, липовый мед, мята, череда, ягоды, хлеб… Любовь к родному краю отражена негромко, неброско, но это чувство подлинное, глубокое.

И, видимо, несложно уловить, как ласково-бережное прикосновение к дорогим уголкам Оршанщины обостряет у лирической героини чувство родной Беларуси. И она называет ее любовно капелькой Василька («Снится в стране далекой», сборник «Осенины»). А главное: «Все пространство слилось с небесами // И во мне частица этой сини».

Деревенская тематика имеет свой интонационный лад и непринужденное звучание. Стоит вслушаться в ритм западающих в душу строк.

Дожди, размытая дорога,
И мне уже немало лет,
И я иду к тому порогу,
Где прародительницы след.
Моя родимая хатенка,
От старой печки дым, тепло,
В углу Спасителя иконка —
И на душе опять светло.
Я здесь согреюсь в непогоду
И для себя найду ответ.
На родине века и годы
Горит самосиянный свет.

«На Родине»

В этом «на родине века и годы горит самосиянный свет» — суть стихотворения, его стержневая идея.

А ведь в таком стилистическом ключе написаны и другие стихи. Возникает ощущение, что они, рожденные от глубокого чувства, просто, без всяких выспренних словесных украшательств, проговариваются.

«Земные нити» — видимо, центральное стихотворение не только сборника «Единые нити», но и всего творчества Н. Стахович. В нем новое, более тонкое понимание реалий земного бытия, где всему свое место, а явления культуры и природы объединены универсальным понятием — «сокровище», в котором есть материальное и духовное, уловимое и ускользающее, явное и тайное, соединенные между собой незримыми связями.

Здесь связано все единою нитью:
Рисунки, наброски, штрихи и граффити,
И лето, и осень, морозы и зной,
И небо, и звезды, и месяц резной,
Олень и букашка, и рыба, и птица,
И грозы, и ливни, и блески зарницы,
Крапива, и мята, и липовый цвет
И тени заката, и радужный свет.

Еще одна страница поэзии Н. Стахович — миниатюры. Они — продолжение творческой линии сборника «Опаленные фрески». Приятно видеть, как слово, будто кисть художника, «рождает» акварельные картинки, особую лирическую стихию, организует неповторимое душевное состояние и настроение:

Ветка белая сирени
Удивляет чистотой
И в душе растет смиренье
Перед вечной красотой.

«Ветка белая сирени»

В этих четверостишиях, или малых лирических композициях, напоминающих фрески, заложены чистота, много света, воздуха и пространства.

Наверное, каждый поэт мечтает написать о своей Шаганэ, «зафиксировать» «чудное мгновенье», передать «пах чабаровы». Однако не каждому это удается сделать мастерски и остаться в литературе. У Н. Стахович есть замечательные любовные стихотворения, которые, надеюсь, будут читателю по душе.

Чаще всего — это настойчивое возвращение лирической героини в пленящее прошлое. И тогда варьируется проблематика от уходящего времени надежд и ожиданий до невосполнимых потерь и разочарований, когда костер первой любви — лишь только в воспоминаниях.

Вот и кончилось лето,
Зашумели дожди.
Ты порою осенней
Листопад перežди.
Уходить не спеши
Ни в рассвет, ни в закат,
Бабье лето возьми
В октябре напрокат.
Подари, подари
Жар последней любви
И огонь разведи
От калины в крови.
А еще подари
Рыжей осени хмель,
У нее одолжи
Золотую свирель.

Поиграй для души
Листопадную звень,
Чтоб в груди зацвела,
Закипела сирень.
А потом оберни
В лето бабьего сеть
Память горькой любви
Да кленовую медь.
Листопад заметет,
Запорошит твой след.
Уходя, забери
Нашей нежности свет.
А еще забери
Рыжей осени хмель,
У костра положи
Золотую свирель.

«Вот и кончилось лето…»

Весна для лирического героя — время любви, молодой радости, высоких устремлений и чувств. Осень — пора зрелости, вечности, грусти, мудрости и подведения итогов.

Появление образа осени, сначала в сборнике «Осенины», затем — в «Опаленных фресках», и особенно в «Единых нитях», напоминает о несбывшемся («Желтые цветы», «Все чаще осень снится», «Гладил нежно тонкое запястье», «Осень шалая», «Невозвратное»).

Поэтесса с радостью встречает каждый новый день, богатый впечатлениями и насыщенный добрыми делами, общением с людьми, улавливает уходящее, незаметно ускользающее в вечность время, словно рассеченное на сегменты древними проселочными дорогами Оршанщины. // Я уплываю в тишину // Как в неизвестность, // Ладонью трогаю волну, // Душою — вечность // («Примета осени — рябина»). И дом свой, и деревню свою, откуда льется самосиянный (как здорово!) свет, она видит безопасной пристанью, хранилищем радостных и светлых дней, детского счастья, яркой ушедшей юности, ощущает почву под ногами, живет с тревогою, но без разочарования и растерянности («Корабль жизни держит курс в исток», «Земные дни так хороши», «Душа здесь птицею поет»).

В разделе «На горных вершинах» сборника «Единые нити» расширяется его тематическая направленность. В нем появились стихотворения, где очевидно стремление соединить земное и божественное, уйти в сверхчувственный мир, в атмосферу спокойствия и умиротворения. И тогда «и боль, и скорбь ведут нас ввысь» («Душа упрятана в темнице», «Молиться в церквушке…», «Душа моя…»), где «смерть — восторженна», а «жизнь — встревожена» («В белом саване…»), пишется о душе, мудрости прощения и молчания, а бытийные нелегкие заботы, земные проблемы, разрешение которых требует усилий, не всегда успешных, хотя и отзываются болью, но рождают надежду и жажду жизни.

Здесь есть о чем поразмышлять. А ведь на самом деле: «между нами и адом, между нами и небом — только жизнь, самая хрупкая вещь на свете» (Б. Паскаль).

Обращает на себя внимание то, что лирическая героиня — носительница доброты, человечности, всепрощения, открытая и, естественно, ранимая, и ей не всегда уютно и удобно в этом мире, и тогда «плачет душа сердобольная».

Стихи Н. Стахович наполнены любовью и болью, ароматами родной земли, шумом ветров и дождей, весенним кипением садов и цветов, осенними красками, вальсом опадающей листвы и хрустальным звоном ручья, горящих гроздьев рябины, грустью и добром, светом дум и чувств.

Михаил Кузьмич

г. Витебск

ТАТЬЯНА КУВАРИНА

Эколог по призванию

Многие любуются природой, но немногие ее принимают к сердцу, и даже тем, кто к сердцу принимает, не часто удается так сойтись с природой, чтобы почувствовать в ней свою собственную душу.

М. М. Пришвин

Еще до появления в средствах массовой информации сообщения о том, что Черное море признано самым грязным морем в мире, я услышала об этом в разговоре с Владимиром Ивановичем Остапуком, который с болью говорил о том, как много экологических проблем в одном из самых известных российских курортов — Сочи, стоящем на берегу Черного моря. Говорил со знанием дела, потому как возглавляет общественную организацию «Общественный экологический совет города Сочи» и одновременно является председателем общественного экологического Совета при Главе города Сочи. Эколог он не только по образованию, но и по состоянию души. Как сам признался, «выбрал экологию не разумом, а душой».

Сегодня экологи на передовой. Профессия требует принципиальности и смелости, потому что защищать природу — в благополучии которой, по идее, должно быть заинтересовано все общество, но на самом деле большинство равнодушно, — совсем не просто. И это заметно даже в мелочах. Попробуйте сделать замечание курильщику, бросающему окурок на тротуар, или указать отдыхающим на брошенный ими мусор в лесу, на мытье машин в реках и прочее, и прочее…

— Когда я приехал в Сочи в 1978 году, то подумал, что попал в земной рай. Там столько экзотики! Когда-то — в 1937—1938 годах сюда было вложено много средств, и он из захолустного городка превратился в первоклассный курорт. И этот прекрасный город существовал до развала Советского Союза, — сетует Владимир Иванович. — В последнее время Сочи претерпел кардинальные изменения. Уничтожено много зеленого убранства, экзотических растений. За эти годы почти ничего нового не посажено взамен. Особенно пострадал центральный район города, где выросло много новых построек — жилых домов, пансионатов, здравниц — за счет зеленой зоны. Земля в центре дорогая, поэтому там настроили много зданий и все повесили на старую инфраструктуру. Страдает экология. Из 100 очистных сооружений работает только 10, а это означает увеличение неочищенных сбросов в Черное море. На сегодняшний день у нас в городе работают две несанкционированные свалки. Все попадает в реки, а затем в море. Из-за этого страдают территории, на которых находятся санатории, пансионаты, базы отдыха. На сегодняшний день город стоит на грани экологической катастрофы. Четвертый год идет борьба между экологами города Сочи и правительством Российской Федерации за увеличение бюджетных средств на защиту окружающей среды. В итоге мы сумели из 0,6 процента бюджетных средств на экологию добиться увеличения их до 6 процентов.



Владимир Иванович Остапук.

На мой вопрос, что, может, это увеличение бюджетных средств связано с предстоящей зимней Олимпиадой, которая пройдет в Сочи в 2014 году, Остапук с болью ответил, что урезаются многие жизненно важные программы из-за глобального кризиса и перетока капиталов. К примеру, из ранее запланированных необходимых для города семи развязок руководство города оставило только три. Под угрозой много других социальных объектов, которые планировались в городе. Требует решения еще одна из насущных задач: вокруг Сочи 79 поселков, в которых отсутствует канализация. И если в Беларуси, например, почва является естественным фильтром, то в Сочи почва не дренирует, там, в основном, плотная глина, и поэтому вся грязь по горам попадает в реки, а потом тоже в Черное море.

Владимир Иванович рассказывает, что в Сочи есть много людей, неравнодушных к проблемам экологии, они организовываются в общественные движения и как могут защищают природу: организовывают митинги, собирают подписи в защиту редких растений и заповедных зон. Был даже такой случай: в Имеретинской низменности, или как здесь еще называют, бухте, хотели выкорчевать, без всякого на то права, редкой красоты дерево — тисс-ягоду, диаметром около метра и высотой 13—15 метров. Так вот, под бульдозер буквально бросилась женщина — Татьяна Склярова. Она там дежурила семь суток, объявила голодовку. И спасла дерево. Теперь делается его паспортизация — и уже никто не сможет без юридических последствий его убрать. И такие случаи не единичны, когда энтузиасты самоотверженно защищают редкие растения.

— Мы, экологи, отправили местному руководству сотни писем, чтобы решить проблему загрязнения города. У нас 95 процентов выбросов в атмосферу от автотранспорта. Улицы узкие, сплошные пробки, и надо разгрузить город, но это проблема пока никак не решается. Но есть у экологов Сочи и несомненные успехи. К ним можно отнести отвоеванную Имеретинскую бухту, где краевые власти собирались построить второй грузовой район, в котором бы разместились склады и прочее. Для города это было бы финансово выгодно, а для природы... Ведь в этом красивейшем месте растут уникальные растения, занесенные в Красную Книгу. Здесь место отдыха и кормежки перелетных птиц — генетически сложившийся маршрут, и если его разрушить, то для пернатых это будет губительно.

А сколько проблем в связи с развернувшимся масштабным олимпийским строительством! Им, экологам, приходится отстаивать выполнение всех экологических предписаний проектов. Как они боролись за то, чтобы при строительстве санно-бобслейных трасс и олимпийских дорог и коммуникаций был до минимума сведен риск уничтожения дикой природы и всей окружающей среды! Сколько раз пришлось выступать Владимиру Ивановичу на всяких конференциях, «круглых столах», встречах с руководителями федеральных властей, региона, города, отстаивая позицию экологических проектов…

Остапук уже не может просто любоваться красотами окружающего мира, он на природу смотрит как эколог и видит все, что губительно на ней сказывается. Вот отдыхал в родной Беларуси и переживает, что и здесь тоже не решена проблема твердо-бытовых отходов. «Необходим раздельный сбор мусора. Если пластик не будут перерабатывать, а сжигать на свалках, то это же углерод, который при сжигании и загрязняет атмосферу, — сокрушается он. — Это серьезная угроза человечеству, вот поэтому экологи и бьют тревогу. Я летом отдыхал на Браславских озерах — первозданная красота, природа великолепная! Но как эколога меня взволновало, что в близлежащем поселке нет очистных сооружений. В близлежащих лесах запретил бы всякие вырубки леса. Я был в разных местах — В Китае, в Египте, в европейских странах. Но Европа и каменные сооружения мне уже неинтересны, меня больше интересует природа. И чем старше становлюсь, тем больше меня тянет к ней».

Лесная династия

Любовь к природе у Владимира Ивановича в генах, и видимо, передалась от деда, который работал в лесу и относился к нему как к живому существу, и от места рождения — а родился он в лесном краю, в большой деревне Сваринь Дрогичинского района Брестской области. Лес был ему родным домом. С детства познавал его тайны. Любил слушать, как от ветра шумят вековые сосны, прятаться от знойного солнца в его тени, собирать грибы-ягоды. К тому же приучал и младших братишек и сестренок. А их у него девять и он, старший. Вот оттуда, из детства, и его лидерский характер. Ведь старший всегда был в ответе за младших. Как вспоминает Владимир, где-то в четвертом или пятом классе, когда мама родила шестого ребенка, вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР о том, что женщина имеет право находится дома до одного года в неоплачиваемом отпуске. А в колхозе по-прежнему для таких женщин никаких исключений не делали. «А я прочитал этот указ и говорю маме, что она может целый год быть с нами дома, — рассказывает он. — И когда к нам домой пришел бригадир звать маму на работу, я показал этот указ. А он говорит: «Смотри, какой грамотный». Потом разрешил: ладно, пусть мама не выходит на работу, но ты больше никому не говори».

В школе любил точные науки — геометрию, математику, особенно физику, а после занятий охотно мастерил всякие приспособления, о которых узнавал на уроках физики.

Лидерские задатки особенно проявились в Полоцком лесотехническом техникуме, куда он поступил после восьми классов. В техникуме его товарищи избрали секретарем комсомольской организации, кроме этого он стал активно заниматься спортом. И учеба в техникуме его захватила по-настоящему. Если после окончания восьмилетки в его аттестате было и несколько «троек», то уже второй курс техникума закончил без единой «четверки», стал получать повышенную стипендию. Приученный в семье к труду, ответственности, он ко всем обязанностям относился очень серьезно. Летом, как всегда, помогал маме по хозяйству и ходил вместо отца на работу в колхоз. Отец же, будучи мастеровым человеком, ездил на заработки, так как на колхозную зарплату содержать большую семью было непросто.

Техникум Владимир окончил с красным дипломом. Это дало ему право без экзаменов поступить в Львовский лесотехнический институт. Окончил его заочно, к тому времени он уже жил и работал в Сочи. После окончания сразу был назначен главным лесничим одного из хозяйств. Но и с наукой порывать не стал — поступил в аспирантуру в Москве. Для своей диссертации «Интродукция лещины древовидной на Северном Кавказе» изучал это дерево в Армении, в Иджеванском заказнике, где специально выращивают лещину. И чем больше

узнавал об этом удивительном дереве, о его фантастически полезных для здоровья человека плодах — фундуке, богатом ненасыщенными аминокислотами, тем больше ратовал за его распространение. «В белорусских лесах растет лещина обыкновенная. Теперь выведено много всяких сортов древовидной лещины, которую можно разводить черенками и орехами, прививками. Она растет, как яблоня и груша. В разных сортах плодов лещины разное содержание полезных элементов, но все они благотворно влияют на здоровье, — рассказывает Владимир Иванович.

После успешной защиты кандидатской диссертации наш земляк стал заместителем директора Сочинского национального парка, который составляет около 80 процентов всей территории города-курорта, — возглавил команду научных сотрудников. Писал научные статьи, занимался тем, что любил всегда, — лесом. И естественным был его переход на новую работу — экологическую, потому что она тоже, и даже в большей степени, связана с природой не только леса, но и всей окружающей среды. Создал частные фирмы, одна из них — «ВИОТИ» — главное направление которой экологические проекты и ландшафтный дизайн. Ведь в любом строительном проекте где-то на 25 процентов экологическая составляющая: расчеты по выбросам, канализация и т. д. На предприятии работает сильная команда единомышленников — профессионалов высочайшего класса: профессора, доктора наук, академики. Признается, что по качеству проектов фирма «ВИОТИ» держит второе место в России.

Вторая созданная им фирма строит подъездные дороги. «Бывает, что проекты дорог не соответствуют экологическим требованиям, тогда заставляем их переделывать, к этому мы относимся строго», — поясняет Владимир Иванович. Признается, что заказчиков хватает.

Лидер белорусской общины

Долго вынашивал Остапук идею о создании третьего предприятия, которое занималось бы исключительно белорусской тематикой. Это уже дань тому, что он постоянно носит в сердце, – любовь к своей родной Беларуси.

На выделенном участке стал строить двухэтажный деревянный дом, планируя, что на первом этаже разместится баня с парилкой, а на втором – белорусский музей.

— Нам городские власти много лет обещали создать Национальный центр, но пока его нет. Есть в Сочи Совет национальных культур, в котором и находится офис белорусской общины, но этого мало, — делится проблемами Владимир Иванович. — Надо было строить, но сделать это на общественной основе нереально. И я самостоятельно решился на это.

3 июля 2010 года, в День Независимости Республики Беларусь, состоялось торжественное открытие народного музея «Белорусы города Сочи». Поздравить белорусскую общину с этим важным событием пришли представители многих общественных национальных объединений. Звучали на празднике белорусские, русские и украинские песни.

— В музее представлены документы и уникальные экспонаты о первых переселенцах-белорусах, собраны материалы, рассказывающие о традициях и обычаях белорусского народа, о достижениях современной Беларуси, — с гордостью рассказывает о своем детище Остапук. — Юное поколение белорусов приходит сюда, чтобы прикоснуться к истории своих предков, познакомиться с обычаями и лучше узнать современную Беларусь. Интерес к музею проявляют взрослые и дети других национальностей.

Белорусы, проживающие в Сочи, а их примерно около 10 тысяч, в 1994 году объединились едва ли не последними в городе в общину «Белая Русь» —

национальные движения в ту пору активно развивались. В городе уже существовали еврейская, грузинская, украинская, греческая... Белорусы себя в России никогда иностранцами не считали и, видимо, поэтому не торопились с созданием общины. «Белорусский народ не имеет никакого ущемления на русской земле. К нам в России очень хорошо относятся. Россияне даже гордятся, что среди них есть белорусы. Я отношусь к тем людям, которые считают, что русские, белорусы, украинцы — это народы одного корня», — говорит Владимир Иванович.

Белорусы, проживающие в курортном городе, — это в основном люди во втором-третьем поколении, родившиеся уже в Сочи, но не забывшие о своем происхождении. А недалеко от Сочи, в Аибге, есть семь поселков — чисто белорусских, в нем живут предки переселенцев из Белоруссии, из Могилевской губернии, приехавших осваивать новые земли по предложению царской России, предоставившей им определенные льготы, в том числе и освобождение от налогов. Места красивейшие, на границе с Абхазией. Белорусы живут дружно, помогают друг другу.

— У нас в общине ведется активная работа с пенсионерами, есть женский клуб, есть «клуб деловых людей». Предприниматели наиболее активная часть, собираются раза три в год: на Новый год, на Купалье обязательно, — рассказывает о деятельности общины ее председатель. — Собираемся в нашей фирме, иногда в других местах. А ежемесячные встречи представителей общины проходят в Музее Дерева Дружбы.

Это уникальное цитрусовое дерево — символ мира, дружбы и братства многонационального города, в котором мирно проживают люди свыше 100 национальностей. Дерево уникально тем, что его ветви выросли из почек, привитых руками людей разных национальностей из 167 стран. Начало этому необычному эксперименту было положено в 1934 году и необычное цитрусовое дерево с 600 привитыми ветвями поражает воображение своей мощной кроной. Возле дерева и построен музей, где собралось немало экспонатов, подаренных городу гостями. Здесь же по сложившейся традиции и проходят дни национальных праздников. Ветви с многочисленными сортами цитрусовых, прижившиеся на корнях одного дерева, стали символом того, что люди разных национальностей могут стать единой семьей.

— Радует то, что молодежь тоже приходит на встречи, что она теперь стала активно интересоваться своими белорусскими корнями, — говорит Владимир Иванович.

С Остапуком журналистская судьба сводила меня дважды, и всякий раз я не переставала ему удивляться — от этого среднего роста, по-спортивному подтянутого человека исходило столько энергии! Такие люди ведут за собой. Я понимаю тех людей из сочинских русских объединений, которые даже предлагали ему возглавить их организации. На что он с улыбкой им отвечал: «Вам тяжело будет со мной!»

Белорусская община достойно представляет белорусскую культуру и традиции в многонациональном Сочи на разных мероприятиях. Одно из ярких впечатлений осталось от участия в феврале 2007 года в фестивале мировой культуры «Этно-Сочи». Организаторами мероприятия выступили администрация Сочи и международное движение «Этнолайф». В празднике приняли участие более 100 музыкальных и культурных этнических коллективов из СНГ и стран дальнего зарубежья. Здесь можно было познакомиться с музыкой, песнями и танцами народов мира, попробовать блюда национальной кухни, узнать особенности культуры и быта. В павильоне белорусской общины были представлены изделия народных промыслов. Рядом был организован импровизированный дворик белорусской деревни, где жарились драники. Весь день белорусский павильон был окружен плотным кольцом желающих попробовать блюда белорусской кухни, узнать национальные традиции, послушать народные песни, примерить

соломенную шляпу и сфотографироваться с аистом. Как вспоминает Владимир Иванович, самым большим спросом у сочинцев пользовались вареная картошка, сало, драники. «Причем, белорусский павильон был единственным на фестивале, в котором всех гостей угощали бесплатно, в павильонах других национальных организаций за еду приходилось платить, и стоило это недешево. Ведь щедрость и открытость души — это главная черта белорусского характера», — говорит Владимир Иванович.

На предстоящей Олимпиаде будут, надеется он, и концерты представителей разных национальностей, проживающих в Сочи, и конечно же, белорусская община постарается подготовиться к ней наилучшим образом.

* * *

Вечереет в Сочи не так, как в Беларуси. Южный вечер наступает внезапно, и небо кажется совсем близким. Вечером, выйдя в сад, посаженный собственными руками, возле дома, тоже построенного им самим, Владимир Иванович смотрит на звезды и думает, что они такие же, как и над родной Сваринью. И теплей становится на душе, и будто где-то рядом старенькие родители, сестры, братья, оставшиеся в Беларуси. Видеться с ними часто не приходится: раз-два в год, но для него это святое правило.

А в уютном сочинском доме, из которого видны и горы, и море, всегда ждет его любимая жена Татьяна, русская женщина, с которой у них мир и согласие, и две уже взрослые дочери. Он считает, что Татьяна — подарок судьбы. «Великолепная жена, прекрасная мать, хороший врач и уважаемый человек», — так он отзывается о ней. А дочери, по его совету, окончили вузы в Беларуси и вернулись в Сочи, чтобы помогать в работе организованных им фирм.

* * *

Как-то Владимир Иванович сказал, что, отстаивая будущее наших детей, люди, занимающиеся общественной экологической работой, жертвуют не только своим здоровьем, но рискуют попасть в немилость к властям, потому что приходится говорить нелицеприятные вещи. Хочется добавить, что для этого нужна гражданская позиция, мужество и смелость. И отрадно, что наш земляк в полной мере обладает всеми этими качествами.



Вольга Бабкова.
...І ЦУДЫ І СТРАХІ. Гістарычныя эсэ, спроба рэканструкцыі.
Мн.: Выдавец І. П. Логвінаў, 2010.

Если уж быть точным, то полное подзаглавие книги Ольги Бобковой «...І цуды і страхі» таково: «Эсэ па гісторыі штодзённасці Вялікага княства Літоўскага XVI—XVII стагоддзяў». Эта книга — еще одна попытка отобразить, а правильнее, как бы реставрировать события (безусловно, через человеческие судьбы) периода позднего Средневековья и начала Нового времени. Что ж, знать национальную историю нужно и полезно. Особенно при условии, что автор предлагает нечто совершенно уникальное. На этом аспекте в предисловии заостряет внимание доктор исторических наук Алесь Смолянчук: «Гэта кніга — незвычайная… На яе старонках ажываюць постаці беларускай гісторыі. І не тыя, каго ўжо ўшанавалі гісторыкі і палітыкі, хто ўжо мае помнікі ці то ў камні, ці то на паперы, ці то ў легендах ды паданнях... Чытач сустрэне звычайных людзей XVI—XVII стст., якіх часта называюць “маўклівай большасцю гісторыі”... Вольга Бабкова адшукала сляды гэтых людзей у судовых дакументах Новага часу, і гэтыя сляды загаварылі».

Алесь Карлюкевіч.
РАДЗІМАЗНАЎСТВА. Мясціны. Асобы. Краязнаўчыя нарысы.
Мн.: Літаратура і Мастацтва, 2010.

Свою новую книгу Алесь Карлюкевич не случайно назвал «Радзімазнаўства». Под одной обложкой собраны очерки, в которых с любовью, увлеченно рассказывается о многих примечательных местах нашей страны, а также об известных людях, деятельность которых пробуждает чувство гордости и любви к Отчизне. Часто А. Карлюкевич выступает в роли первооткрывателя. К примеру, очерк «Ашмяны». Оказывается, отсюда родом один из ведущих солистов Большого театра оперы и балета в Москве, народный артист РСФСР, успешно выступавший во многих странах, Александр Батурин, и заслуженный артист Литвы, певец Владимир Рубацкий. Но ошмянская земля не только песенная. Она — родина еврейского писателя и путешественника Якова Сапира, западнобелорусского подпольщика Николая Орехвы и других выдающихся людей. Таким же путем — сжато, но вместе с тем очень содержательно, с обязательным открытием чего-то нового идет А. Карлюкевич и в других своих очерках.

Мікола Кусянкоў.
ХМЕЛЬ КАЛЯ ВОЛЬХІ. Раман.
Мн.: Мастацкая літаратура, 2010.

Роман «Хмель каля вольхі» — заключительная книга трилогии, посвященной семье Гаркушей. Два первые романа ее «Явар з калінаю» и «Арляк і зязюля» в свое время были высоко оценены критикой и имели широкий общественный резонанс, а в 2000 году были отмечены Государственной премией Республики Беларусь имени Якуба Коласа. К сожалению, автор не дождался выхода третьего романа отдельной книгой. Зато читатели, безусловно, используют возможность проследить за дальнейшим развитием событий в трилогии, познакомиться с жизнью нового поколения этой белорусской семьи. В водовороте событий оказывается юный Валентин Гаркуша, воспитанный дедушкой и бабушкой. Его призывают служить в Афганистан. Однако если многие вернулись с той войны, то его жизнь она забрала. Да и чернобыльская катастрофа своим черным крылом накрыла родные места героев.

Уладзімір Ліпскі.
УСЕ МЫ — РАДНЯ.
Аповесць. Апавяданні.
Мн.: Мастацкая літаратура, 2010.

На творческом счету Владимира Липского — свыше пятидесяти книг прозы, документальных повестей, публицистики, дневников, произведений для детей. Некоторые из них вошли в однотомник «Усе мы — радня», выпуском которого издательство «Мастацкая літаратура» сделало писателю подарок к его 70-летию. Да и почитателям творчества В. Липского также. В самом деле — «усе мы — радня». Особенно, если внимательно изучить свою родословную. Тогда и выясняется, что судьбы людей, казалось бы, очень далеких друг от друга, как бы переплетаются, особенно, если заглянуть в далекое прошлое. Что и делает В. Липский в своей известной повести «Я. Праўдзівы аповед пра твой і мой радавод», которая при всей своей неоспоримой высокой художественной значимости, вместе с тем является и глубоким исследованием. Интересно читать и автобиографию В. Липского «Лапташ». Как, впрочем, и его рассказы, объединенные в раздел «Замасцянцы».

Алена Масла.
ПЕРШАЯ ПРЫГАЖУНЯ. Казкі.
Для дзяцей сярэдняга школьнага ўзросту. Мн.: Літаратура і Мастацтва, 2010.

Новая книга сказок Алены Масло, как и предыдущие произведения этой талантливой писательницы, примечательна тем, что ее сказки (возможно, кому-то такое утверждение относительно этого жанра и покажется странным) жизненны. Дети, несомненно, поспешат узнать «Гісторыю адной канапы», они с интересом познакомятся с «Кітайскімі ліхтарыкамі», их привлечет «Самы лепшы грыб», не оставит равнодушными «Сок з альянсу». Им захочется заглянуть в «Балотную «кансерваторыю», узнать о «Крыўдах старога Вадзяніка», увидеть «Саву на царстве». Все это названия произведений. Через сказочные сюжеты, через необычные случаи, через удивительных персонажей А. Масло учит мальчишек и девчонок тому, говоря словами известного поэта, «что такое хорошо, а что такое плохо». Впрочем, это знать человеку в любом возрасте нелишне. Не случайно в подзаглавии к книге помечено: «Мудрыя казкі — малым і вялікім падказкі».

НЕПАЎТОРНЫЯ ІМГНЕННІ.
Фотаальбом. Вершы Казіміра Камейшы.
Мн.: Выдавецтва Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2010.

Фотоальбом «Непаўторныя імгненні» посвящен жизни белорусской природы, ее животного и растительного миров. Каждое мгновение — из очередной недели года, а поскольку в году 52 недели, то и в книге — 52 сюжета. К цветным фотоснимкам приложены и стихи известного белорусского поэта Казимира Камейши, которые, тематически объединенные, а в некоторых случаях и сюжетно, составляют единое целое. Происходит настоящее путешествие в Храм природы. Поэзия К. Камейши — та «музыка», которая не просто дополняет снимки, а дает им яркое, неповторимое звучание.

НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕМ.
Рассказы белорусских ребят о днях Великой Отечественной войны.
Перевод с белорусского Бориса Бурьяна и Владимира Жиженко.
Мн.: Мастацкая літаратура, 2010.

Среди изданий, выпущенных к 65-летию Великой Победы, книга «Никогда не забудем», безусловно, занимает особое место. Уже потому, что сама по себе она история. Впервые вышедшая на белорусском языке в 1948 году, она выдержала несколько переизданий как в оригинале, так и в переводе на русский язык. Однако очередной выпуск ее примечателен и тем, что в первой части сделан экскурс в историю создания этой книги-монолога детей, ставших очевидцами страшных злодеяний

немецко-фашистских захватчиков на нашей земле. Раздел «Основные этапы создания книги» в хронологической последовательности прослеживает, как идея редактора газеты «Піянер Беларусі» А. Рокош постепенно находила свое воплощение. Здесь же помещены обложки всех изданий, общий тираж которых, кстати, составил более миллиона экземпляров.

Барыс Сачанка. **ВЫБРАНАЕ**.
Аповесці. Раман у навелах. Апавяданні. Укладальнік Тамара Сачанка.
Мн.: Мастацкая літаратура, 2010.

Слова академика Национальной Академии наук Беларуси Владимира Гниломедова, вынесенные на четвертую страницу обложки этой книги (такого правила издатели неизменно придерживаются, выпуская серию «Школьная бібліятэка», а «Выбранае» Б. Саченко и пополнило ее): «Мастакоўская індывідуальнасць расце і гартуецца, як вядома, паступова, не адразу. Праўда, ёсць і выключэнні, калі пісьменнік прыходзіць у літаратуру ўжо як бы «гатовым», сфармаваным, спелым. Да такіх выключэнняў адносіцца Б. Сачанка, які з першых твораў заявіў аб сабе вельмі смела, нечакана і ярка», очень точно передают значимость созданного писателем, который являлся одним из самых ярких представителей литературного поколения «детей войны». В книгу вошли роман-реквием (авторское определение жанра) «Апошнія і першыя», «вузлы памяці» (опять-таки, такой жанр избрал сам Б. Саченко) «Чужое небо», повесть «Родны кут» и рассказы.

Сергей Трахимёнок.
РОССИЙСКИЙ ТРИЛЛЕР. Трилогия.
Мн.: Мастацкая літаратура, 2010.

Название — «Российский триллер», серия, в которой он издан — «Современный белорусский детектив». Уже одно это сочетание вызывает интерес к книге Сергея Трахимёнка. Но, перефразируя известное высказывание, нелишне заметить, что по названию встречают, а по содержанию провожают. Впрочем, читатели, которые хорошо знакомы с творчеством этого автора, не только сами возьмутся читать книгу, но и знакомым-друзьям посоветуют сделать это. Ибо С. Трахимёнок мастер детектива, ему удается сочетать, казалось бы, несовместимое — остроту, динамизм действия, а также глубокий психологизм, детальную выписку характеров персонажей, тонкую мотивировку тех или иных поступков героев. Одним словом, встреча с «Российским триллером» предполагает увлекательное и полезное чтение.

Илья Туричин.
КРАЙНИЙ СЛУЧАЙ.
Сказ о солдате Иване и Фрице — Рыжем лисе. Мн.: Издательство Белорусского Экзархата, 2010.

На известной повести-сказке замечательного детского писателя Ильи Туричина воспитано не одно поколение детей. На этот раз она вышла по благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Минского и Слуцкого, Патриаршего Экзарха всея Беларуси Филарета. Если говорить вкратце о содержании этого произведения, так оно таково: «У простой русской женщины Марии Ивановны было три сына: Степан, Алёша и Иван. Жили они — не тужили, да началась война. Первым принял на себя удар врага Степан-пограничник — и погиб. Средний сын Алёша-танкист пропал без вести. Пришел черед идти на войну младшему — Ивану. Благословила мать сына, дала ему чудотворный образ Божией Матери да краюшку душистого хлеба — на крайний случай. «Какой такой крайний случай?» — спросил Иван, а понял это только на войне». Этот краткий пересказ повести-сказки помещен на четвертой странице книги. Послесловие «Воин-освободитель» к книге написала кандидат исторических наук Наталья Голубева.

Антон Базылевич

Первушина Л. В. ТВОРЧЕСТВО ЭРИКИ ДЖОНГ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ США. — Минск: РИВШ, 2009.

Монография белорусской исследовательницы Любови Владимировны Первушиной может заинтересовать не только ученых-литературоведов, поскольку это и комплексное научное исследование творчества одной из самых известных писательниц-феминисток США — Эрики Джонг, а также и многосторонний анализ социально-культурных тенденций в развитии художественной прозы Америки 20-го века. Читатель, таким образом, сможет познакомиться с общей характеристикой современных жанров и стилей в литературе США, получить представление о степени осмысления этих направлений белорусскими, российскими и зарубежными исследователями.

Смысловым центром книги Л. В. Первушиной является творческая персоналия Э. Джонг (р. 1942), проза которой, с точки зрения автора монографии, отвечает современному представлению об экспериментальном романе. В этом ракурсе интерпретируются известные произведения писательницы, такие как «Фэнни» (1980), «Серениссимо» (1987), «Фиктивные воспоминания» (1997). Автором монографии четко акцентируется гуманистическая, аксиологическая значимость произведений Э. Джонг.

Исследовательской инновацией можно считать последнюю главу книги «Автобиографизм прозы Эрики Джонг». Л. В. Первушина предлагает целостную, теоретически обоснованную и построенную на текстуальном анализе концепцию автобиографизма женского письма, что поможет с современных позиций оценить и творчество многочисленных талантливых белорусских писательниц.

Приведенные в конце книги интервью автора с Эрикой Джонг придают монографии живость, приближают далекую для белорусского читателя и исследователя американскую писательницу к реалиям нашей жизни.

Эта книга — показатель прогресса белорусского зарубежного литературоведения, свидетельство конструктивной интеграции наших специалистов-гуманитариев в глобальный контекст.

Марина Рогачевская

Андрей Бокза. НЕЖНОСТИ РАДИ. Стихи. Мн.: Издательство В. Хурсика, 2009.

Читая стихи Андрея Бокзы, довольно ярко представляешь и самого автора, неспокойного молодого человека с интенсивной внутренней жизнью, который и рассудителен, и любознателен, а главное — неравнодушен к реалиям нашего бытия. Он — впечатлителен. У него добрая, отзывчивая душа. Он еще, возможно, недостаточно опытен в житейских делах, но оценивает явления современной жизни с позиции справедливости и добра. Естественно и стремление автора шире взглянуть на мир, глубже вникнуть в происходящие события, разобраться не только в окружающих его людях, но прежде всего взглянуть на себя со стороны: кто я, что я, так ли живу, как другие? И надо ли жить «под копирку», подлаживаясь под этих всех других? Поиски и поиски истины на извилистой дороге жизни…

В этом ракурсе можно рассматривать многие стихи А. Бокзы, включенные в его новый поэтический сборник «Нежности ради», вышедший в этом году в Минске в издательстве В. Хурсика. Осмысливая жизнь, лирический герой пытается вникнуть в многие сложные явления и события, касается вечных тем общечеловеческого звучания. Так и просится на уста известная пушкинская строка: «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать…» Но как, как жить, что делать?

Автор предельно искренен, когда говорит о великодушии, о стремлении стать лучше самому и справедливее относиться к другим.

Раскованность лирических переживаний, правдивость чувств свойственны стихам о любви, этой вечной спутнице молодости, хотя порой рас-

суждения автора о ней могут показаться читателю несколько наивными. Но в главном он, автор, твердо убежден: любовь к женщине — самое нежное и возвышенное чувство человека.

Автор создает знакомые всем образы женщины: женщины-матери, женщины-труженицы, наконец, любимой, которая дарит нам радость жизни, вдохновляет на большие дела. Однако понятие любви огромно и многогранно. Мы говорим о любви к родному краю, к Отечеству, к человеку. И вполне понятен восторг поэта, когда он рисует в стихах мир природы. Как не любить, скажем, весенний лес с его «сказочной таинственностью», как не восторгаться весной с ее лучезарным солнцем и яркой первой зеленью, которая несет с собой светлые надежды, умножает наши силы? Вот оно, одно из стихотворений автора, посвященное весне:

Весна разлилась по замерзшему телу,
Согрела его, подняла, завертела.
Искрящийся зайчик… Ручьи по дорожкам.
Для счастья, подумалось, надо немножко.
Весна с каждым днем добавляет азарта.
Как ждал я такого хорошего марта!
Хочу улыбаться проснувшимся птицам,
Хочу вместе с сердцем за что-нибудь биться!
От синего сверху мне голову кружит.
А солнце сомненья утюжит, утюжит!

«Весна разлилась»

О весне рассказано просто, с добрым настроением, с душевной радостью и мечтой о человеческом счастье… Впрочем, так написаны и многие другие стихи, в которых автор касается и общественной тематики. Поэт борется за нравственность, он против распущенности в среде молодежи, сознает, что «есть рамки у свободы и мера есть», а у жизни — особый «смысл и суть»… Ведь жизнь — сложна, каждый идет к ее заветным вершинам своим путем, и на жизненной дороге встречают путника не только успехи, но и неудачи, нельзя быть слабым, нельзя терять веру в свои силы, в свое счастье.

Говоря о достоинствах поэтического сборника А. Бокзы, следует сказать и об определенных издержках, просчетах. Они кроются прежде всего, как мне кажется, в той торопливости, с которой автор спешит напечатать сочиненное им, забывая, что настоящая поэзия, как сказал один из величайших русских поэтов, «требует огромной работы: в грамм добыча — в год труды»… Недостаточная продуманность темы, содержания, сюжетной линии стихотворения, недоработанные строки, «случайные», ради рифмы, слова — это болезнь начинающих авторов, а у А. Бокзы — уже третий сборник поэзии…

И все-таки рецензию хочется закончить на оптимистической ноте, хорошими стихотворными строками автора:

Неудача одна и другая —
Камнепадом на голову мне.
Эту жизнь я порою ругаю,
Но не в силах стоять в стороне
От нее, потому что иначе
Перестану и жить и дышать.
Да, бывает, что нервы я трачу,
Но уверенней каждый мой шаг
В новый день…

Да будет так! И в жизни, и в творчестве.

Евгений Коршуков

Мишель Деон. ВЫСШИЙ КРУГ.
Мн.: Литература и Искусство, 2010.

«Ему нравится бизнес, научивший его лгать и утаивать. Понемногу в нем зародился двойник, совершенно другой человек, который пригождается ему при переговорах: сухой, говорящий всегда только по делу, притворяющийся, будто не слушает, но при этом не упускающий ни слова из того, что ему говорят.

Это не я! Это не я! — говорит он себе, внезапно взглянув в зеркало. Но «я», настоящее «я» стирается с каждым днем. Существует ли оно еще? А если существует, то покоится под прошедшими годами, разбитое на куски, вместе с биением сердца и иллюзиями двадцатилетнего юноши.

Каждый раз выходя из дома, мы невольно перестраиваемся. Надеваем маску, чтобы не показать свое настоя-

щее лицо, не открыть свой внутренний мир и никого туда не впустить. Вот только не понятно, делаем мы это в целях защиты или из-за боязни кому-то не понравиться. Бывает, это затягивается настолько, что настоящее начинает путаться с иллюзиями. Игра увлекает, и в какой-то момент ты уже не замечаешь, как и сам начинаешь жить второй жизнью, верить в придуманные обстоятельства и восхищаться искусственными чувствами.

Артур в романе «Высший круг» французского писателя Мишеля Деона, переведенном Е. В. Колодочкиной на русский язык, не сумел вовремя остановиться. Он перешел грань дозволенного. Казалось бы, это выбор и его жизнь. Но ведь он не один в этом мире, вокруг него родные и близкие люди, за счастье которых он тоже несет ответственность. Юноша променял безграничную любовь, даже жизнь матери на возможность получить какое-то непонятное положение в обществе. Получив же его, он все же не стал счастливым человеком, так как полностью смог распоряжаться своей общественной жизнью, но личной — нисколько. Юноше понадобилось двадцать лет, чтобы понять, что он любит и любил женщину, которая была рядом, а не тот неземной образ, который преследовал на протяжении многих лет.

Полная противоположность Артуру — профессор Конканнон. Всю жизнь он посвятил служению людям. Его любовь — сильная, жертвенная и… смертельная. «Я часто видела, как люди умирают. Привыкаешь... а потом однажды смерть человека, о котором ничего не знаешь, который тебе никто, рвет душу на части. Я думаю, что профессор был человеком, достойным восхищения», — говорит медсестра из больницы, в которой Конканнон провел некоторое время. Несколько минут рядом с профессором повлияли на Артура гораздо больше, чем годы, проведенные в университете и на службе. Конканнон редко был счастлив, зато мог учить, как быть счастливым.

Близка по духу профессору Гертруда. Что значит мечта Артура об Августе по сравнению с победой, к которой стремится она? Гертруде не нужны деньги, чтобы оказаться в высшем обществе, она просто хочет стать полноценным человеком, а для этого нужно только собрать деньги на операцию.

В жизни нет ничего случайного. Книга Мишеля Деона — этому подтверждение. Иногда мимолетная встреча или вырвавшееся слово повернет обстоятельства так, как не смог бы ты сделать при самом большом желании. Этот мир, он никогда не станет нашим миром, пока мы не научимся понимать его, а для этого надо сначала понять себя.

Ольга Гурновская



Авторы номера

КОЖЕДУБ Алесь (Александр Константинович). Родился в 1952 г. в г. Ганцевичи Брестской области. Окончил Белорусский государственный университет (филологический факультет), Высшие литературные курсы в Москве. Автор книг прозы «Гарадок», «Размова», «Лесавік», «Дарога на замчышча» и других. С 1990 года живет в Москве.

НАМЕСТНИКОВ Николай Владимирович. Родился в 1962 г. в Витебске. Окончил Витебский педагогический институт имени П. М. Машерова. Автор поэтических сборников «Забытые небеса», «На распутьях ветров и дорог». Живет и работает в Витебске.

ПЕХТЕРЕВ Иван Егорович. Родился в 1938 г. в д. Недведь на Могилевщине. Окончил Белорусский государственный университет. Поэт, публицист, прозаик, журналист. Автор десяти книг поэзии, повести «Мертвые сраму не имут» и сборника очерков «Вясёлка Магілёўшчыны». Живет в Могилеве.

РУБЛЕВСКАЯ (Шнип) Людмила Ивановна. Родилась в 1965 г. в Минске. Окончила Минский архитектурно-строительный техникум и Белорусский государственный университет. Поэтесса, прозаик. Автор книг поэзии и прозы «Крокі па старых лесвіцах», «Замак месячнага сяйва», «Рыцарскія хронікі», «Над замкавай вежай», «Старасвецкія міфы горада Б», «Сэрца мармуровага анёла» и др. Живет и работает в Минске.

КАМЕЙША Казимир Викентьевич. Родился в 1943 г. в д. Малые Новинки Столбцовского района Минской области. Окончил Белорусский государственный университет. Поэт, прозаик, переводчик. Автор многих книг для взрослых и юных читателей. Лауреат Литературной премии имени Аркадия Кулешова. Живет в Минске.

ШАБАЛТАС Василий Константинович. Родился в 1936 г. в д. Куритичи Петриковского района Гомельской области. Окончил Московский политехникум легкой промышленности. Автор книг прозы «Экзамен», «Плата за страх», «Душегуб», «Отомстить и выжить» и других. Живет в г. Осиповичи.

ЖИЛКА Владимир Адамович. Родился в 1900 г. в д. Мокаши Несвижского района Минской области. Окончил городское училище в Мире, учился в Богородицком агрономическом училище Тульской губернии, в белорусской гимназии в Двинске, на историко-филологическом факультете Карлова университета в Праге. Поэт, переводчик, критик. Автор поэмы «Уяўленне», сборников стихотворений «На ростані», «З палёў Заходняй Беларусі», «Вершы» и др. В 1930 г. арестован и сослан на 5 лет в г. Уржум Кировской области. Реабилитирован в 1960 г. Умер в 1933 г. в ссылке.